

73

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

11 '91



На первой странице обложки — Василий ШУЛЬЖЕНКО. г. Москва.
«Экзотический натюрморт на Коровинском шоссе». Холст, масло.



Андрей МЕДВЕДЕВ. Москва.
«На коне». Холст, масло.



Андрей БРОВИН. Москва.
«Башня». Холст, масло.



Мильярд КИЛЬК. Таллинн.
«Прости, Леонардо». Холст, масло.

ЮНОСТЬ



(438) 11 '91

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ
С ИЮНЯ
1955 ГОДА

Редакционный совет:
Председатель —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Генрих ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Глеб ЯКУНИН

В НОМЕРЕ:

Проза

Дарья ДАНИЛОВА. Сны (2)
Василий АКСЕНОВ. Московская сага. Роман.
Окончание (13)
А. СКАЛДИН. Странствия и приключения
Никодима Старшего. Роман. Окончание (33)

Поэзия

Дмитрий БЫКОВ (9), Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ
(11), Нина ИСКРЕНКО (66),
Константин ВАНШЕНКИН (75),
Тимур КИБИРОВ (76)

Наследие

Вдали от «милей дорогой России».
Письма великой княгини Ольги Александровны
к А. Куприну (72)
Константин ЛЕОНТЬЕВ: «Желать Отечеству
поэзии» (78)

Публицистика

«Бизнес-клуб» (64)
Игорь ГАМАЮНОВ. Двойная жизнь
агента «Литовченко» (68)
Александр ТКАЧЕНКО. Возвращенная книга
Олжаса Сулейменова (80)
«20-я комната». Журнал в журнале.
Выпуск 7/46 (87)

Культура и искусство

Не судите. Интервью, взятое у Юрия Шевчука
Мариной Тимашевой и Ильей Смирновым (7)
Юлий ВЕЧЕРСКИЙ. Наш Юрий Александрович (32)

Почта «Юности»

«Исповедь поколений: о жизни и о себе» (74)

Критика

Николай АНАСТАСЬЕВ. Поражение как успех (82)

Зеленый портфель

Константин МЕЛИХАН. В разных жанрах (84)
Из записных книжек (85)
Алексей ДЕКЕЛЬБАУМ. Угон (85)

Дарья
ДАНИЛОВА

СНЫ

...Сны вообще занимательны, а то кто бы велел человеку спать ежедневно?

Герцен



1. Подъем. Утренняя зарядка ПОЛЕТ

Я летела над сухой коркой земли. Где-то далеко слышался стук чьего-то умиравшего сердца. Миллионы плакали. Миллионы пили. Кто-то писал стихи. Я летела над этой почти бесцветной землей в выцветшем небе. Я ничего не знала, — знание кончилось, все было забыто. Для меня не существовало ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Все эти слова утратили свой смысл, а значит, исчезло и то, что они когда-то обозначали. Все существующее было так далеко и так безразлично мне, что казалось небывшим. Линия полета была параллельна всем пространствам, временам и мыслям. Я не пересекалась ни с чем.

Я была ящерицей.

2. Завтрак КОНСПЕКТ УТРА

Чай дымится. Желто. На улице оранжевый снег и черно-желтое небо. Есть оберточная бумага такого цвета. Москва ночью обернута в это жесткое мягкое небо. А сейчас уже почти утро. Скоро шесть. Еще два часа, и выключат фонари, — и снег, и небо станут просто серыми. А пока можно сидеть и тупо смотреть в чашку с остывающим чаем. Можно позволить себе не думать, а просто впитывать в себя эту желтизну, уже распирающую мозг, чтобы днем в белых больших хлопьях видеть мертвые желтые сугробы, рассыпающиеся от взгляда, как песочное печенье. Надо впитать эту желтизну, чтобы оградить себя от тоскливой желтости душных аудиторий и желтоватых воющих интонаций лектора.

Шесть часов. Чай остыл. Может быть, это самое счастливое время, — когда не чувствуешь ничего, даже счастья. Сейчас придется очнуться.

На бегу короткая схватка с ветром. Высокие грязные ступени пустого троллейбуса; потом вниз, вниз — желтые кафельные стены очередной станции уплывают все быстрее... красные и белые огни в черном тоннеле — и вначале сливаясь в желтые полосы, а потом, замедляя ход, — снова желтые кафельные плитки. Сонные сосредоточенные позы; лица, застывшие над книгами, газетами и мыслями... все это, включая мысли, чуть покачивается от хода поезда и желания спать; все сидят, как в зале ожидания следующей остановки... Надпись «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ» через отражение в стекле. В который раз осторожно-двери-закрываются, и уже не выпустят... Нет, — ленивый людный эскалатор... Небо за эти двадцать минут из черно-желтого стало серосиним, и невыключенные фонари уже не могут подчинить себе его цвет. Окончательно: утро. И вечный маяк впереди — оплывшее тело Университета.

3. Дорога в школу ВСТРЕЧА (почти про нас)

Они шли навстречу друг другу, сбивая прохожих и проходя сквозь упавшие тела.

Солнце садилось и вставало, видно, никак не могло найти подходящую позу.

Идти было трудно. Соблазны, перемежаясь с упавшими прохожими, затрудняли шаг. Но от судьбы, батенька, не уйдешь...

И вот они шли, будто зная, что их ждет. Это знание

Рисунок Миры Ивановой

заставляло их стремиться друг к другу как можно медленнее.

«Ну вот, кончила я школу,— тянулась 'смутная мысль,— и что? Ведь куда-то еще поступать надо».

«Вместе будем, в одном Универе,— удовлетворенно решил Он.— Однако я даже не знаю, стоит ли учиться дальше. Может, академку взять?»

«Да ладно, поучись пока, чего там... Успеешь еще уйти из Университета,— пообещала Она.— Но не сразу».

Они шли так долго, что уже смутно помнили куда...*

«Да,— с тоской думала Она.— Вот встретимся скоро — и что? Потом ведь надо будет телефонами обменяться».

«Вот именно,— вздыхал Он.— Звонить придется. А толку-то. Ну, перепишу я у Нее концерт «Аквариума». Так ведь и запись-то некачественная».

«Ну, подарит Он мне Набокова... Хотя да, ради этого стоит».

«Ты думаешь?»

«А действительно, надо ли мне с Ним встречаться? — поинтересовалась Она у своего внутреннего голоса. Внутренний голос пожал плечами: — А это твое личное дело. Все равно ты уже почти дошла».

«А не хочешь — не надо,— заглушая свои многочисленные внутренние и внешние голоса, вещающие из информационных полей и проезжающих мимо машин, заявил Он.— Мне лично в лом заявляться к тебе домой в начале двенадцатого и общаться с твоими родителями, ласково смотрящими на меня одним большим зверем. Давай действительно не будем знакомиться. Кроме всего прочего, это пошло».

«Ну да,— вяло согласилась Она.— Хотя меня это сейчас как-то мало интересует. Мне бы сессию первую сдать...»

«Это твои проблемы».

Где-то над головой загорелось солнце. Оно горело ровно и красиво. Догорев, оно пожухлой черной золой упало куда-то в район бассейна «Москва».

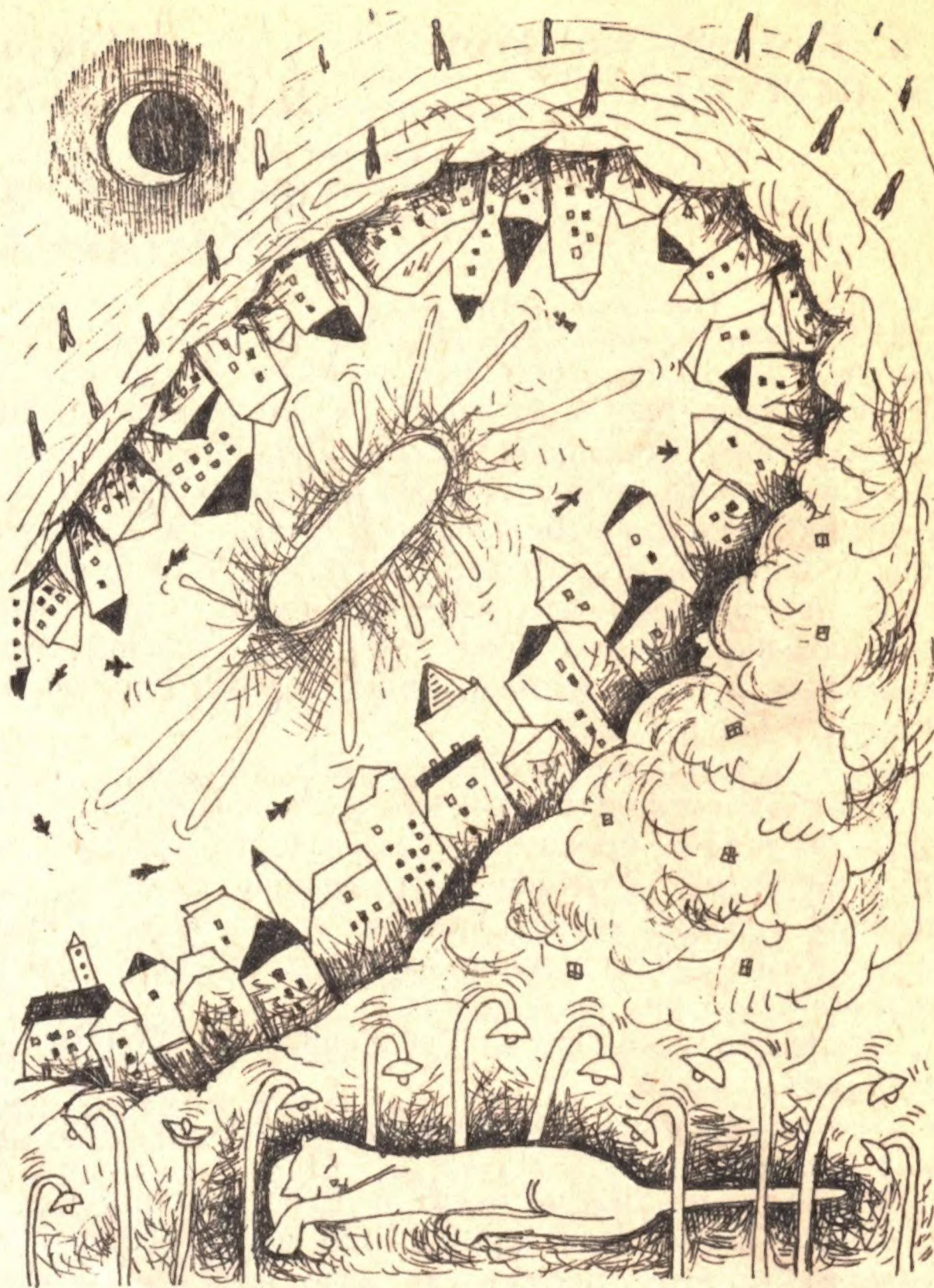
Повсюду чувствовался теплый запах свежего асфальта.

— Девушка,— с чувством глубокой неизбежности начал Он.— Скажите, пожалуйста...

4. Занятие в школе, дорога домой ТРИВИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Ну вот, а привидение это было совсем молоденькое. Оно родилось в Москве, не так давно, и, как многие московские привидения, было гостеприимным, веселым и немного философствующим. Оно обитало на чердаке дома в районе Суворовского бульвара и часто гуляло по Арбату, принимая задумчивый вид бело-рыжей кошки или хипа с насмешливыми глазами. Иногда, когда лень было перевоплощаться, оно просто растворялось в воздухе и плыло по ветру, стараясь, чтобы никто его не вдохнул. Но это было опасно. К остальным московским привидениям оно относилось довольно сдержанно. Были приятные типы, из тех, кто являлся на зов изнемогающих от ужаса и любопытства девчонок, крутящих блюдце, и заигрывал с ними, выдавая себя то за Маркса, то за Достоевского. Но были и привидения новой формации, привидения-материалисты. Этих не любили. Они нехорошими словами ругали субъективный идеализм и изо всех сил пытались ввязаться в какой-нибудь спор, переходящий в драку. Их вежливо выслушивали, но не трогали, поскольку особого вреда они не причиняли. Говорят — и пусть себе говорят, если хочется.

Наше привидение стояло как-то особняком среди



всех остальных. Оно не интересовалось спиритизмом, не поддерживало теорию о том, что привидение — венец природы, не участвовало в бурных шалостях своих знакомых (те любили пугать юных дев, выпрыгивая перед ними из водосточных труб и канализационных люков или передвигая каждый раз на новое место бюст Ленина в одной из школ. А однажды ночью они сняли с дома на проспекте Маркса надпись «Коммунизм победит», чем произвели сенсацию в западной прессе). Но наше привидение не любило групп и группировок. Оно обожало подбирать на своей старой гитаре песенки, которые постоянно звучали из окна на третьем этаже. А еще оно частенько перевоплощалось в преподавателей близлежащего учебного заведения и читало лекции по истории русской литературы.

Вот, собственно, и все, что я могу рассказать об этом привидении. Но разве оно знает обо мне больше?..

5. Обед МЫСЛИ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ

Так гнусно, пусто и скучно...

Но ты не подашься в дворники, ведь фирма, в которой ты числишься, давно уж не вяжет веников.

К тому же еще два года — и будет диплом в кармане.

А после еще полжизни — и пенсией обеспечена.

Так что сиди и не рыпайся.

Нечего.

*плагиат-с

6. Помощь по дому А ПОТОМ?

А те, с кем нам разлуку Бог послал,
прекрасно обошлись без нас — и даже
все к лучшему...

Ахматова

Он вышел из подъезда. Не думай о доме, его больше нет для тебя. Двор был длинный и пустой, он длился. Двор был в асфальте. Раза четыре в день около Двора взлаивали собаки. Раза три слетались голуби клевать свою тень и купаться в лужах. Да! Конечно, иногда во Двор заходил дождь. Но из людей там не было никого, только Он все шел и шел. И уже даже не удивлялся, что встречает только птиц. Окна в домах, окружавших Двор, загорались, освещая путь сумеркам, и гасли, чтобы солнце не нашло дороги во Двор. А Он все шел.

И того дома уже не было за Его спиной.

Иногда вспоминался Тот, кто первым спросил: а почему бы тебе не бросить всю эту гадость... почему бы тебе не уйти?... Разговор шел странно, шатаясь, как пьяный, лавируя между Темами, наполнявшими комнату. Темы были хорошо видны в табачном дыму, и говорить о них не хотелось.

После очередной паузы Тот и спросил: а почему бы тебе не?..

Загорелись окна. Это садилось солнце, вгоняя стекла домов в краску.

И того дома уже не было за Его спиной.

Тогда, после этой фразы, они вдруг все начали говорить об этом. Все сказали: надо, ведь кто сможет, кроме тебя. Он не знал, кто сможет, но чувствовал, что сам на это не способен. Ему-то было страшнее, чем им всем, потому что они знали, что идти придется Ему, Он же надеялся, что жребий... справедливость... Бог... На бумажке нарисовали крестик, остальные оставили чистыми, бросили в... шляпу? ящик? — не помню, куда-то бросили. На бумажке, которую вытаскивал Он, стояло: а почему бы тебе не?.. Да, сказал Он, да, конечно, значит, судьба, пойду, завтра обязательно, надо еще собраться. Они помогали складывать вещи — какие-то газеты, яблоки, клей, зачем? Но о Нем они забыли сразу, как только помогли закрыть чемодан и поставить его под кровать... нет, раньше, когда Он вытаскивал жребий. Нет! Когда впервые возникла фраза: почему бы тебе?.. Возникнув, она поселилась в доме. Он ушел, чтобы не наткнуться на нее всю жизнь.

И того дома уже не было за Его спиной.

Он так ни разу не оглянулся, с тех самых пор, как сделал первый шаг. Только вперед, туда, где Двор выходит на улицу, а на ней люди, машины, и собаки, и дети, и еще...

Опять пришла Ночь. Она приходила все чаще, а уходила все позже. Он любил ее, потому что надо было кого-то любить.

Мимо пролетела птица. Он хотел обернуться, но вспомнил, что там, сзади, дом, который Он не хочет больше видеть, Он решил, что такого дома не существует, всем назло, так! Там, за спиной, ничего нет, и я не оглянусь.

И не оглянулся.

Улица была все ближе. Там, правда, тоже не видно было людей. Но Он еще помнил, что люди существуют, что существуют те, кто прогнал Его... Не думай о них, их нет, даже этого дома нет, а скоро ты выйдешь на улицу, подумай лучше об этом.

Он уже очень устал, когда увидел, что Двор кончился. Идти туда? Он остановился. Туда? еще два шага? и улица? и навсегда?

Он вскрикнул и побежал по Двору, обратно, к дому, закрыв глаза.

Но дома, дома, Господи, дома не было, не было...

7. Прогулка ДЖАЗ НЕ НАЧНЕТСЯ

Жила-была очередь. Она стояла. Ей ничего, кроме этого, не оставалось. А она хотела жить. Хотя, казалось бы, чего ей не хватало? В кино ходила. На выставки. Ну, поесть-попить — конечно... А она мечтала о другом. Приходить домой, делать себе крепкий чай, садиться в кресло, брать в руки Набокова... а можно и без Набокова. Включать джаз — и слушать, слушать... И смотреть, как садится солнце и меняется цвет неба за окном. Или сесть в поезд и ехать далеко-далеко. Хотя бы для того, чтобы проверить: слышно ли в поезде, как поют птицы? И видеть, как солнце догорает на траве, синеватой от заката, уносящейся вслед за городами... Очередь хотела, чтобы ее любили. Ей надоело стоять, ей было уже все равно — что дают, зачем дают... Ей хотелось любви, хотя весна уже давно прошла. Да и что такое в конце концов весна? — мокро, грязно, снег еще не растаял, черный и свалывшийся... лужи... сразу становятся видны пыльные лица площадей и больших улиц. А когда выглядывает солнце, весь город — в серо-коричневой пыли. Почему именно в это грязное, бездушное время года хочется любви? Хотя весна еще не началась, а любви все равно хотелось. Очередь как-никак тоже живое существо. Прижаться к чьему-то плечу щекой, чтобы было тепло и хорошо, и сделать крепкий чай, включить джаз и к черту Набокова... Потому что холодно и неуютно стоять здесь, а придется стоять еще долго, а потом просто исчезнуть до завтрашнего дня. Когда уйдет последний в этой очереди, она умрет. Очереди умирают, легко вздыхая и думая об уютном свете настольной лампы и о том, что самое большое счастье — стоять вот так и мечтать о доме, крепком чае и джазе.

8. Уроки КОГДА-НИБУДЬ

...и замолчат. Их странные Слова довольно долго будут видеть — в Книге, в чужих стихах, в рисунках на асфальте, в «Защите Лукина» и в номерах машин. Но иногда и Слов не разобрать, а только Буквы... Будут также книги, где не увидишь даже этих Букв. Так будет.

9. Ужин МЭРИ ПОППИНС С НОВА ДОМА

Когда меня все перестанут посылать, я обещаю устроить День Независимости, собрать вас всех и напоить.
Из невыполненных обещаний
одного доброго знакомого

— Джейн, Майкл! — раздался шепот. — Вы спите? Гость, кто бы он ни был, не хотел будить мистера и миссис Бэнкс. Поэтому он прокрался в комнату Джейн и Майкла абсолютно бесшумно:

— Проснитесь!

— Майкл, ты слышишь? — Джейн открыла глаза. — Это кто?

— Ой, Джейн, как интересно!

Они тихонько сели в кровати.

— А кто это говорит? — Джейн вытянула шею, вглядываясь в темноту.

— А к чему тебе это знать? — Гость был не из вежливых, судя по всему. — Оденьтесь — и вперед!

Дети вышли из дома. Ночь, вопреки популярной песенке, нельзя было назвать грязной и дождливой. Было сухо, воздух был какой-то мягкий и теплый, как

бывает только в мае и в самом начале июня. Ребята бежали за чьей-то тенью по пустым улицам. Лишь кое-где можно было увидеть скучающих полисменов в темно-серых плащах, да черные кошки время от времени перебежали друг другу дорогу. Ребята сели в метро, гонясь за тенью, которая резво бежала перед поездом. В этой погоне пришлось перейти на другую линию, выйти из метро, промчаться по темному двору...

— Джейн! Это же... А как мы войдем? У нас нет денег.

— Не беспокойтесь! — Чья-то обширная фигура загородила им дорогу. — Приглашенные сегодня входят бесплатно. Вот ваш прайс. По три рубля.

— А раньше мы всегда давали деньги, — сказала Джейн.

— Что было раньше, то было раньше, — философски заметила фигура. — А сегодня получайте.

— Чудно это все... А тут всегда так ночью?

— Нет, только когда День Независимости приходится на полнолуние. Это же вам не сейшн какой-нибудь. Идите, а то скоро начнется.

Они вошли.

— Здесь что-то творится, — сказал Майкл.

И он был прав. Мимо пробежал длинный паренек с видеокамерой на плече — на бегу он что-то доказывал девчонке, с трудом за ним поспевавшей. Можно было разобрать беспрестанно повторявшиеся слова «День Независимости» и «Полнолуние». На ступенях сидели еще трое и курили. Казалось, все обсуждают одну и ту же проблему.

— Чей это День Независимости, интересно? — пробормотала Джейн. Тут ее чуть не сбил с ног какой-то хлипкий мальчуган весьма делового вида.

— Смотри, куда прешь! — заорал он. Его вежливо оттащили в сторону и бурно зашептали что-то на ухо. «Приглашенные...», «Друзья самого...» — слышно было в жарком шепоте.

Мальчуган, казалось, был разочарован.

— А, — буркнул он задумчиво. — Ну тогда пошли, что ли?

Чем выше они поднимались, тем больше народу было на ступенях. Все курили, болтали, писали стихи, просто сидели и смотрели в окно. В воздухе летали красные и синие воздушные шарики; иногда их прожигали окурками, и они недоуменно лопались. Бутылкам никак не удавалось быть полными и открытыми одновременно. На лестничных площадках кое-где жгли костры — не для того, чтобы согреться, а просто чтобы посидеть вокруг. Луна выливалась на гитары, головы, ступени, бутылки, шарики и спящий город за этими сумасшедшими уютными стенами.

— Вы, наверное, хотите поздравить и все такое? — с надеждой спросил мальчуган, продираясь сквозь сидящих и стоящих людей.

— Да, конечно, — сказала Джейн, хотя понятия не имела, кого именно надо поздравлять.

— Дорогу! Дорогу! — закричал, не выдержав, мальчуган. — Еще двое поздравителей.

Те, мимо кого шли Джейн и Майкл, дружелюбно кивали им, пили за их здоровье, дарили им тетрадки с гениальными сценариями и величайшие картины мира, нарисованные только что с натуры сигаретным дымом в темном воздухе. Джейн и Майкл прошли в какую-то квартиру — дверь была открыта, во всех комнатах тоже тусовался народ. Все обсуждали все ту же проблему Независимости и Полнолуния.

— На кухню, на кухню, — проворчал Джейн и Майклу уже знакомый им парень с видеокамерой.

— Ты посмотри! — Майкл открыл рот от удивления.

— Да... — Джейн сделала шаг вперед. — Так вот у кого сегодня День Независимости...

— Ну что, зайчики? — усмехнулся Тот, кто сидел за

кухонным столом, подперев голову рукой и ласково глядя на вошедших. — Я же обещал вас напоить...

И вот тогда они его послали.

10. Тихие игры ЗНАКОМСТВО

Они подошли к автобусной остановке с разных сторон. Им никуда не надо было ехать, просто они увидели слово «остановка» и остановились. И так стояли. Автобус все не шел. Он тоже стоял. Было жарко. Они смотрели, как с неба падает толстый белый заяц. Рядом шлепнулся еще один, ошарашенно помотал головой и убежал вслед за первым. Зайцы падали уже сплошной стеной, с глухим стуком.

— Заяц пошел, — сказал он. — Хорошо, мы под навес успели спрятаться.

— Да, — подтвердила она, — зайчливо что-то этим летом.

Говорить больше было не о чем. Он помолчал.

— И жарко.

— Жарко, — отозвалась она.

Тема погоды была исчерпана. Заяц кончался, вот уже упали последние, маленькие и невзрачные, и вскоре заяц схлынул, штуки три забились под терпеливо стоящий автобус. На улице показались мужики. Они шли парами. В руках у них были сачки и удочки.

— Житья от них нет, — прокомментировала она. — Опять пошли отлавливать. Делом бы занялись.

— Занялись бы, — подтвердил он, — но есть-то надо. А пошли ко мне. У меня картина на стене висит, про трех медведей.

— Пошли, — легко согласилась она.

Они ушли. Автобус подумал и поехал за ними. Мужики рассеялись по улице, размахивая удочками. Было жарко.

11. Подготовка ко сну ПРЕДСОНЬЕ

Оно было черным.

Оно росло, и от этого становилось не страшно, а тускло, и хотелось лежать и смотреть в одну точку, и лень было закрыть глаза. Оно все росло, вливаясь в воздух, и от этого было все труднее и труднее дышать. Оно росло внутри, выливаясь наружу, а потом все приходилось вдыхать опять, и не было возможности и сил избавиться от этого. Потом все зазвенело тонко и прощально, и стало слышно, как где-то далеко-далеко, на другом конце Москвы, кто-то спрашивает: «Еще чаю?» Все звуки стали отчетливыми, они плавали в серо-буrom тумане, сцепляясь с черными блестящими кольцами. Внутри была глубина, в которую ударялся шорох дождя по крыше, отдаваясь чуть ниже сердца знакомым щемящим ужасом.

Оно росло, выдавливая все ощущения и мысли куда-то в пространство, где их, может быть, можно будет найти потом, завтра, через год — заглянув под кровать в поисках утраченного карандаша, увидеть вдруг эту мысль, которая мучила когда-то, а потом легко и безболезненно исчезла, казалось, навсегда, оставив только смутный отблеск, сверкающий и дрожащий.

Все звуки ушли. Осталось только эхо.

Оно, это черное и страшное, все росло. Оно уже с трудом умещалось внутри, вытекая через открытые глаза, сквозь замершее сердце. И комната уже была мала для него. Надо закрыть глаза.

Оно остановилось недоуменно — и вдруг вспыхнуло больно и красиво черным светом.

Все взорвалось вокруг и стало падать, увлекая за собой, скручиваясь в сияющую спираль.

Я заснула.

Через сорок минут наступил апрель.

Психологическая служба "Познание Я" поможет вам:

- узнать важнейшие особенности своего характера
- выяснить причины неудач в жизни
- определить профессии, наиболее соответствующие вашему психологическому складу
- получить рекомендации по выбору будущего супруга
- достичь гармонии в семье

Получив ваш запрос и конверт с обратным адресом, мы вышлем вам **БЕСПЛАТНО** подробную информацию об условиях тестирования и возможностях каждого теста.

115304, Москва, а/я 27. Служба "Познание Я".

ХОЗРАСЧЕТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ПОЗНАНИЕ Я

ДЕТЕКТИВЫ

На **ДЮБ**  **и ВКУС** 

"Ника-плюс" - для вас:

МАСТЕРА ЗАРУБЕЖНОГО ДЕТЕКТИВА

Стивен КИНГ, Альфред ХИЧКОК, Ян ФЛЕМИНГ, Роберт ЛАДЛЕМ

Произведения этих и других популярных зарубежных авторов, вошедших в десяти-томник "Мистер Триллер", не издавались ранее в России. Книги выйдут в твердом переплете на офсетной бумаге в 1992 году.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НУЖНО:

- перечислить 240 рублей только почтовым переводом на наш адрес. Ф.И.О., ваш полный обратный адрес должны быть написаны печатными буквами. Сохраните квитанцию почтового перевода и уведомление о вручении

- предприятиям-подписчикам необходимо выслать нам копию платежного поручения, на обратной стороне которой впечатать полный адрес предприятия

Оптовым покупателям предоставляется скидка от 10 до 25% в зависимости от количества закупаемых экземпляров.

Книги вы получите по почте ценной бандеролью.

Почтовые переводы должны быть высланы до 30 января 1992 года.

Наши почтовые и банковские реквизиты:

344011, г.Ростов-на-Дону, пер. Островского, 105 р/с 467072 в Донкомбанке МФО 246046.

Контактные телефоны: (8632) 354440 (с 16 до 20), 333839 (с 11 до 16), 354767 (с 11 до 16)

Факс: (8632) 644550 (Ника Плюс)

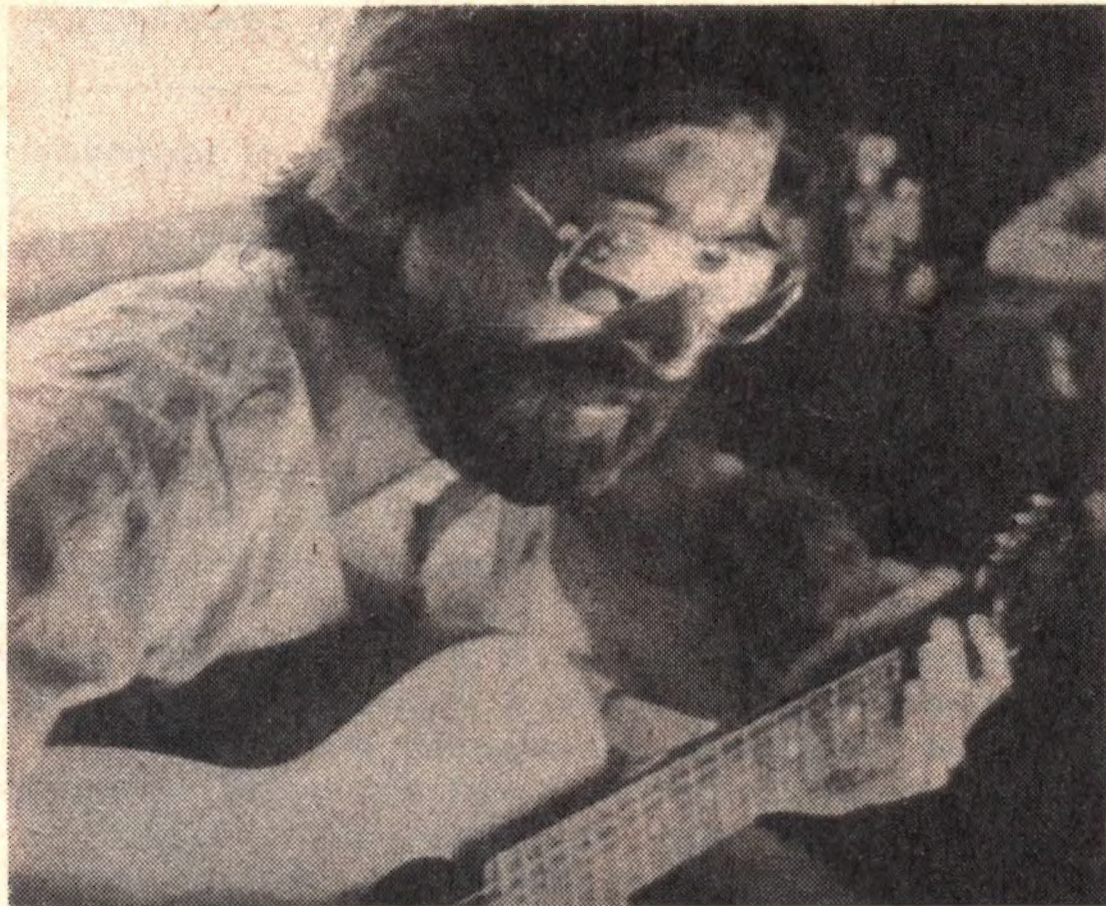
TOO



НИКА - ПЛЮС

НЕ СУДИТЕ

Интервью, взятое у Юрия ШЕВЧУКА
Мариной ТИМАШЕВОЙ
и Ильей СМЕРНОВЫМ.



ИС. С праздником! — выходом в виде пластинки лучшего альбома русского рока. Серьезно, я считаю, что «Периферия» (ДДТ-84) — как альбом, как цельное явление, до сих пор не имеет себе равных.

ЮШ. Писали мы ее три ночи на Башкирском ТВ. А потом человек, у которого хранился оригинал, смертельно заболел. Заболел таким страхом перед всеми уважаемой организацией КГБ, что даже не спрятал этот оригинал, а просто-напросто уничтожил. В то время по Уфе прошла целая волна судебных шоу. Нормальный фестивалчик. Судили за длинные волосы, за наркотики, за антисоветскую литературу.

МТ. Вот так — через запятую?

ЮШ. Да. А Сигачев, наш неизменный в то время клавишник, где-то потом нашел пленочку. Мы ее отреставрировали. И выпустили пластиночку.

ИС. Насколько я понимаю, с московским альбомом 85-го года «Время» получилось немногим лучше. Человек, на квартире у которого вы записывались, недешево отдался.

ЮШ. Да. Но арестовали Валентина не по этому поводу.

ИС. Формально у нас никто не сидел за музыку. Даже ВОСКРЕСЕНИЕ. Как мне объяснял товарищ подполковник: «Для нас это не музыканты, а уголовные преступники...»

ЮШ. Мне так и было сказано: «Еще один альбом, и...» Все понимали: и жюри фестиваля, и я, что приз будет большой, года на три. Поэтому следующий после «Периферии» альбом мы писали уже в Москве, на девятом этаже возле метро

«Праздничная». А в Уфу я уже... Нет, вернулся — за вещами ночью, сказал маме: «Меня нет», — собрался и уехал в Петербург.

ИС. А оригинал «Времени» сохранился?

ЮШ. Да. Мы нашли несведенную запись, которую сейчас сведем и выпустим пластинку — наверное, небольшим тиражом, коллекционную.

ИС. То есть занимаетесь изданием собрания собственных сочинений.

ЮШ. Совершенно верно. Есть такая жажда — освободиться от всего, что мы сделали. Расчистить пространство, чтобы жить дальше.

ИС. Что вы сейчас закончили писать?

ЮШ. Пластинку «Пластун». Песни 88—89 годов: «Предчувствие гражданской войны»... Ну, там много таких пышных песен революционного характера. Хотя они совершенно неревolutionного характера, это все чушь, конечно... Да как можно сказать — надо слушать.

ИС. Я так понимаю, что каждый альбом выходит на новой фирме грамзаписи.

ЮШ. Наконец-то появилось, из чего выбирать: колода частных компаний, студий звукозаписи. Заводы те же, конечно, но посредников стало очень много. Можно выпустить пластинку самому, если договориться с директором завода, но нам это невыгодно — много беготни. А посредники делают свое дело и получают свой процент.

ИС. Слушай, никто даже не обратил на это внимания, а ведь рухнула самая могучая феодальная монополия в области музыки.

ЮШ. В общем-то да. Частные фирмы перестроились, как у нас говорят. И работать с ними гораздо интереснее, и платят они музыкантам за пластинки гораздо больше...

МТ. Музыканты — в выигрыше?

ЮШ. И в большом. Теперь мы можем получить какие-то деньги за свою работу. За первую нашу пластинку, которая вышла на «Мелодии» в 87-м году, мы вообще не получили ничего.

МТ. Как — вообще НИЧЕГО?!

ЮШ. Музыканты получили по 40 рублей, а я как автор ни копейки.

МТ. Каким образом?

ЮШ. Директор тогдашней ленинградской «Мелодии» взял с меня бумагу, что я полностью отказываюсь от авторского вознаграждения. В противном случае он не может выпустить эту пластинку. Было собрание группы — и мы пошли на это... Нам необходима была пластинка, нам, и вам, и... В общем, вышло примерно 500 тысяч штук.

ИС. Хорошая коммерция. В ней можно дать 100 очков вперед Западу: или отказываешься от гонорара, или — ни фига не выйдет.

ЮШ. Какие-то мажоры получали огромные деньги за свои пластинки — но из нашего кармана. Мафия. Сейчас частные фирмы могут заплатить рубль с пластинки — это уже хорошие деньги.

ИС. Дорого яичко ко Христову дню. Боюсь, что рок-музыкантам это уже не поможет. Вот если бы три года назад...

ЮШ. Ну все-таки... Мы посмотрели и пощупали все посреднические фирмы. SNC-Рекорд (глава — Стас Намин) — наиболее деловая компания. Согласились на все наши условия. «Оттепель» выходит через эту фирму.

ИС. «Оттепель» — это...

ЮШ. Блок песен 87-го года. «Церковь», «Ленинград», «Мальчик слепой», масса рок-н-роллов, «Мама, я люблю».

ИС. Я много ругал Стаса Намина, но справедливости ради надо отметить его хороший вкус, и не только в отношении Запада. А с Запада он завозит продукцию, полезную для нашего просвещения. Не «Ласковый май».

ЮШ. Ну, он учился в институте все-таки. Высшее образование, хе-хе. Ну а с другой стороны, мы выдержали реакцию со стороны фарисеев от рок-музыки, я бы так их назвал: «Как это вы продались Стасу Намину?» Артем Троицкий очень много говорил на эту тему. А нам в общем-то безразлично, кто будет «папой рок-н-ролла» на Западе, Намин, или Троицкий, или еще кто-либо. Мы делаем свое дело и делаем его, на мой взгляд, достаточно успешно. Пока. Песни наши честные. К этому я могу добавить еще одно: в наше время делить мир на «своих» и «чужих», устраивать «Рок против ментов»... это ни к чему хорошему не приведет. Одно из самых моих любимых мест в Евангелии: когда Иисус сидел в Иерусалиме и — я говорю образно — бухал с проститутка-

ми, с ворами, зашли фарисеи и сказали: «Ага, Иисус, вот кто ты на самом деле! С кем ты сидишь? С говном, с проститутками, ворами. А говоришь, что ты сын Бога». Он отвечает: «Так, господа фарисеи. Вы-то уже святые люди, а им я нужен больше, чем вам». Вот. Хорошая история. Сейчас все так меняется... — и я не сужу никого. Такая у меня установка — не судить. Хотя, конечно, с дерьмом надо разбираться. Может быть, другими путями. Но сейчас не время и не место. Вообще в пространстве, называемом Россией, нельзя делить ни культуру, ни сам рок-н-ролл на какие-то части, потому что две части и составляют целое. С одной стороны — нравственный поиск. Бог в себе, движение души в глубь самого себя. Сейчас это необходимо каждому из нас. С другой стороны — путь социального, политического обустройства мира, создание какой-то республики — не знаю, какой она будет. Идея Христа вообще-то уничтожает социальную, политическую борьбу: «Кесарю кесарево, а Богу Богово». А мне кажется, что нужно найти меру. Это то лезвие, по которому нужно пройти. Легко сейчас удариться в политическую борьбу. Или в поиск духовной сущности в себе. А мне кажется, что выход в соединении.

ИС. Сейчас ты не стал бы бить по лицу человека, который в 84-м на тебя стучал?

ЮШ. Ни в коем случае. Его нужно понять.

Нужно понять и того же мента, и того же омонца, и того же Невзорова, в конце концов. А понимая, ты уже становишься на другую ступень и в политических взглядах, и в нравственных поисках. Почему сейчас не существует рок-движения? Потому что нет такого: они — все «за», а мы — «против». Все мы (Гребенщиков, или Костя Кинчев, или Петр Мамонов, или все остальные) занимались политической борьбой, а сейчас ушли в нравственные поиски. Поэтому никакого движения не существует. Чтобы разобраться в самом себе, человек должен быть один.

ИС. А не в толпе на демонстрации... У Толкиена умирает эпоха, и с нею вместе все хорошее и дурное. ДДТ — одна из немногих групп, сумевших полноценно выразить новую эпоху. В чем секрет?

ЮШ. Не знаю. Это тебе судить. Но есть ощущение, что все еще впереди. Сам я считаю, что жизнь — не истина, а путь, и путь этот бесконечен, нужно идти дальше и внимательно смотреть, чувствовать, как изменяется жизнь, как меняемся мы сами. Наверное, ДДТ живет — не застывает. Хотя такая страшная беда грозила нам. Я одно время увлекся и начал писать песни, очень похожие на старые. Это был звонок. Мы остановили концертную деятельность, сейчас записываем пластинки. А дальше мы не знаем, будем ли мы существовать, — это зависит от того, станем мы на новую ступень или нет. Если у нас хватит таланта, духовных и физических сил, тогда ДДТ опять всплывет на поверхность.

ИС. Когда мы познакомились — кажется, в 83-м у Рыженко, — ты курил что-то вроде «Беломора», теперь куришь фирменные сигареты. Не боишься оторваться от корней рок-н-ролла? Приобщился к советской элите, которая от народа, я думаю, значительно дальше, чем американская.

ЮШ. Нет, пока не боюсь. В нашей стране честно не разбогатеешь. Даже если заработаешь миллион, завтра он будет стоить 10 тысяч. Во-вторых, я не против был бы разбогатеть. Что в этом плохого? Купить себе квартиру... У меня до сих пор 22 квадратных метра в коммуналке.

МТ. «И 22 квадратных метра объединим за ночь с ветерком».

ЮШ. Да. Самое страшное — сколько было крыс. За ребенка боялись.

ИС. То есть ты считаешь, что если кого-то богатство испортило, то там и портить было нечего?

ЮШ. Согласись — нас (кого я знаю), когда мы вышли из подвалов, испортила большая сцена, стадионы. Но меня это, я надеюсь, испортило не совсем.

МТ. А что такое «мажор»? Есть точка зрения, что мажор — тот, кто хорошо живет. Машина есть — мажор. Чистое белье — мажор.

ЮШ. Чушь собачья. Психология типичного раба. Для меня «мажор» — это внутреннее, нравственное. Помню, в молодости я тоже... несколько других был установок. «Установок», хе-хе. Дурацкое слово. Совок, конечно. Эти слова — они в подсознании, и никуда не денешься: «УСТАНОВКА». Я тоже бредил идеями: художник не должен жить во дворцах. «Сынок, это твоя Родина — вот эта нора». Сейчас я другого мнения. Человек должен иметь условия, чтобы трудиться. Я мужик, а мужик должен что-то делать, должен иметь необходимые средства труда. А средства труда для меня —

в первую очередь рабочий стол. Но в коммуналке его просто некуда поставить.

МТ. Юра, почему ты на концертах к людям обращаешься: «Братья и сестры»? Митьковство, христианство, панибратство?

ЮШ. Нет, я просто медитирую, то есть воспитываю сам себя, настраиваю сам себя на эту волну по жизни, а концерт для меня и есть концентрация жизни, ее пик. И здесь я, конечно, должен быть совершенно чист. Потому что борьба-то на самом деле идет страшная в каждом из нас. Согласись, каждый день решаешь для себя массу нравственных проблем. Вы вообще-то в недоброе время ко мне пришли, потому что я сейчас во многом сомневаюсь...

МТ. Это доброе время — когда человек сомневается. Недоброе время — если он «знает, как надо».

ЮШ. Да. Но это довольно мучительно...

МТ. В самой ситуации концерта для тебя не заключена война, борьба с залом?

ЮШ. Борьба существует: борьба за слушателя, за уши. Потому что масса народа приходит просто побалдеть, и начинается борьба за СЛОВО, то есть за то, чтобы они прислушались. Иногда удается, иногда нет. Как в жизни.

МТ. Но взаимной агрессии в этом нет?

ЮШ. Какая агрессия? Во мне ее никогда не существовало. Ты же прекрасно знаешь, что никогда я на концертах не призывал кого-либо мочить. Да и чушь это, а в наше время провокация просто...

ИС. Ты и раньше так думал. В репертуаре ДДТ даже уфимских времен не было песен, в которых сквозила бы ненависть. Или, например, «Милиционер в рок-клубе»...

ЮШ. Добрая песня. Ну откуда, какая ненависть? Жить под ней и творить — для меня это всегда было неправдой. Я могу, конечно, подраться с кем-нибудь. Но это совсем другое. А вот ненависть в творчестве... Я тебе рассказывал, по-моему, что, когда происходили все вещи, связанные с «Периферией», некая волна на меня нахлынула, и я думал про себя: «Ну, сейчас я вам покажу, сейчас я вам устрою, всем этим педерастам». И писал действительно злобные песни. Бывают по-хорошему злые песни, а бывают по-плохому. Ну я их все уничтожил, естественно. И написал добрые. Вот программа «Время» — как раз добрые, обнадеживающие песни.

ИС. В 85-м году никто не верил, что нас ждет что-то хорошее. Как тебе удалось предсказать?

ЮШ. Я не верю в предсказания. Просто каждому человеку хочется верить, одному — в одно, другому — в другое. Я всегда старался верить, что все будет в порядке. Это не предсказание, а внутренний настрой души на хорошее. Он необходим. Если настроиться иначе, что все тут плохо, — будет переворот, танки...

ИС. Ты сам пел «Предчувствие гражданской войны».

ЮШ. Но ведь эта песня...

ИС. Для того чтобы предчувствие не оправдалось?

ЮШ. Во-первых. А во-вторых, в ней и не было никакого предчувствия. Какое там предчувствие... Это была песня о том, что существовало и существует во всех нас. Гражданская война в каждом из нас. Я написал ее практически за ночь. Как будто кто-то мне ее подарил, что ли. Хлынула как-то ночью. Спать не мог, все записывал, записывал, записывал, всю ночь как на иголках. Вот она и родилась.

ИС. Ты сказал, твое место работы — за столом. Значит, ты согласен с Моррисоном, что рок-музыкант — это поэт, и майки «Вся власть поэтам», которые вы носили, не случайно?

ЮШ. Выражение Хлебникова. Но говорилось, сам понимаешь, не о политической власти. Для меня рок-н-ролл — основа, как она существовала в творчестве того же Моррисона. Он в своем искусстве ближе всех к жизни подошел, нашел в рок-н-ролле саму жизнь со всеми ее плюсами и минусами, нравится — не нравится. Почему фанаты его говорят о втором пришествии Христа? Ведь никого больше не сравнивали с Сыном Человеческим. Он для меня — как сама жизнь, наиболее емкое воплощение той революционности, которая есть в рок-н-ролле и христианстве.

ИС. К политике ты относишься с некоторой брезгливостью.

ЮШ. Нет, я же говорил об этом: политикой необходимо заниматься, но в каких-то рамках. Трудно жить без левой ноги. А политика, допустим, моя левая нога. Но ведь лишь левая нога, не более того. Мы живем в политизированной стране, а творчество, искусство заняты, согласись, другим.

ИС. Судя по всему, ты являешь собою редкостный в наш

истерический исторический период тип оптимиста.

ЮШ. Оптимиста или воинствующего пессимиста — не знаю.

ИС. А что ты сейчас слушаешь, кроме группы ДДТ на студии?

ЮШ. Ничего. И все, и ничего. Слежу за музыкой, но все это меня не волнует совершенно, ни наша, ни зарубежная. Но я в курсе, в курсе...

МТ. А что все-таки у рок-н-ролла с религией? Язычество, шаманство, православие... Бог — разный или один?

ЮШ. Рок-н-ролл я сейчас воспринимаю как раннее христианство, христианство без епископов, хоругвей, икон, папы

римского. Рок-н-ролл — революционная суть христианства.

Христианство есть переворот в сознании людей, основа продолжающегося нашего бытия со всеми его нравственными законами. Это не то, что сейчас представляет собой церковь. Есть среди наших отцов замечательные люди, но их мало. Фарисейства много.

Христос сказал: Бог — он не карает. Это не Зевс, он не поражает тебя молнией. Бог — он твой отец внутри тебя самого. В этом суть и революционность христианства. Все очень просто. Рок-н-ролл — та же простота, то же революционное отношение к жизни, но революционное безо всякого насилия, террора, без крестовых походов и борьбы с гугенотами.



Дмитрий
БЫКОВ

Монолог с ремаркой

Ангел, девочка, Психея,
Легкость, радость бытия!
Сердце стонет, холодеет, —
Как я буду без тебя?
Как-то без твоей подсветки
Мне глядеть на этот свет,
Эти зяблущие ветки,
На которых листьев нет,
Ноздреватость корки черной
На подтаявшем снегу?
Мир, тобой не освещенный,
Как-то вынести смогу?
Холодок передраассветный,
Пес ничей, киоск газетный,
Лед, деревья, провода,
Мир бестренетный, предметный,
Неподвижный, безответный —
Как я буду в нем тогда?

Как мне с этим расставаньем,
С этим холодом в груди?
До весны с тобой дотянем —
Ради Бога, погоди!
Там-то нам с тобой вздохнется
Прежним воздухом твоим,
Там-то крыльями взмахнется
Не одной, а нам двоим,
Там-то, весело старея,
Век свой будем вековать —
Я твой псих, а ты Психея,
Вместе будем психовать...
Лепет, трепет, колыханье,
Пляска легкого огня,
Ангел мой, мое дыханье,
Как ты будешь без меня?
Как-то там без оболочки
На ветру твоих высот,
Где листок укрылся в почке,
Да и та едва спасет?
Полно, хватит, успокойся!
Над железной рябью крыш,
Выбив мутное оконце,
Так и вижу: ты летишь,
Ангел мой, мое спасенье,
Что ты помнишь обо мне

В этой льдистой, предвесенней
Мартовской голубизне?
Как пуста моя берлога —
Та, где ты со мной была!
Ради Бога, ради Бога,
Погоди, помедли, пого...

Звон разбитого стекла.

☆☆☆

А мне никогда ничего не прощали —
Ни юноша бледный, пылавший прыщами,
Ни старец в алмазном венце седины —
Никто не давал мне платить вполцены.
В расчет принималась любая ошибка:
От запаха пота до запаха «шипра»,
От кровных обид до таких мелочей,
Которых бы взгляд не заметил ничей.

Другим отпускалось, а мне доставалось,
А сам я прощал — ибо что оставалось?
Прощал, чтобы только не быть одному, —
На деле же я не прощал никому, —
Не твердостью духа, а робостью праха.
Прощал от тоски, от унынья, от страха,
Прощала моя подколенная дрожь,
А великодушья во мне ни на грош.

Простить бы хоть раз без гримасы и позы:
Отдать, но от щедрости, а не угрозы,
Не так, как купец на дороге большой,
А с ясной улыбкой и чистой душой.
Не так, как прощает портовая шлюха, —
Простить бы хоть раз от величия духа,
От веры, от силы, от воли к добру...
Но так я прощу перед тем, как помру.

Письмо из командировки

Нет ни сахара, ни сигарет
В этом городе, Богом забытом,
И тебя в этом городе нет,
В дополнение ко всем дефицитам.
Правда, церкви на каждом шагу,
Но на каждой потеки и пятна.
Есть ли я здесь — сказать не могу,
Потому что мне завтра — обратно.

Потолок в этом доме худой,
Сплошь потекший, но ставни резные,
И художник — скелет с бородой —
Говорит о спасенье России.
За окном открывается плес
Или вид на песчаную косу,
Что на вечный российский вопрос
Отвечает презреньем к вопросу.
В этом городе Кремль над рекой
И протяжные рыжие пляжи.
Веет сыростью, прелью, тоской,
Разлитой в среднерусском пейзаже.
Отопление отключено,
Что ни день, холодает безбожно,
И никто не поймет ничего,
И спасти ничего невозможно.

Министерство культуры РСФСР
Всероссийский центр народного творчества
совместно с известными российскими поэтами

У Ч Р Е Д И Л И

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС поэзии „ГЛАГОЛ“

„ГЛАГОЛ“ - это:

- творческое соревнование поэтов
- поиск непризнанных талантов
- непредвзятость и абсолютная объективность оценок

Победители конкурса:

- награждаются премиями оргкомитета
- станут авторами поэтического сборника победителей, в котором будут названы имена лучших участников

Произведения победителей будут приобретены Министерством культуры РСФСР по госзаказу.

КРОМЕ ТОГО, Ставропольский фонд культуры и его издание "45 параллель" установили дополнительные призы:

- 2 премии в размере 5000 рублей
- 2 путевки на горные курорты Кавказа

МЫ ПРИНИМАЕМ НА КОНКУРС:

- неопубликованные произведения на русском языке любых поэтических форм, направлений и течений не более 220 строк
- только машинописные тексты в 3-х экземплярах, без указания фамилии автора. Конкурс анонимный. Поэтому сведения об авторе должны быть на отдельном листе. Стихи передаются на рассмотрение жюри под шифрами.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НУЖНО:

- перечислить почтовым переводом (платежным поручением) 30 рублей на р/с 1700150 Бауманского отделения соцкомбанка г.Москвы МФО 201359. А иностранным гражданам - 70 долларов США или соответствующую сумму в другой конвертируемой валюте на р/с ЭХТНИО "Альтаир" N 67084704 Внешэкономбанка СССР г.Москвы

- рукопись, сведения об авторе (ф.и.о., возраст, адрес), квитанцию почтового перевода (копию платежного поручения) направить с почтовым уведомлением по адресу: 103064 Москва, Малый Демидовский пер., д. 3, ЭХТНИО "АЛЬТАИР" до 1 июля 1992 года.

Глагол



Евгений
БЛАЖЕВСКИЙ

Осы

Злые осы
Ночью летят на Рим...
А мы говорим:
Это осы
Пронесут засосы
И медовый дым...

Словно розы,
Летят на ринг —
Злые осы
Ночами летят на Рим.
Как насосы,
Воздух ночной сосут
И звезды сосуд
Злые осы —
Худы и раскосы —
На крыльях несут.

Злые осы
Ночью летят на Рим...
А мы говорим:
Это осы
Пронесут насосы
Через Кемь и Крым...

Словно розы,
Летят на ринг —
Злые осы
Ночами летят на Рим.
На откосы
Двигается караван
Из далеких стран.
Это осы —
Худы и раскосы —
Летят сквозь туман.

Поэт знаменитый Осип
Ваш звездный маршрут прочел.
О, эти худые осы —
Раскольниковы среди пчел!..

☆☆☆

Несовпадение. Путаница карт.
Еще не вечер, но уже не утро,
Готовое направить свой азарт
По голубой спирали перламутра,
Туда, где сад особенно тенист
И звонкий лед кладут в стаканы с виски,
И ставший на колено теннисист
Шнурует кеду юной теннисистке.

Когда ты это видел и при чем
Картинка под Набокова, где Ева
Не яблоком, но теннисным мячом
На корте искушает пионера?..
Откуда этот непонятный пласт
Воспоминаний, наложенный ила,
Когда тебя нежданно обдаст
Волной того, что не происходило?..

И ты живешь, как будто по другой
Программе телевиденья в концерте

Участвуешь, и нету под рукой
Ни жизни доморощенной, ни смерти!

Постскриптум

Я обернулся. Жизнь моя
Напоминает скомканный платок,
Потерянный прохожим возле урны.
Не надо врать и становиться на котурны,
На них не перейти бушующий поток
И не спасти сомнительное «Я».
Что делать, если суть искажена
И трудно мне на переходе этом
Из мрака в темноту... До новой жизни
(Она случится, но в другой отчизне)
Довольствоваться буду слабым светом
И степью, что ветрами сожжена.
Я появился в первый раз давно —
В Ирландии в тринадцатом столетии
И, видно, потому люблю камин,
Пустое море, скалы и кармин
Заката, и глухое лихолетье
Средневековья... Мне другого не дано.
Но все же я хочу родиться вновь
Не на угрюмом Севере, а, скажем,
В далекой и прекрасной Аргентине,
Где танго и цветы, как на картине,
И где душа, с ее суровым стажем,
Согреется и обновится кровью.
Кричу: «До новой встречи, господа!..» —
И чувствую — волна кадык подперла,
И крутится безумная рулетка,
И ставки душ повышены, и ветка
Маршрута обозначена, и горло
Приятно холодит летейская вода.

Прогулка

Во мне воспоминаний и утрат
Уже гораздо больше, чем надежд
И радостей,
А потому не буду
На будущее составлять прогнозы,
Но хочется воскликнуть невзначай:
«Как быстро мы состарились, приятель,
От Пушкинской спускаясь по Тверскому!..
И радости,
Которыми, казалось,
Пропитан воздух,
Поглотил туман.
И женщины,
Которых мы любили,
Уже старухи...»
Дует ровный ветер,
Кленовый лист влетает в подворотню,
И я приподнимаю воротник.
На мне чернильно-синие штаны
И скромное пальто из ГДР —
Страны, не существующей на свете.

Поколение

Уже не надо вразнобой
Таранить стену.
В проломе видим мы с тобой
Немую сцену:
Башкой пробившие дыру
И зло, и слепо
Бодают лбами на юру
Родное небо.
Желанья обратились в дым,
В морскую пену.
Как будто в этой жизни им —
Пробившим стену!
Они на фоне синевы
Почти уроды,
Не осознавшие, увы,
Своей свободы.
А где-то звякают ключи,
Проводят сверку.
И ожидают палачи
Отмашки сверху.



Фирма "ТРЕУГОЛЬНИК"
НПП "МЕТА-ПРИБОР"
открывает подписку на следующую книги:

Франсуаза САГАН. Смутная улыбка.
Четыре прекрасных романа о любви. Легкий налет романтичности, изысканный сюжет. Женщины всех возрастов покорены романами Ф.Саган. Для мужчин книга - потайная дверь в мир чувств женщины.
Твердый переплет. 369 стр. Цена 24 руб. 90 коп.

Леон ФЕЙХТВАНГЕР. Лже-Нерон.
Блистательный Рим первых десятилетий от Рождества Христова. Знаменитому своим кровавыми и разнузданными оргиями императору Нерону угрожает смертельная опасность в лице его соперника, посягнувшего на царственный трон. О том, как разворачивалась эта драма, о ее неожиданном финале вы узнаете, прочитав роман.
Твердый переплет. 340 стр. 24 руб. 90 коп.

А.Н.АФАНАСЬЕВ. Русские заветные сказки не для печати.
Судьба этих сказок - необычна. При жизни автора книга вышла только в Швейцарии, российская цензура не пропустила ее. Это издание - первое в России. Русский нецензурный фольклор - богатейший пласт народной культуры. Нет ничего более смелого, веселого и откровенного, чем "Русские заветные сказки" Афанасьева.
Мягкая обложка. 130 стр. Цена 12 руб.

Все книги выйдут в свет в ближайшее время.
Перечислите деньги на р/с НПП "МЕТА-ПРИБОР" № 000609851 в областном управлении ЖСБ г.Новосибирска МФО 224961.

Заявку, квитанцию почтового перевода направляйте заказным письмом по адресу: 630076 Новосибирск, а/я 157.

Книги могут высылаться наложенным платежом.

Телефоны для справок: (3832) 21-86-96, 67-32-82 (Новосибирск)

Оптовым книготорговым организациям предоставляется значительная торговая скидка: до 25%.

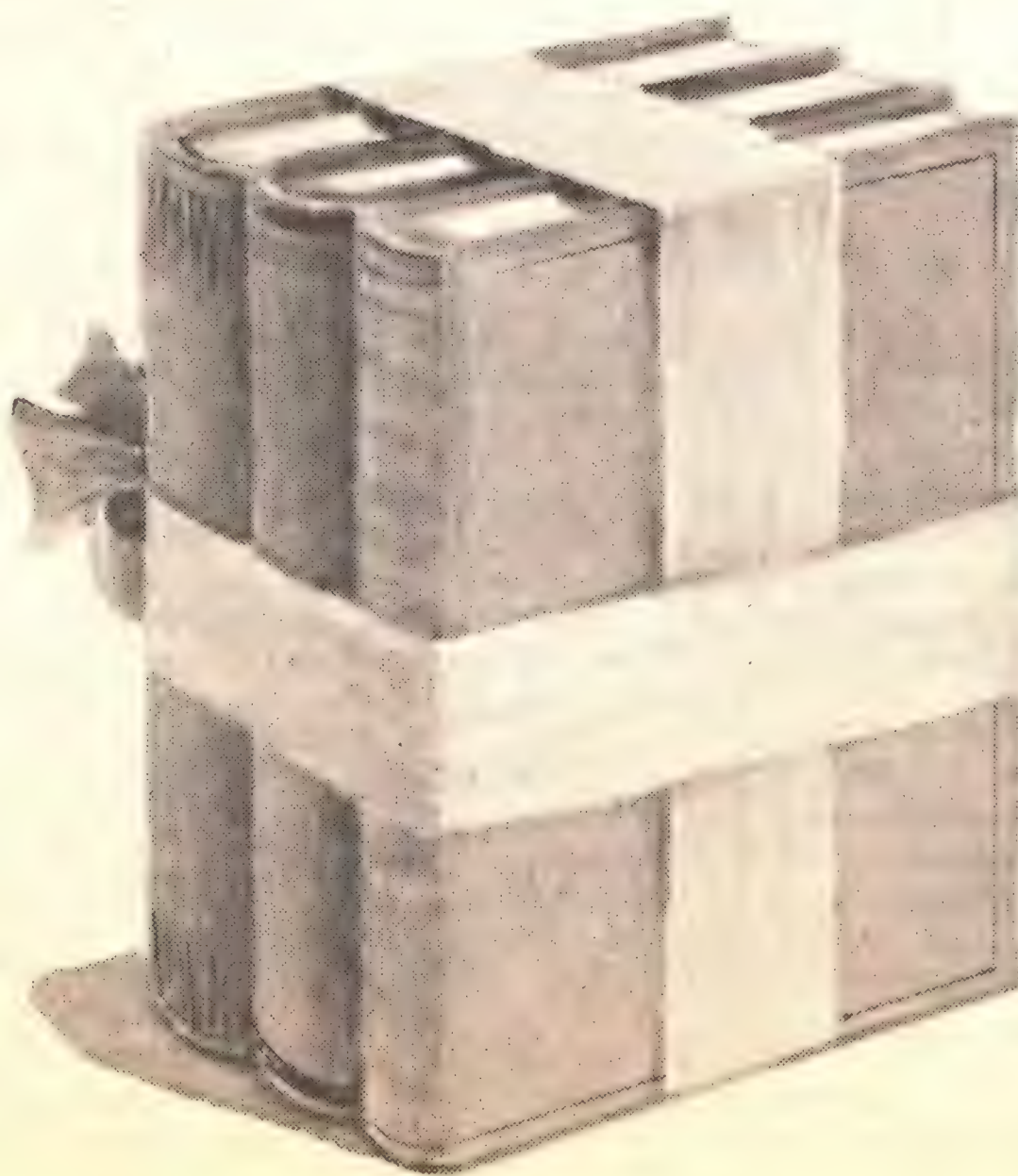
У нас всегда широкий выбор различной литературы. Доставка за наш счет.

Телефоны для книготорговых организаций:

(3832) 22-12-36, 22-61-46

(095) 331-67-27

факс: (3832) 69-09-48





Василий АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА

Глава девятнадцатая. «МНЕ ТИФЛИС ГОРБАТЫЙ СНИТСЯ»

В Серебряном Бору еще царило оцепенение и разброд после страшной ночи, когда в квартире одного маленького счастливого семейства в центре Москвы прямо под ухом у главы семейства протрещал будильник. Глава, свежеепеченный профессор и доктор наук тридцатичетырехлетний Савва Китайгородский привычно протянул мускулистую руку и прижал колокольчик, чтобы не будить раньше времени жену и дочь. Тут только он заметил, что лежит в постели один, и увидел в полуоткрытую дверь, что Нина в майке «Спартака» и в байковых шароварах копошится на кухне. Он счастливо и с хрустом потянулся. Поваляюсь еще минут десять, а если и опоздаю сегодня на полчаса, ничего не случится: профессор может себе позволить. Нинка, по всей вероятности, возится со своей «стенной печатью», сочиняет «хохмы». «Хохма», то есть шутка, была самым модным московским словечком, совсем недавно приплывшим в столицу из Одессы-мамы под парусами Леонида Утесова и «южной школы прозы». Все только и говорили: «хохма». Ну, есть новые хохмы? Вот так хохма! Прекрати свои хохмы!

Семейство Китайгородских принадлежало к совсем небольшому числу московских счастливцев, обладавших отдельной квартирой, а не комнатой в коммуналке. Один из пациентов Саввы, работник Мосгорисполкома, причем даже не крупный работник, а из средне-

го звена, в благодарность за успешную операцию так все это спроворил, по такому каналу сумел направить Саввино заявление, что в результате два года назад они получили однокомнатную квартиру в десятиэтажном, «русского модерна» доме по Большому Гнездиновскому переулку. Дом этот был уникален. Построенный незадолго до первой мировой войны, он был похож скорее на отель, чем на обычный квартирный дом. Все дело в том, что он нацелен был на холостяков, молодых московских интеллигентов-профессионалов: юристов, дантистов, служащих банков и прочая. Каждая квартира в нем, или как их иногда называли — «студия», состояла из одной довольно большой комнаты с прекрасным широким окном, кухни и ванной (sic!). Нынче, конечно, какие уж там холостяки, все квартирки были забиты семьями, иной раз многолюдными и разветвленными, но больше одной семьи не вселяли, и потому все тут были счастливы и гордились — живем в отдельных квартирах! В доме до сих пор надежно функционировали лифты и имелась замечательная, обширная, выложенная кафелем крыша, задуманная для прогулок молодых холостяков, погруженных в мысли о своих профессиях, о символистской поэзии, о дивидендах фондовой биржи, а главным образом, о девицах. Нынче на крыше, разумеется, играли дети. Высокие стальные решетки, предотвращавшие дореволюционных холостяков от излишнего символизма, ныне надежно предотвращали детей от излишнего подражания стальной авиации.

Телефонов в квартирах не было, но зато — по счастливой иронии судьбы — весь десятый перестроенный этаж занимало гнусное издательство «Советский писатель», и Нина могла в любой момент забежать к какой-нибудь подружке в кабинет и «брякнуть» оттуда.

Да и до «Труженицы» было буквально две минуты хода — направо на улицу Горького, через нее и еще раз направо, за углом на Пушкинскую, вот и все. Нина продолжала сотрудничать с «Труженицей», несмотря на то, что ее друг, заведующая отделом Ирина, уже несколько месяцев как пропала. Пропала, и все, и — с концами. А где же Ирина? А у нас теперь, Ниночка, новая заведомо, вот познакомьтесь: Ангелина Дормидонтовна, ударница труда из Гжатска... Очень приятно, но где же Ирина? Она у нас больше не работает. А где же она сейчас работает? Ну, Нина, право, не задавай наивных вопросов. Ах, вот как, опять все то же, все из той же оперы, был человек и пропал, и не задавайте наивных вопросов — вот так хохма!

В иных кругах московской интеллигенции бесконечный круговой террор НКВД вызывал уже не ужас, а черный юмор, юмор висельников. В своей кухне Нина, например, повесила плакат, обращение к благоверному: «Если тебя заберут раньше и в мое отсутствие, проверь, выключил ли газовую плиту и электрические приборы!» Так все-таки было немного легче жить. Пропавшая Ирина была не права, остатки юмора все-таки выручали, ну, а бегство от него ничуть не спасало. Во всем остальном, если допустимо сказать «остальное» об остальном, жизнь Нины с Саввой можно было бы назвать почти счастливой. Леночке шел уже пятый год, оба в ней души не чаяли. В романтическом смысле Нина, что называется, «перебесилась». Прежде всего она вдруг обнаружила, что давний ее вздыхатель, смешноватый интеллигентик Савва исключительно красив как мужчина. В прежние времена она почему-то никогда не обращала внимания на его фигуру и, только разделив с ним постель, нашла его плечи широкими и мускулистыми, талию гибкой, бедра узкими и длинными. Когда он склонялся над ней и спадали вниз его светлые волосы, он казался ей истинным северным рыцарем, сущей «белокурой бестией». Сильный, сладостный любовник, верный

муж, настоящий джентльмен, чудесный друг — что еще нужно женщине, даже если она и считается «противоречивой поэтессой».

Что касается Саввы, то он не только не думал о чем-то еще дополнительном, не только не анализировал свою семейную гармонию, он просто и представить себя не мог с какой-либо другой женщиной. Конечно же, он страдал иногда. Я не могу дать Нинке всего, что ей нужно для творчества. Она поэт, ей нужны временами крутые виражи, взлеты и падения, какие-то «американские горы» эмоций, иначе музы отлетят от нее, а я ей даю только свою любовь, ровное повседневное движение. Ну, что ж...

Нине иногда даже казалось, что он выписал ей своего рода свободный билет на кратковременные спирали. Так, она была почти убеждена, что от него не ускользнули несколько ее встреч с только что вернувшимся из Европы Эренбургом. Знаменитый «московский парижанин», поэт и мировой журналист... Она увидела его в «Национале» сидящим в одиночестве у окна, с трубкой в зубах, над стаканом коньяку... Она даже споткнулась, как взятая вдруг под уздцы лошадка. «Вон Эренбург, только что из Испании и, конечно же, через Париж. Хотите познакомиться?» — сказал кто-то. Все было ясно с первого же момента. Они встретились несколько раз на квартире его друга. Он сидел на подоконнике, смотрел, как всегда, в сторону, читал ей из записной книжки: «Прости, что жил я в том лесу, Что все я пережил и выжил, Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа...» Она, как когда-то с другими поэтами, а иногда и с мерзавцами, сама расстегнула ему рубашку. Казалось, вот возвращается прежний хмель и туман, жадно проглатывается некая квинтэссенция существования. Кто-то дал ей понять, что органы буквально ходят по пятам за Эренбургом, а значит, и ее уже взяли «на заметку», но она это вряд ли тогда и расслышала, и уж, конечно, меньше всего думала она об «органических соображениях», когда внезапно с горечью обнаружила, что все испарилось и встречаться больше не нужно. Тайна сия вылилась в итоге в стихотворный цикл, о котором причастные тайнам говорили с двусмысленными улыбками, а поэтесса, вдохнув всей грудью перед лицом свежего бурного моря, вернулась к своему мужскому идеалу, профессору Китайгородскому.

Что ж, я знал, на ком женюсь, думал Савва. Я знаю ее уже так давно, знаю ее в тысячу раз лучше, чем она меня. В конце концов она — мое счастье именно в том качестве, в каком и существует.

Он потянулся еще раз и резко выскочил из-под одеяла. Сделал растяжку левых конечностей, потом правых конечностей. Десять приседаний. Стойка на руках. Потом пошел вытаскивать из постели Еленку.

— Вставай, моя оладья, на работу пора, — сказал он ей.

Девочка свое детское учреждение давно уж называла работой.

С дочкой на руках он прошел в кухню и увидел, что Нинка и в самом деле прищипливает к стене новый плакат, на котором он сам изображен в лестно-карикатурном виде и покрыт стихоплетством.

Молодой профессор Савва —
Нашей хирургии слава.
Привлекательный мужчина
Незнаком с тоской и сплином.
Патефон вчера купил,
Увеличил ценность скарба.
Телеграмму получил:
«Я люблю вас. Грета Гарбо».

Ну, конечно, все замечательно похихотали, лучше всех Еленку. Читать она еще не научилась и требовала повторения стиха, чтобы запомнить и продекламиро-

вать «на работе».

— Только про Грету Гарбо не надо, Еленка, — сказала Нина, — а то разоблачишь наши связи с заграницей. Вместо «Я люблю вас. Грета Гарбо» читай: «Одобряю. Доктор Карпов».

— Хорошо, — сказала Еленка. — Так даже лучше.

— Какой еще доктор Карпов? — возмутился Савва. — Твоя мать — неисправимая синеблузница, Еленка. Конъюнктурщица. Ради Греты Гарбо я готов рискнуть своей шкурой.

Он потащил дочку умываться и сам принял душ. Личная ванная — ну, не роскошь ли, ну, не счастье ль? Потом сварил дочке манную кашу. Нинка тем временем жарила яичницу. Все наконец уселись за стол.

— Что касается твоей шкуры, профессор, то она у тебя, как у слона, — сказала Нина. — Сегодня ночью лифт три раза поднимался и опускался, а ему хоть бы что, знай себе посапывает.

— А почему же мне не спать, если еще не моя очередь? — спросил Савва. — Едут за кем-то другим, а я должен вскакивать, да?

— Вот так логика! — восхитилась Нина.

— Ну, а кого взяли-то ночью? — небрежно так, с некоторой светской пресыщенностью поинтересовался он. Нинка в ответ тоже замечательно изобразила скучающую леди.

— Дворник сказал, когда я спускалась за газетой, что троих и взяли. Никаких особенных сюрпризов. Ну, Големпольского взяли, Яковлеву Маргариту Назаровну, Шапиро... Последнего с женой.

— Значит, не троих, а четверых, — поправил Савва.

— Что? — спросила Нина, выискивая в газете радиопрограмму на сегодня.

— Если Шапиро взяли с женой, значит, всего сегодня взято четверо, — повторил Савва.

— Ну, конечно, — кивнула Нина. — Големпольского взяли одного, Маргариту Назаровну одну, а Шапиро с женой вместе. Значит, всего сегодня взято четверо.

Еленка уже давилась манной кашей в ожидании взрыва хохота. Савва покивал с явным одобрением:

— Хороший улов.

Нина не выдержала, расхохоталась. Еленка залилась счастливым смехом. В этот как раз момент в дверь позвонили.

— Ну, вот и за пятым пришли! — радостно воскликнул Савва.

— А может быть, и за шестой? — лукаво предположила поэтесса.

Савва пошел открывать. Чепуха, конечно, органы по утрам не ходят, нигде еще не зафиксировано, чтобы в такой ранний час пришли, когда люди собираются на работу, у них и у самих, должно быть, в этот час то пересменка. Может быть, просто телеграмму принесли от Греты Гарбо? Следует сказать, что страсть отдаленной голливудской красавицы к московскому доктору Савве Китайгородскому давно уже стала темой в семье и среди друзей.

А вдруг все-таки накликали мы беду своими хохмами, подумал Савва и открыл дверь. За дверью и в самом деле стояла беда в виде ближневосточной старухи с трагически сжатым ртом и ввалившимися глазами. Он не в первый же момент узнал в этой скорбной фигуре свою тещу, а узнав, воскликнул:

— Взяли отца?!

Впервые он так назвал своего многолетнего научно-го руководителя.

Мэри глотнула воздуха, положила себе руку на сердце, потом покачнулась и схватилась за притолоку.

— Хуже, Саввушка, Веронику увели...

В этот момент выбежала Нинка, вскрикнула, увидев слабеющую и будто на глазах синеющую мать:

— Да что же ты стоишь как остопоп! — Подхватила Мэри, потащила внутрь.

После бессонной ночи Мэри Вахтанговна пошла на первый трамвай, чтобы застать своих в Б. Гнездиновском переулке до ухода на работу. Трясаясь чуть ли не час в духоте и давке, она боялась умереть. Может быть, только горькие мысли и спасали ее, отвлекали от сползания в пучину. Но потом опять, уже без мыслей, а только лишь в состоянии горя, полной беды она начинала соскальзывать. Одна пассажирка даже поинтересовалась не без участия: «Что с вами, гражданочка? Вы откуда?» — но тут ее остановка подошла, и она стала пробиваться к выходу.

Савва и Нина уложили мать на кушетке в кухне, открыли форточку, натащили подушек и одеял. Приняв большую дозу капель Зеленина, Мэри стала возвращаться к жизни. Черты ее смягчились, синева уступала место обычным краскам.

Она приехала к Нине и Савве, чтобы посоветоваться. Больше ждать нельзя, иначе все мы будем уничтожены. Из всех наших детей остались только вы да Цилька, но от Цильки толку мало: она только и делает, что пишет одну за другой докладные записки в Центральный Комитет, объясняет, как правильно Кирилл толковал различные установки генеральной линии. В общем, я решила действовать. Не могу я в конце концов сидеть сложа руки и смотреть, как мои дети один за другим исчезают в этих застенках. Что я могу сделать? Быть может, ничего, а быть может, много. Я все-таки грузинка, и Сталин все-таки грузин. Пробьюсь к нему! Мэри совсем уже забыла о своем самочувствии. Глаза ее горели, как к финалу бравурной увертюры Россини. Она отправится в Тифлис, поднимет все свои старые связи, всех родственников, всех друзей, установит цепочку, по которой можно будет пройти и постучаться в двери к Сталину. Все грузины все-таки родственники, так или нет? Ну, что ты скажешь, Нинка? Что ты скажешь, Саввушка?

Савва, изумленный, молчал. Для него идея найти такую вот грузинскую «цепочку» к Сталину звучала пока, точно напрашиваться в родственники к огнедышащему дракону. Он никогда прежде не думал о Сталине как о грузине, вообще как о homo sapiens. Он, например, не мог себе представить его своим пациентом с общечеловеческим анатомическим строением.

Нинка несколько минут сидела в задумчивости, уж она-то знала Тифлис лучше, чем кто-либо другой из этой троицы, потом сказала:

— А знаешь, мама, в твоей идее что-то есть. Надежды, конечно, мало, но все-таки она где-то там брезжит. Зверства хватает и в Грузии, но там иногда, и нередко, и порой в самых неожиданных проявлениях, люди вдруг возвращаются к своему существу. Здесь же — один Молох...

Мэри вдохновилась. Конечно! Возьми только одного моего брата Галактиона, он знает весь город, и его знают все! Он пойдет куда-то на пир, поговорит с одним, шепнет другому. Почти уверена, что он найдет для меня доступ к Берия, а через него... Есть и другие возможности. Я слышала, например, что мой племянник Нугзар Ламадзе сделал большую карьеру...

Нина схватила ее за руку.

— Только к этому не приближайся, мамочка. Это страшный человек, он... — Она осеклась.

Мэри внимательно на нее посмотрела:

— Ну, я просто к примеру вспомнила про Нугзара, можно и без него...

В кухню прибежала Еленка. Над головой она держала куклу с подрисованными усами и бородой, кричала торжествующе:

— Мама, баба, смотрите! Это была Грета Гарбо, а теперь стал доктор Карпов!

Мэри не была в родном городе уже больше десяти — одиннадцати? двенадцати? — лет, словом, с декабря 1927 года, когда она сопровождала свою «беспутную левачку» — язык не поворачивается сказать «опрометчивую троцкистку» — в безопасную фармацевтическую гавань, к дяде Галактиону. С тех пор имя города было переименовано на Тбилиси, чтобы полностью устранить колонизаторский оттенок. Тбилиси, Тбилисо звучит в самом деле более по-грузински, против этого она не возражала, хотя сама предпочитала называть город на старый лад. В «Тифлисе» для нее звучал не колонизаторский, а скорее космополитический оттенок; это был город-базар, город-карнавал, проходные ворота с Запада на Восток.

Подъезжая к городу, она привела себя в порядок, причесалась, седеющую косу забрала в пучок на затылке, подмазала губы хорошей помадой, надела Вероникину шляпку, не попавшую в энкаведешную опись. Посмотрела на себя в зеркало — ими был богат «международный вагон» — и осталась довольна: достойная, впечатляющая дама средних лет в шляпке и меховой жакетке, купленной у Мюра и Мерилиза в 1913 году; меховщики старой России знали свое дело!

Так она и сидела, в шляпке и жакетке, молча смотрела в окно, пока по мягким холмам осенней раскраски к ней подплывал Тифлис. Вдруг вспомнились короткие годы независимости. В самом начале гражданской войны ей удалось выехать с маленькой Нинкой из голодной Москвы на Юг. Шестнадцатилетний Кирилл наотрез отказался ехать с ними. Искать убежища от Революции, ну, уж, знаете ли! Единственное, что он обещал, — не поступать к Никите в полк до окончания школы.

Разгоревшаяся на многотысячные версты гражданская война напроць отрезала Тифлис от Москвы. В Грузии правил меньшевик-либерал Ной Жордания, возникла независимая республика. Повсюду бушевало злодейство, царил голод и мор, а за Кавказским хребтом свободные грузины совместно с армянами и персами, русскими, греками и евреями сидели под каштанами, пили вино и тархунный напиток Лагидзе, ели свежий лаваш, редис, травы, неплохой по нынешним временам шашлык, как всегда, замечательный сациви с орехами, лобио, рыбешку-цхвали.

В Тифлисе исключительно расцвела артистическая жизнь. Еще в германскую многие поэты и художники из столиц рванули на Юг, чтобы не попасть под призыв, ну, а потом бежали уже от красных, от белых, от зеленых, то есть от всех, кто не понимал, что именно революция в искусстве спасет мир, а не банальные пушки, не вульгарные шашки, не пошлейшие массовые убийцы — пулеметы.

Открывались повсюду маленькие театрики и кафе богемы. Поэт-футурист Василий Каменский читал свою поэму «Стенька Разин», скача по кругу цирка на белом жеребце. Сергей Городецкий в своем журнале символистов за милую душу издевался над правительством. Ной Жордания однажды был изображен на обложке в виде преомерзительнейшего козла. В ответ на издевательство премьер улыбнулся: «Эти поэты!» Член группы поэтов «Голубые роги» Тициан Табидзе однажды столкнулся на Головинском проспекте с мэром Тифлиса. «Слушай, Тициан, почему мрачный ты идешь по моему городу с молодой женою?» — спросил мэр. «Негде нам жить, господин мэр, — пожаловался Тициан. — Нечем платить за апартаменты». Мэр вынул ключ из кармана: «Только что, Тициан, реквизирует я особняк Коммерческого клуба. Там и живи ты с молодой женою, там и работай. Только лишь Грузию не лишай своих стихосложений».

Вот были пир и бал в ту же ночь в Коммерческом клубе, съехалась вся богема! И Мэри там была, ее затащил свояк, порывистый юноша — художник Ладо

Гудиашвили. Перезнакомил со всеми: и с «Голубыми рогами», то есть с самим Тицианом, его друзьями Паоло и Григолом, и с молодыми москвичами и петербуржанами, футуристами, только что сомкнувшимися в группу «41°», братьями Зданевичами, Игорем Терентьевым, со знаменитым скандалистом Алешей Крученых. Появился в ту ночь и бродячий будетлянин России, гениальный «председатель Земли» Велимир Хлебников. Явился еле живой, в лохмотьях, в расколотых башмаках, в солдатских обмотках. Оказывается, пробрался через череду враждующих армий из Астрахани. Тут же был сбор объявлен в пользу Хлебникова. Мэри сняла с руки перстень. Он глянул на нее и задохнулся: она была с обнаженными плечами!

Да-да, вот так тогда еще случалось с мужчинами при взгляде на нее: они задыхались — о, Мэри! И это несмотря на то, что Тифлис был полон молодыми красотками — поэтессами и художницами, а ей уже было тридцать девять.

За ней стал бешено ухаживать армянский футурист Кара-Дервиш. Приглашал ее на чтения в «Фантастический духан» и в «Павлиний хвост», на постановки абсурдных «дра» Ильи Зданевича в театр миниатюр. По возрасту он был ближе к ней среди этой молодежи, но ухватками забивал и мальчиков: то стрекозу на щеке нарисует, то большой «третий глаз». Она всегда на такие вечера брала с собой двенадцатилетнюю Нину, прежде всего, конечно, для того, чтобы подчеркнуть сугубо дружеский характер своих отношений с Кара-Дервишем, то есть отсутствие интимности в этих отношениях — господа, господа! — сугубо товарищеского характера.

Ах, что это были за вечера! Очень запомнился Илюша Зданевич, такой денди, всегда с иголочки, бледный от сумасшедшей влюбленности в Мельникову. Ярый футурист, враг всей «блоковщины», он экспериментировал в своей зауми с непристойностями, с анальной темой, а на Мельникову смотрел с обожанием, будто блоковский герой на Прекрасную Даму. Как его «дра» назывались? Одна, кажется, «Янко, король Албании», другая «Жопа внаем»... кого-то там приклеивали к стулу, он никак не мог оторваться. Великолепнейший вздор.

Нинка смотрела на всех распахнутыми, будто озера, глазами, особенно на поэтических девушек Таню Вечорку, Лали Гаприндашвили. Может быть, эти вечера и затащили ее в поэзию.

Вот Хлебников, братцы, опять Велимир появился, опять весь ободранный, читает что-то пророческое: «Грака хата чророро, линли, эди, ляп, ляп бем. Либибиби нираро Синоахо цетцерец!»

Мэри просили сыграть. Сыграй что-нибудь атональное, Мэри! Сыграй из «Победы над солнцем», вот тебе ноты! Мэри садилась к инструменту, если этим гордым словом можно назвать пианино в «Фантастическом духане», вместо атональной матюшинской музыки играла Бетховена. Гул голосов гас, затишалось шарканье ошв, чихочох чах, как сказал бы поэт. Молодые люди явно не спешили «бросить Бетховена с парохода современности». На лицах иных видела Мэри следы истинного волнения.

Все было так прекрасно и шатко в Тифлисе той трехлетней весной, он плыл, будто цветущая мраморная льдина в море крови и слизи, в море гражданского тифа, ковчег Ноя Жордания — то ли потонет, то ли расколется; может, потому и прекрасно, что шатко; все испытывали головокружение.

Вот и у Мэри сильно закружилась голова, когда встретила его взгляд. Нет, это был не Кара-Дервиш, и пусть его имя никогда никому не откроется, имя того, кто был на пятнадцать лет младше ее и писал, конечно, стихи, того, с кем единственным она изменила своему Бо. В 1921, когда все кончилось, ему уда-

лось убежать за границу, и он пропал. Оттуда уже не возвращаются ни люди, ни их имена. Да и зачем это ей сейчас, без пяти минут старухе? Даже в памяти не нужно вызывать это имя, назовем его просто — Тифлис. Тем более не стоит вспоминать трагикомической стороны романтического порыва, тех небольших насмешек Венеры, которые он ей передал: тогда этого было трудно избежать. Все прошло, все промылось и прогремело чистейшим ключом в темно-синей ночи; пианиссимо.

К концу двадцатого года весь этот переселившийся к Югу «серебряный век» испарился и отлетел куда-то, может быть, к своим истокам, к греческим островам. Грузинская республика агонизировала. В 21-м ввалилась Красная армия, свободе пришел конец, и согрешившая Мэри вернулась с дочкой в Москву, где, как ей казалось, все еще оставался последний клочок независимости, дача с роялем и любящий Бо.

Тифлис, впрочем, вскоре снова ожил, при нэпе он опять зазвенел своими сазандариями, этот древний человеческий дом все-таки трудно превратить во вшивую казарму. Так или иначе моя дочка через десять лет тоже, кажется, получила здесь свою долю «серебряного века». Так думала Мэри Вахтанговна Градова, урожденная Гудиашвили, подъезжая к родному городу.

На вокзале ее почему-то никто не встретил. Наверное, телеграмма не доставлена, такое случается, иначе здесь бы уже гремел голос брата, волоклись бы охапки цветов, прямо на перроне провозглашались бы будущие тосты.

Извозчиков в Тбилиси больше не было, а такси достать невозможно. В растерянности Мэри не знала, что делать — не тащиться же с тяжелым чемоданом на трамвае. Наконец увидела камеру хранения, оставила там свой багаж и поехала в центр города налегке. Жадно смотрела из окна трамвая на прогрохатывающие мимо улицы. Город в основном, конечно, не изменился, только к сизоватым его крышам, розоватым фасадам и глубоким синим теням прибавилось огромное количество красных полос — лозунги социализма.

Она вышла из трамвая в центре и пошла пешком по бывшей Головина, ныне проспекту Руставели. Против такого переименования тоже трудно возразить — почему главная улица грузинской столицы должна нести имя русского генерала, а не восьмисотлетнее имя рыцаря царицы Тамар, казначея и поэта?

Увы, вдобавок к Руставели еще две грузинские личности украшали каждый перекресток — Сталин и Берия. «Да здравствует великий вождь трудящихся всего мира товарищ Сталин!», «Да здравствует вождь закавказских трудящихся товарищ Берия!» — там и сям начертано то грузинской вязью, то супрематизмом партийной кириллицы. Какие уж, впрочем, тут супрематизмы, все будетляне давно задвинуты в самые темные углы, сидят и пикнуть боятся, а многие уже и покинули этот мир, оказавшийся столь негостеприимным для их космического эксперимента. Искусство принадлежит народу и должно быть понятно народу! Вот какие парсуны соцреализма выставлены в окнах, вот какие воздвигнуты скульптуры пионера с планером, пограничника с винтовкой, девушки с веслом!

Мэри жадно смотрела по сторонам. Народ вроде бы остался все тот же: озабоченные серьезные женщины, дети с папками для нот и футлярами для скрипок — каждая «приличная» семья в этом городе считала долгом давать детям уроки музыки, — все те же мужчины, их можно грубо разделить на ленивых и лукавых. Меньше стало людей в национальной одежде, почти не видно бурок, зато больше милиции. Почти исчезли лошади, курсирует троллейбус, катят авто, крутят, как оглашенные, мальчишки на велосипедах. Чего-то еще не хватает... Чего же? Ах, вот что — постоянного

тифлисского шума голосов, этого вечного клекота нашего странного языка, который раньше охватывал тебя со всех сторон, едва выйдешь на улицу. Заглушается моторами или говорить стали тише?

Меньше стало или даже почти исчезли с главного проспекта прежде бесчисленные ресторанчики, духанчики, кафе, подвальчики, террасы со столиками. Кое-что, впрочем, осталось. Вот, например, заведение «Воды Лагидзе», хотя и не носит больше презренного имени эксплуататора, по-прежнему демонстрирует знакомые с незапамятных лет стеклянные конусы с сиропами — ярко-бордовый, ярко-лимонный, ярко-темно-зеленый.

Мэри зашла в обширный зал и взяла стакан напитка. В углу торговали свежими хачапури. Запах был такой, что слюнки потекли. Чуть смешавшись, она заказала себе парочку на родном языке.

Продавец как-то странно посмотрел на нее, ответил на ломаном русском. Съев хачапури, она отправилась дальше.

Вот здесь она обычно сворачивала с Головинской, когда шла к брату. Улицы все круче забирали вверх, вскоре она оказалась в кварталах старого города, где вроде бы вообще ничего не изменилось: крытые балконы, скрипучие ставни, крупный булыжник под ногами. Издалека, сверху доносилось какое-то пока еще неразличимое пение. Скоро она уже выйдет к родным местам, к маленькой площади, к аптеке с двумя большими матовыми шарами над входом. Еще несколько минут, и она увидит своего брата, своего «бурнокипящего» Галактиона, который, конечно же, что-то придумает, найдет способ как-то помочь ее разгромленному семейству, во всяком случае, смягчит ее горе.

Пение приближалось, теперь она уже могла различить многоголосицу креманчули. Странная, мрачная и тревожная песня, возможно, донесенная из времен персидского нашествия. Старческие голоса. Заглянув во дворик, она увидела четырех стариков, сидящих вокруг стола под чинарой. Очевидно, они играли в нарды перед тем, как запели. Закрыли глаза и ушли в далекие миры, в свою вековую полифонию.

Растревоженная пением, она вдруг почувствовала, что крутой подъем не дается ей даром, сердце стучит гулко и неровно, ноги отекли. Вот наконец видны уже и матовые шары. Вывеска «Аптека Гудиашвили» замазана так, что не различается. Но что это? И окна почему-то замазаны теперь белой краской, и ничего не видно внутри, и двери аптеки заколочены крест-накрест двумя досками. Похоже, что заведение по каким-то причинам закрыто. Ремонт? Инвентаризация? Для чего же тогда забивать дверь досками? Пройдя мимо главного входа, озадаченная, если не сказать, панически перепуганная, Мэри подошла к дверям, за которыми была лестница наверх, в квартиру фармацевта. Позвонила в знакомый ручной звонок и вдруг заметила на дверях еще два звонка — новых, электрических. Возле одного из них чернильным карандашом на дощечке было написано: «Баграмян — 2 раза, Канарис — 3 раза». Возле другого коротко: «Бобко». Уплотнили? Это немыслимо! Неужели власти уплотнили знаменитого фармацевта, которого все в округе называют «благородным Галактионом»? Она еще раз нажала пружинку звонка. Внутри послышался топот, чуть приподнялась штора на окне, кто-то глянул в дверной глазок. Послышался женский нехороший голос, как будто бы металлическая стружка посыпалась:

— Вам кого, гражданка?

— Я приехала к Гудиашвили! — громко, но с большим достоинством сказала Мэри в закрытую дверь.

— Таких здесь нет, — ответил голос из-за двери.

Минута или две прошли в молчании. Таких здесь нет, это прозвучало как страшный абсурд. Все равно

что спросить на Кавказе, в какой стороне Эльбрус, и получить ответ: «Таких здесь нет!»

— Позвольте, как это нет? — Голос у Мэри уже дрожал, уже бесконтрольно разваливался, заглушался подступающими слезами, комом слизи, ползущим вверх по гортани. — Я его родная сестра. Я приехала из Москвы увидеть брата, его жену Гюли, моих племянников...

Металлический стружечный смешок бессмысленно прозвучал в ответ. Потом густой мужской голос сказал:

— Они здесь больше не живут, гражданка. Уходите и наведите справки в пятом отделении милиции.

Двери так и не открылись. Штора упала. Глазок ослеп.

Приклоняясь к земле, стараясь не упасть, Мэри проковыляла прочь от дверей к середине площади и здесь закачалась, потрясенная, и зажата, и развевая ошеломляющим чувством неузнавания пространства. Она бы упала, если бы кто-то не взял ее крепко под руку и не помог уйти с горба этой булыжной горы в боковую сумрачную улицу. Здесь она подняла лицо и увидела рядом знакомого с детства толстяка Авессалома.

— Мэри, дорогая, — зашептал он. — Тебе не надо было сюда приходить. Сейчас я тебя отведу к нам, переночуешь, а завтра — чем раньше, тем лучше — уезжай обратно. Тебе не нужно сейчас быть в Тбилиси, совсем, совсем не нужно здесь быть, милая Мэри.

Меньше всего на свете подполковник НКВД Нугзар Ламадзе хотел быть следователем по делу своего собственного дяди. Такое могло ему только присниться в страшном сне — сидеть напротив оплывшего, измученного Галактиона в качестве неумолимого следователя, направлять ему в лицо слепящую лампу. Иногда все дело фармацевта Гудиашвили и троцкистской подпольной группы, прикрывшейся вывеской аптеки № 18, казалось ему подкопом под него самого, попыткой сбить с небосклона его стремительно восходящую звезду. С самого начала, когда он только услышал в управлении, что готовится арест Галактиона, он попытался отойти от этого дела как можно дальше, не обращать на него внимания, благо и других дел было невпроворот. Вдруг однажды, после застолья по поводу вручения республике переходящего Красного знамени, старый его друг, а ныне почти уже небожитель и вождь народов Закавказья, отвел его в сторону в саду и спросил, что он слышал о деле аптекаря Гудиашвили.

— Знаю, Нугзар, что он тебе родной дядя, понимаю, как тебе тяжело, и все-таки хочу тебя предупредить: среди некоторых товарищей бродит сомнение. И это естественно, согласись: ты — племянник, он — дядя. Все знают, что Галактион всегда издевался над нашей партией, над самой идеей, и в этой связи...

Тут Лаврентий Павлович сделал паузу, подошел к фонтану с русалками, подставил ладонь под одну из струй — говорили, что «вождь народов Закавказья» перенял свои паузы у самого Сталина, — долго играл со струей, тихо улыбался, казалось даже, что забыл, — Нугзар молча стоял сзади на протокольном расстоянии, — потом вернулся к своей мысли:

— ...И в этой связи его приход к троцкистским ублюдкам, к последышам Ладо Кахабидзе, никого у нас не удивил. Поэтому, Нугзар, как твой старый товарищ, как твой собутыльник и соучастник в молодых делах... — Он шаловливо засмеялся. — Помнишь еще «паккард» с тремя серебряными горнами? Словом, я бы тебе посоветовал взять все это дело на себя, провести самому все следствие, всем показать, что ты настоящий, без страха и упрека, рыцарь революции.

Он издевается надо мной, мелькнуло у Нугзара, и он подумал, что мог бы сейчас кулаком по затылку оглу-

шить Берия, а потом бросить его башкой вниз в фонтан. Или он просто издевается надо мной, что все-таки маловероятно, или он испытывает меня. Может быть, он лепит из меня самого преданного ему человека. Он собирается идти еще выше, и ему нужен самый преданный человек, а для этого он поначалу должен этого человека сломать.

Так или иначе, подполковник Нугзар Ламадзе, который был уже зам. начальника отдела и восходящей звездой наркомата в общесоюзном масштабе, стал следователем по делу заурядного аптекаря Гудиашвили. В течение всего следствия он не допускал никакой фамильярности, не называл Галактиона «дядей», обращался по инструкции на «вы», неукоснительно предписывал «конвейер», когда упряма испытывали бессонницей и жаждой. Единственное, что он себе позволял в отступление от инструкции, — выходил из следственной комнаты, когда являлись по его вызову два сержанта поучить мерзкого старика уму-разуму.

Если сегодня не подпишет, сразу вызову сержантов, а сам уйду на полчаса, думал Нугзар, глядя из темноты на расплывшийся под яркой лампой мешок дерьма, что был когда-то его громогласным, jovialным дядей Галактионом. Пусть этот мешок дерьма пеняет на себя.

— Ну, что ж, подследственный Гудиашвили, опять будем в молчанку играть? Советую вам прекратить эту глупую игру, ведь практически нам все уже известно о том, как вы превратили свой дом и советское учреждение, аптеку номер восемнадцать, в прибежище троцкистского подполья. Известно, и когда это началось, а именно в тот день в 1930 году, когда к вам приехал близкий друг Троцкого, лазутчик Владимир Кахабидзе. Ну, что ж, Гудиашвили, опять в молчанку будем играть?

Дядя Галактион с трудом разлепил разбитые губы под некогда роскошными, а ныне слипшимися и пожелтевшими усами.

— Нет, сегодня поговорим, дорогой племянник, сегодня я тебе кое-что скажу.

Нугзар ударил кулаком по столу.

— Не смейте называть меня племянником! У меня нет в дядях троцкистских подголосков!

— Вот я про это и хотел тебе сказать, Нугзар, то есть, простите, гражданин следователь, — продолжал Галактион, будто не обращая внимания на окрик. Было такое впечатление, словно он на что-то решился и теперь уже не отступит.

— Вы говорите, что я с троцкистами снюхался, как будто вы забыли, что троцкизм — это одна из фракций коммунизма. Как будто ты забыл, что меня всегда тошнило от всего вашего проклятого коммунизма во всех его фракциях. От всего вашего грязного дела! Ты понял меня, шакал?!

Галактион теперь сидел выпрямившись, глядел прямо на Нугзара, в глазах его поблескивали застывшие торжественные молнии. Вал ярости выбросил Нугзара из кресла. Ничего не понимая, он схватил со стола тяжелое мраморное пресс-папье и со всего размаха ударил им Галактиона прямо в лоб. Как был с этими застывшими молниями в глазах, так с ними Галактион и свалился на пол. Ноги и руки дернулись пару раз, изо рта выплеснулась какая-то жидкость, после чего он затих, то есть снова превратился в мешок дерьма. Нугзар стоял над ним. Скотина проклятая, наконец подумал он, ты всегда надо мной издевался. К этому жопошнику Отари ты серьезно относился — ах, такой поэт! — а меня считал щенком и шутком. Вы, Гудиашвили, всегда к нам, Ламадзе, снисходительно относились. Мразь, белая кость, считали нас ниже себя. Старый идиот, ты даже не понимаешь, что я тебя от

расстрела спасаю, шью тебе пособничество, а не прямое соучастие...

Дверь кабинета открылась. Пользуясь особыми правами, без стука козочкой влетела секретарша, младший лейтенант Бридаско, простучала каблучками по паркету, обогнула лежащее на полу тело, даже не взглянув — большое дело! — жарко зашептала своему чудесному красавцу начальнику:

— Ой, товарищ подполковник, сейчас вам такой звонок был, такой звонок! Прямо от него звонили, Нугзар, прямо от Лаврентия Павловича! Сказали, что он тебя ждет у себя прямо сейчас! Воображаешь?!

Нугзар мрачно глянул на восторженную комсомолку. Дурочка, не знает, сколько мы бардачили вместе с этим «самим», с Лаврентием Павловичем, с «вождем народов Закавказья». Он ткнул носком сапога лежащее тело. Тело не ответило на толчок ничем, как будто вот именно мешок с чем-то. Нугзар покрылся испариной, еле сумел скрыть охвативший его ужас. Движением ладони приостановил несколько неуместное в смысле интимности движение бедер младшего лейтенанта Бридаско.

— Вызовите доктора, — сказал он ей. — Кажется, плохо с сердцем у подследственного Гудиашвили.

После чего обогнул этот «мешок с чем-то» и быстро вышел из кабинета.

Он всегда боялся Лаврентия. Каждая встреча с мерзавцем — именно это слово и употребил Нугзар, размышляя на эту тему, — казалась ему посещением клетки с хищником, и не такого, как тот бестолковый медведь, с которым Нинка когда-то, в тот день, звездный с самого утра, целовалась, а настоящего, подлейшего хищника и истребителя, ягуара. Правда, после общения в течение нескольких минут этот образ бессмысленной и неотвратимой опасности пропадал. Начинали мелькать более добродушные метафоры — свинья, горилла, просто подлый человек. Ну, а под пьяную лавочку оказывался Лаврик любезным другом, не более подлым, чем ты сам, такая же, как ты сам, горилла и свинья.

У Берия в здании ЦК был теперь новый кабинет, в котором Нугзар еще не бывал, вернее, не кабинет, а анфилада комнат, начинавшихся приемной, продолжавшаяся кабинетом и заканчивающаяся, очевидно, спальней, если опять же не клеткой с ягуаром. Повсюду креслица-рококо, пышные люстры, шторы тяжелого шелка; неизменных три портрета — Ленин, Сталин и Дзержинский.

Нугзара провели прямо в кабинет и оставили одного. Через несколько минут вошел Берия, обменялся с подполковником товарищеским рукопожатием, после чего, оглянувшись как бы для того, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, крепко обнял друга. Волна тепла окатила Нугзара, смыла всю гадость, свалившуюся на душе, в том числе совсем недавнюю — мраморное пресс-папье, неподвижное тело некогда любимого дяди... С удивившей его самого доверчивостью он ответил на объятие — вот друг, с ним я не пропаду.

Берия вынул из шкафчика красного дерева великолепный графин коньяку, два хрустальных бокала. После первого глотка тепла в душе еще прибавилось.

— Садись, Нугзар, — показал Берия на софу с ножками в виде грифонов и сел рядом.

Он мало изменился за последние годы, такие рано облысевшие ребята мало меняются с годами, только, конечно, несколько округлился, вернее, что называется, посолиднел. Повороты загадочно поблескивающего пенсне чем-то напоминали Нугзару всеобщего архиврага Троцкого: «На носу очки сияют, буржуазию пугают...»

— Охо-хо... — вздохнул Берия. — Чем больше власти, тем меньше свободы. То ли дело раньше-то, Нугзар, помнишь, с девчонками на «паккарде» и на дачку до утра! Вот были времена! И политические проблемы решали стремительно, по-революционно-му... Помнишь, Нугзар, как политические проблемы решали?..

Он вдруг снял пенсне и заглянул в глаза друга далеко не близоруким взглядом, как бы мгновенно напомнил ему тот момент, когда Нугзар с пистолетом в руке распахнул дверь и увидел двух читателей, Ленина на стене и Кахабидзе под ним за столом.

— Да и мужские дела решались весело, Нугзар, а? — продолжил Берия и подпихнул ногу Нугзара своей круглой коленкой. — Впрочем, мы еще и сейчас с тобой что надо, а, Нугзар? Слушай, давай, к черту, хоть на пять минут забудем о делах, давай об общей страсти поговорим, о женщинах, а? Знаешь, Нугзар, хочу тебе кое в чем признаться: люблю русских баб больше всего на свете! Гораздо больше люблю русскую бабу брать, чем какую-нибудь нашу грузинскую княжну. Когда русскую бабу е..., кажешься себе завоевателем, а? Обязательно чувствуешь, что ты как будто рабыню е... или наемную б..., верно? Согласен со мной, Нугзар? Интересное явление, правда? Интересно, как вот в этом деле с полукровками получается. К сожалению, никогда не пробовал полукровки, в том смысле, что полурусской-полугрузинки. А у тебя, Нугзар, случайно не было какого-нибудь дела с полукровочкой, а? Не поделишься опытом с товарищем? Что с тобой, Нугзар? Ну, не хочешь, не говори, никто же не заставляет.

Заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам подполковник НКВД Нугзар Ламадзе чувствовал себя в этот момент так, как будто его одновременно швырнули и в котел с кипящей водой, и в ледяную прорубь. Обжигающие и леденящие волны шли не чередой, а одновременно через его тело. Тело окаменело, и в то же время в нем шла бешеная пляска нервов и сосудов. На грани обморока он соскользнул с кожаной поверхности дивана и припал перед Берия на одно колено.

— Лаврентий, прошу тебя! С той единственной ночи в тридцатом году я ни разу ее не видел, ни разу ничего не слышал о ней!

Берия встал с дивана, отошел в глубину кабинета, занялся наполнением бокалов. Нугзар, не вставая с колена, смотрел на его спину, ждал своей участи.

Он, конечно, врал. В 1934 году он приезжал в Москву и встречался с Ниной. Он все о ней знал: она была уже третий год замужем, за доктором, известная поэтесса. А все-таки вряд ли забыла она ту ночь, говорил он себе. В понятие «та ночь» входила для него чуть ли не вся его юность и, уж во всяком случае, весь его день ранней осени 1930-го, кульминация приключений молодого абрека: спасение Нины из лап огромного зверя, покушение, убийство назойливого «читателя», ложь, театр, игра, шантаж и, наконец, полное и безраздельное обладание Ниной, словом, «та ночь»!

Приехав в Москву, он забросил все дела и два дня выслеживал свою цель. Он видел, как она выходила с мужем из отцовского дома, как они шли, смеясь и целуясь, к остановке трамвая, как расставались в центре, как Нинка шла одна, будто бы погруженная в свои мысли, будто бы не обращая внимания на взгляды мужчин, садилась на бульваре, шевелила губами, стишки, наверное, свои сочиняла, как вдруг делала какой-то решительный победоносный жест и беззвучно смеялась, как стояла в очереди в какую-то театральную кассу, заходила в редакцию «Знамени» на Тверском, как налетала вдруг на какую-нибудь знакомую и начинала трещать, будто школьница, как все-

ло обедала в Доме литераторов, куда и он свободно проник при помощи своей красной книжечки и где продолжал наблюдения, оставаясь незамеченным, тем более что она и не особенно-то смотрела по сторонам.

Она была все так же хороша или еще лучше, чем в Тифлисе, и он, что называется, дымился от желания, или, как Лаврентий бы грубо сказал, «держал себя за конец».

Однажды, во время этой двухдневной слежки, преследования, или, так скажем, романтического томления, он подумал: а может быть, вообще не подходить к ней, вот так все оставить, такая колоссальная влюбленность на расстоянии, такой романтизм? Даже рассмеялся сам над собой. Хорош абрек! «Та ночь» обрывками замелькала в памяти. На второй день он к Нине подошел у книжного развала в Театральном проезде. Она купила там несколько книг, собралась уже перебежать улицу к автобусу, но тут что-то попало ей в туфельку. Прислонившись к фонарному столбу, она вытряхивала туфельку. Он кашлянул сзади и сказал:

— Органы пролетарской диктатуры приветствуют советскую поэзию!

Признаться, он не ожидал такой сильной реакции на незамысловатую шутку. По всему ее телу прошла судорога, если не сказать, конвульсия. Повернулась, и он увидел искаженное страхом лицо. Впрочем, судорога улеглась и гримаса страха пропала еще до того, как она поняла, кто перед ней. Отвага, очевидно, взяла верх. Так вот кто перед ней! Теперь она уже расхохоталась. Тоже, очевидно, сразу многое вспомнилось.

— Нугзарка, это ты?! Нашел способ шутить! Так человека можно и в Кашенко отправить!

Он обнял ее по-дружески. Ему так понравилась эта манера обращения: Нугзарка, — как будто они просто такие приятели, которые когда-то волюнили вместе.

— Эй, Нинка, я уже все про тебя знаю, дорогая! — засмеялся он. — С кем спишь, с кем обедаешь — все известно недремлющим стражам отчизны!

— Вот то-то мне и кажется уже второй день, что за мной стали ходить, — сказала она.

Болтая, они пошли вниз по Театральному по направлению к гостинице «Метрополь», где он как раз и снимал номер полулюкс. Она сделала ему комплимент по поводу нового костюма. Ого, плечи широкие, брюки колом — настоящий оксфордский шик! Возле гостиницы он взял ее за руку и остановил.

Как и в «ту ночь», она посмотрела исподлобья и тихо спросила:

— Ну, что?

— Пойдем ко мне, — сказал он с немного излишней серьезинкой, с ненужной ноткой некоторой драмы.

Она тут же рассмеялась, пожала плечами.

— Ну, и пойдем!

И пошла вперед, беззаботно раскачивая связочку только что купленных книг. Вот так все просто, дитя двадцатых, плод революционной антропософии.

Дальнейшее прошло совсем не так, как представлялось ему сотни раз в его закавказском отдалении. Все изменилось, «той ночи» уже не вернешь. И он уже не тот молодой разбойник, и она уже не та, что тогда, не пьяная, не отчаявшаяся, не загнанная в угол, иными словами, не добыча героя, а напротив — счастливая и в замужестве, и в своем деле, уверенная в себе и просто позволившая подсыпать чуть больше перцу в ежедневную пищу.

Все могло бы повернуться иначе, в сторону «той ночи», если бы она сначала решительно отказалась и только потом уж уступила под страхом, под угрозой разоблачения троцкистского прошлого. Он сам все испортил своим шутливым тоном, а она этот тон тут же с ловкостью необыкновенной подхватила, и вот он

оказался — Нугзарка! — в дураках. «Той ночи» не получилось, не состоялось сладостного насилия над «жаждущей жертвой», как это он много раз определял в уме.

И еще что-то было, чего он не мог определить, но что делало ее совершенно самостоятельной и неуязвимой личностью. Только через полгода он понял эту неясность, когда до Тифлиса дошла новость о том, что Нина Градова родила девочку. Она была основательно беременна к моменту их встречи. Мадемуазель Китайгородская уже предъявляла свои права в ее чреве.

Одержимость своей кузиной злила и пугала подполковника. Вокруг берут тысячами народ, не имеющий никакого отношения к троцкизму, а ведь она-то, Нинка — гадина, как раз и была когда-то настоящей троцкисткой, уж он-то это точно знал, она была зафиксированным членом подпольной группы нынешнего эмигранта Альбова.

Зная специфику работы своих любимых органов, Нугзар понимал, что вовсе не обязательно в эти времена иметь реальные обвинения, чтобы загреметь на Колыму или «под вышку». И все-таки сосало под ложечкой: а вдруг так повернется, что все выплывет, и она, его мечта, девушка «той ночи», покатится — вообразить ее в лагерном бараке было невыносимо! — и он сам, на радость завистливой сволочи, будет вышвырнут из рядов, а потом смят и уничтожен.

В 1937-м ситуация еще пуще усугубилась. После ареста братьев Нинку могли взять просто как родственницу. При всей слепоте карающей машины у нее есть нюх, и вынюхивает чужих она совсем неплохо.

Так и получилось. Полгода назад из Москвы «на доработку» пришло ее дело. Московское городское управление НКВД собрало материал на Градову Н. Б., родственницу осужденных врагов народа и обвиняемую сейчас в связи с агентом французской и американской разведок И. Г. Эренбургом. Никаких упоминаний не было о троцкистском кружке. То старое дело с донесениями Строило проходило, очевидно, по другому департаменту, в том смысле, что где-то было навечно погребено в шкафах среди миллионов других папок. Новое же дело было прислано в Грузию для уточнения имеющихся сведений о связях Градовой с недавно разоблаченными врагами народа Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. Самое же замечательное заключалось в том, что Эренбург в это время постоянно ездил за границу и печатал в «Известиях» волнующие репортажи с театра военных действий в Испании.

Нугзар ободрился этим обстоятельством и подумал, что при помощи небольшой хитрости можно будет попытаться спасти Нинку и ее семью. Ну, все-таки хоть в память о юности, что ли. Ну, у каждого ведь все-таки есть в душе та ночь, та тучка золотая на груди утеса-великана, и у него вот эта проклятая Нинка с ее пышной гривой каштановых волос и вечно штормовой погодкой в ярко-синих глазах.

Он передал ее дело вместе с целой охапкой других дел самому ленивому из своих сотрудников и сделал так, чтобы оно, данное дело, казалось наименее значительным. Протянулось несколько недель, после чего Нугзар, придравшись к ленивому, устроил ему дикий разгон и перевел с понижением в Кутаиси. Дела же распределил между более расторопными сотрудниками, ну, а что касается заветной папочки, то ее он просто забросил на дно уходящего в архив ящика. Там оно может пролежать до скончания века, если, конечно, Москва вдруг не востребует, ну, а тогда уж — прощай, синеглазая ночь-тучка! — всю вину за неразбериху можно будет свалить на ленивого. Впрочем, по всем признакам в Москве в горячке массового ревтеррора тоже царил не меньший бардак, а может быть, оттуда как раз и распространялась наибольшая бардачность. Нугзар между тем следил за публикациями

Эренбурга, все прочитывал внимательно и одобрительно кивал: сильный публицист, могучее перо, настоящий публицист-антифашист!

И вот сегодня такой ошеломляющий удар с самой неожиданной стороны. Сам Лаврентий знает про мои дела с Ниной! Может быть, она уже арестована, и мне сейчас будет предложено самому вести следствие, чтобы «погасить кривотолки среди товарищей»? А может быть, он сейчас уличит меня во лжи, взъярится, выхватит свой лакированный парабеллум, который он носит всегда во внутреннем кармане пиджака, прямо над селезенкой, и застрелит меня вот здесь, на месте, где я стою на одном колене, словно католик в костеле? С ним такое случалось. Ей-ей, все знают, что несколько человек свалились на ковер прямо в его кабинете. После чего он вызывал своих служащих и говорил: «Внезапный финал, плохо с сердцем. Уберите и смените ковер!» Ну, что ж, мне будет поделом! Жаль только, что это будет пуля, а не мраморное пресс-папье, но, во всяком случае, я хотя бы тут же сравняюсь во всех рангах с дядей Галактионом и не буду вести следствие моей ночки-тучки...

Берия подошел с двумя бокалами, наполненными удивительным по цвету — темный дуб с оттенком вишни — «Греми».

— Вставай, Нугзар, перестань дурачиться!

Нугзар вскочил, принял бокал из руки «вождя трудящихся Закавказья», чокнулся, выпил залпом. Берия расхохотался:

— Люблю тебя, подлеца! — Потом отставил свой бокал, нажал на плечи Нугзара, усадил на софу и глубоко заглянул в глаза, будто пробуравил. — Я рад, что ты всегда меня понимаешь правильно, Нугзар. Теперь слушай новости. Дни маршала Ежова сочтены. Меня переводят в Москву, ты сам понимаешь, на какое место. Прямо по правую руку самого. Ты поедешь со мной.

Глава двадцатая. МРАМОРНЫЕ СТУПЕНИ

Мрак и оцепенение царили в доме Градовых, как будто оставшиеся члены семьи боялись лишних движений, чтобы не разбазарить остатки тепла. Это напоминало военный коммунизм, когда топить было нечем, хоть и протапливались нынче по всем комнатам отличные «старорежимные» голландки, а из кухни частенько доносились запахи вкусной готовки. Из всех обитателей дома в Серебряном Бору, пожалуй, одна лишь Агаша развивала повышенную активность; непрерывно носилась со стопками чистого белья, переставляла банки с соленьями и вареньями, то и дело затевала тесто, чинила старые одеяла и шторы, командовала истопником и шофером Бориса Никитовича, ездила за свежими припасами на Инвалидный рынок; так проходил у нее день, а к вечеру набиралось новых хлопот — загнать ребятишек на ужин, проверить постельки, подать к столу, убрать со стола, и только уж потом приткнуться где-нибудь в кабинете возле Мэрюшки, покуковать под музыку великолепных композиторов прошлого.

Из замоскворецкой гражданочки неопределенного возраста Агаша начинала уже превращаться в неопределенного возраста бабусю из тех, на которых только диву даешься — как это они все успевают, как умудряются столь длительно и бесперебойно тянуть свои возы. В старые-старые времена, как была Агаша еще барышней мелко-купецкой гильдии, на масленичных гуляньях случилось ей страшно простыть и подхватить двустороннее воспаление яичников. С тех пор осталась она бездетной и бессемейной — кто же возьмет такую? — и градовский дом стал для нее семьей, единственным пристанищем среди всемирного, как она

выражалась, хавоса. Ну, а сейчас вот, чувствуя, что дом разваливается, борясь с внутренней дрожью, все-то Агаша бегала, все-то вылизывала, выскребала, все-то, опять же по ее выражению, узаконивала. Не может ведь рухнуть, казалось ей, такой ухоженный, такой теплый, сытый, «узаконенный» дом! Как же все-таки сделать, что бы еще такое придумать, чтобы не ходили по этому дому оставшиеся так, будто им вечно зябко. И все равно было зябко, колко, неудобно. Мэри вернулась из Тбилиси сама не своя, никакие смелые идеи ее больше не посещали. Настроившись на сугубо трагический лад, она только лишь ждала — кто следующий: Циля, Бо или единственный ее оставшийся ребенок, то есть Нинка, или за внуками вдруг придут безжалостные и уверенные в своей непогрешимости злодеи.

Нина, когда приезжала с Саввой и Еленкой подышать воздухом, не могла вынести застойно-трагического взгляда матери, начинала орать: «Перестань на меня так смотреть!» Мэри беспомощно бормотала: «Ниночка, я очень боюсь, с твоим прошлым ты...». Нина начинала намеренно хохотать, потом подсаживалась к матери, целовала ее. «Мамуля, ну, мы же не можем сидеть и ждать... Мы жить хотим! А прошлое... да что с этим прошлым? Неужели ты не понимаешь, что сейчас за это не берут? Тогда за это брали, а сейчас берут ни за что».

Глядя на нее, такую уверенную, как бы даже бесстрашную, полную юмора и вызова, Мэри немного успокаивалась: может быть, и в самом деле таких дерзких сейчас не берут? Зато Цицилия Розенблюм с ее бестолковостью, с ее опущенностью и марксистско-ленинской одержимостью, похоже, абсолютно обречена. Каждый ее приезд в Серебряный Бор казался Мэри чудом: как еще не арестована? Все еще пишет свои апелляции, кассации, докладные в вышестоящие партийные органы, все еще доказывает невиновность Кирилла, его принадлежность к генеральной линии, верность Сталину. Цицилия тоже ее успокаивала: «Мэри Вахтанговна, вы же понимаете, мы проходим сейчас через неизбежный и необходимый исторический цикл. В условиях построения социализма в одной, отдельно взятой стране периодически возникают условия обострения классовой борьбы. Сейчас этот цикл близится к завершению, подходит время итогов, суммирования результатов, коррекции, вы понимаете, я подчеркиваю, коррекции принятых мер. И в результате этой коррекции, я уверена, Кирилл Градов вернется к нормальному плодотворному труду. Мы не можем себе позволить разбазаривание таких безупречных кадров!» «Кто это «мы», Циленька?» — печально спрашивала Мэри. «Мы — это партия», — уверенно отвечала невестка. Чтоб вас черт побрал, думала свекровь, уходила к своему единственному прибежищу, к роялю, перебирала минорные ключи.

Редкие случаи, когда в доме возникало какое-то подобие мажорной ноты, происходили после особенно сложных и удачных операций, проведенных Борисом Никитовичем. Тогда открывалась бутылка вина из так называемой «московской коллекции дядюшки Галактиона». Агаша тут же вытаскивала из духовки пирог, как будто он давно уже там сидел и ждал, оживлялись и весело болтали, забыв о пропавших родителях, дети, после ужина профессор просил жену сыграть что-нибудь «из старого репертуара», и она, скрепя сердце, играла.

В жизни Бориса Никитовича, с одной стороны, как бы ничего и не изменилось. По-прежнему он читал лекции, оперировал, руководил экспериментальной лабораторией, консультировал больных, в том числе и из Кремлевской поликлиники. По-прежнему приходилось ему иной раз и обед прерывать, и даже среди ночи вставать по срочному вызову. Надо сказать, что

он никогда против этих тревог не роптал, всегда отправлялся туда, где его ждали, ибо такие вот экстремальные моменты входили в его «философию русского врача», завещанную и от отца Никиты, и от деда Бориса. Теперь же, показалось Мэри, он бросался на эти вызовы даже с какой-то преувеличенной поспешностью, выходил к воротам еще до того, как прибудет автомобиль, будто дом его тяготил и он пользовался любым случаем, чтобы поскорее его покинуть.

Старый Пифагор считал своим долгом провожать хозяина до ворот. Теперь он сидел рядом с Бо в ожидании машины. Подняв воротник и нахлобучив шапку, профессор смотрел в глубину улицы, иногда опускал руку на голову Пифагору, произносил бессмысленное: «Вот так, Пифагор, вот так». Пес смотрел на него вверх влюбленным, но все-таки недоумевающим взглядом: при всем своем уме он не до конца понимал, что происходит в доме.

Ночная работа всегда вдохновляла Градова. Помощь, оказанная ночью, была благородным делом вдвойне. Ночной пациент почему-то был ему особенно дорог, любой ночной пациент, хоть и попадались теперь иногда среди ночных пациентов весьма странные штучки. Один из них, например, поверг недавно профессора в глубочайшее замешательство, вверг его в мучительные раздумья, как практического, так и философского порядка, впрочем... впрочем, давайте позднее расскажем об этих раздумьях, а пока повторим еще раз, что с профессиональной стороны жизнь Бориса Никитовича Градова совсем не изменилась.

Другое дело — общественная жизнь именитого деятеля советской медицины. Прежде приходилось спасаться от приглашений в президиумы, от бесед с журналистами, от приема иностранных делегаций друзей Советского Союза. Теперь его как будто исключили, зловещий признак это — отстранение от так называемой общественной, полностью фальшивой и идиотской советской жизни. Были и другие признаки сгущавшейся опасности, прежде всего, разумеется, взгляды сотрудников в институте, в клинике, в лаборатории. Чаще всего он ловил на себе воровато-любопытные взгляды — как, мол, все еще здесь, а не там? — нередко замечалось отсутствие взгляда, отвод глаз в сторону, быстрое отвлечение к другому предмету, слепнущие вдруг от мысли глаза — что поделаешь, народ вокруг ученый, задумчивый, — иной раз он замечал взоры, полные молчаливой симпатии, которые тоже быстро упархивали прочь, их он называл про себя «пугливые газели».

Это постоянное ощущение сгущающейся опасности вконец измучило Бориса Никитовича. Он чувствовал себя в западне. Был бы один, бросил бы вызов, а именно: оставил бы все чины и посты и уехал бы в деревню, в сельскую больницу, или даже в Среднюю Азию, в горный аул. Увы, не могу себе позволить: пострадаю не только я, но все, кто от меня зависит, любимая семья, да и те, кто в узилище, от этого не выиграют.

Один из его пациентов по Кремлевке посоветовал ему написать прочувствованное письмо в самый высокий адрес и даже дал понять, что проследит за прохождением письма. Борис Никитович внял совету, засел за составление текста, мучился, вычеркивал, перечеркивал в поисках убедительных, верноподданнических, но в то же время и достойных фраз, думал даже привлечь на помощь профессиональную литературу, то есть поэтессу Нину Градову, но тут вдруг обнаружилось, что пациент тот, его доброхот, только что исчез, катастрофически провалился под поверхность жизни, и поверхность за ним сразу же затянулась.

Так все это продолжалось в ужасе и оцепенении, на укороченных шагах и приглушенных фразах, пока вдруг однажды в его клиническом кабинете не протре-

щал телефон и женский голос, звенящая фанфара распирающего все существо энтузиазма, не произнес:

— Борис Никитович, дорогой профессор Градов, вам звонят из Краснопресненского райкома партии! Только что текстильщицы Красной Пресни выдвинули вашу кандидатуру в депутаты Верховного Совета! Мы хотим знать, согласны ли вы баллотироваться в высший орган власти нашей страны, представлять в нем нашу замечательную медицинскую науку?

— Позвольте, это звучит как какой-то неуместный розыгрыш, — пробормотал Градов.

Ласково, радушно, ну, просто в стиле кинофильма «Волга-Волга», голос рассмеялся. Вот, мол, экий рассеянный профессор, отрешенный от жизни мудрец. Не знает, что по всей стране идет кампания выдвижений кандидатов!

— Ну, какой же розыгрыш, дорогой профессор, мы сейчас едем к вам — из райкома, и из райисполкома, и ткачихи, и журналисты. Ведь это же такое радостное, уникальное событие, ткачихи выдвигают профессора медицины!

Градов бросил трубку, заметался, едва ли не зарычал. Страна идиотов! Детей бросают в тюрьму, отца выбирают в Верховный Совет! Спасаться! Не отдавая себе отчета в происходящем, он уже влезал в пальто — домой, домой! Единственный инстинкт еще работал и гнал его под родную крышу, но в дверь уже лез секретарь парткома, сущий хмырь, скопление низких эмоций, который все это время кабаном смотрел, а теперь растекался, как яичница по сковородке.

— Борис Никитич, дорогой, какая честь для всего института!

Весь день прошел в немыслимой, поистине абсурдной круговерти.

Прибежали «робкие газели», в глазах восторг, обожание: ну, ну, значит, все прошло, все позади, значит, миновало? Любопытствующие тоже перли, в глазах вопрос: значит ли это, что и сыновей градовских теперь освободят? Прикатили и журналисты из «Правды», «Медицинской газеты», «Известий», полезли с карандашиками. Какова была ваша реакция на такую удивительную новость, товарищ профессор? Затолкав себя в кресло и не вылезая из него, он бурчал в ответ: «Весьма польщен, но вряд ли достоин такой чести...» Все вокруг восхищенно смеялись: вот, смотрите, экая бука, настоящий человек науки, что и говорить!

Первое ошеломление прошло, он стал думать об этом неожиданном выдвижении, которое, без сомнения, было скомандовано сверху, с очень больших высот, и все больше наливался мраком: дело, конечно, было замешано на говне. Трижды подумаешь, прежде чем принимать этот спасательный круг.

Вечером Мэри реагировала на новость весьма однозначно:

— Неужели ты пойдешь к этим дебилам, Бо?! Неужели примешь участие в этой комедии выборов?! Дашь свое имя палачам?!

Он ничего не ответил и ушел в спальню, сильно хлопнув по дороге всеми имеющимися дверьми. На улице ждала машина, чтобы везти на собрание к восторженным текстильщикам. Он вышел из спальни при всем параде: темно-синий костюм, галстук в косую полоску, вполне безупречный джентльмен, если бы не два больших варварских ордена на груди.

— Кое-кто может себе позволить гневные риторические возгласы, я не могу, — сказал он, как всегда в минуты ссор обращаясь к бюсту Гиппократа. — В отличие от некоторых безответственных и легкомысленных людей я не могу отвергнуть унижительного позора. Мне приходится думать о тех, кто в беде, и о семьях, которые, может быть, я смогу спасти своим позором. Мне приходится думать также об институте

и о своих учениках! — С умеренной яростью поднял кулак, посмотрел, куда лучше ударить, ударил по обеденному столу, хорошо задребезжало, крикнул: — В конце концов, о больных, черт побери! — И вышел вон. В последний момент, перед тем, как захлопнуть дверь, заметил, что Агаша крестится и Мэри крестится вслед за ней. Они обе довольны, подумал он. Очень довольны, если не счастливы. Хотя на время, но главная катастрофа отошла, оплот не рухнул.

«Жить стало лучше, жить стало веселее!» — гласило короткое изречение, или, вернее, утверждение, а скорее всего меткое наблюдение, выложенное аршинными красными буквами по окнам Центрального телеграфа и окаймленное электрическими лампочками. Засим следовало и имя меткого наблюдателя — И. Сталин, и его гигантский портрет. Ему и все приписывалось — улучшение и дальнейшее увеселение жизни. Особенно это касалось витрин магазинов на улице Горького. Как в газетах пишут: «Есть чем похвастаться московским гастрономам в эти предновогодние дни!» Тут вам и гирлянды колбас и фортеции сыра, пирамиды анчоусных консервов, щедрая россыпь конфет, обернутые серебром горлышки бутылок, как парад императорских кирасиров, ей-ей не хуже. И вот потому-то и людской румянец живей мелькает сквозь мягкий снегопад, и смех как-то стал повкусней, и глязята бойчее. «Всех лучше советские скрипки на конкурсах мира звучат, всех ярче сверкают улыбки советских веселых девчат...»

Увы, остались еще и в нашей семье уроды, которых ничто не радует. Трое таких шли вверх по главной магистрали столицы, двое внешне приличных мужчин и одна даже привлекательная женщина. Все трое курили на ходу, вот вам и интеллигенция. Это были Савва Китайгородский, Нина Градова и ее старый друг по тифлисским временам, художник Сандро Певзнер.

Он только что приехал из-за гор и сразу наведалься к Нине, которую столько лет мечтал узреть во плоти, память о которой не затуманилась ни вином, ни романами, ни живописью. Он очень волновался, как его встретят замужняя Нина и ее супруг-доктор, но встретили его замечательно, едва ли не сердечно, сразу же показали, что он «свой», то есть человек их круга, которому доверяют и от которого ждут ответного доверия. Савва стал собираться за «горючим» к ужину, Сандро, естественно, как грузин не позволил ему отправиться одному в эту благородную экспедицию, тут и Нина за ними увязалась, так что решили вроде бы прогуляться, показать южанину новый центр Москвы.

В магазине, впрочем, разыгралась несколько неприличная сцена. Сандро не давал никому платить. Едва видел Нину у кассы, бросался к ней с пачкой купюр, едва замечал, что Савва собирается рассчитаться, тут же и его оттирал плечом, бросал кассиршам деньги, выкрикивал: «Сдачи не надо!» Ну, словом, грузин, богатый щедрый гость, восточный купец. Между тем его живопись не приносила ему почти ни копейки, и он работал на паршивеньком окладе в экспедиции Худфонда, распространял по предприятиям полотна и бюсты вождей. Он был очень типичным грузином, этот Певзнер, он и выглядел как грузин, со своими усиками, в большой кепке и демисезонном реглане с поясом. Удивительна способность евреев приобретать черты народов, среди которых им довелось жить. Русского Певзнера вы сразу отличите от польского, а уж между грузинским и турецким Певзнерами вообще нет ничего общего. Так или иначе, утяжелив бутылками карманы, троица покинула «Гастроном» и медленно двинулась вверх, к Большому Гнездиновскому переулку. Непрерывно и ровно, чуть только завихряясь на углах, падал мягкий снег. В толпе мель-

кали люди с елками на плечах. Деда Морозы в витринах соседствовали с отцом трудящихся всего мира, который непреложно напоминал им, трудящимся, о быстротечности ежегодной этой идиллии и о вечности пятилетки. Сандро рассказывал Нине и Савве страшные тбилисские новости: «Тициан взят и исчез, Паоло взят и исчез... «Голубые роги» объявлены меньшевистской подрывной организацией. Степа Калистратов арестован и судим как троцкист. Он получил, кажется, десять лет, и пять лет поражения в правах. Отари, по слухам, просто был растерзан в НКВД...»

Нина сняла перчатку и на секунду приложила ладонь к щеке Сандро. Слухи о страшных арестах среди грузинской интеллигенции уже давно стали доходить до Москвы. Сандро подтверждал самые ужасные. Тут уж никакой «юмор висельников» не поможет — уничтожается жизнь не только взятых, но и оставшихся на свободе, прошлое начинает зиять огромными кубами пустоты, а самое страшное в том, что пустые объемы тут же пытаются прикрыть плоской двухцветной фальшивкой.

— Ты не женат, Сандро? — спросила она.

— Какое там, — вздохнул он. — Друзья пропадают, сам ждешь с минуты на минуту, разве тут до женитьбы? Даже любовницу сложно держать в таких обстоятельствах.

— Ага, любовницу! — сказал Савва.

— Да-да, — покивал Сандро. — Моя вечная мучительница. Нина ее знает.

— Ну, он живопись свою имеет в виду, — пояснила Нина. — Что ты сейчас пишешь, Сандро?

— Рыб пишу, птиц, мелкие фигурки оленей, куски пейзажа, предметы со стола, все в таких фантастических комбинациях, понимаешь. В общем, достаточно, чтобы пришить формализм. Я — знаешь как, да? — иногда пару-тройку холстов отвожу тете в Баку. Может, хоть что-нибудь сохранится.

— Кажется, все-таки волна пошла на спад, — сказал Савва, — когда живешь в многоэтажном доме, это заметно.

— Послушайте, друзья!

У Сандро в его речи, сопровождаемой жестикующей, иногда мелькали какие-то странные движения, сходные с театром марионеток. Так и сейчас он обратился налево и направо, то есть к Нине и Савве, держа руки согнутыми в локтях и ладонями кверху.

— Послушайте, художник — это всегда глупый, интеллектуально отсталый человек. Я не понимаю, что происходит. Исторически, философски не могу найти объяснения этим делам. Вы мне не можете объяснить?

— Савва может тебе объяснить, у него своя теория, — сказала Нина.

Савва взялся объяснять:

— Вся современная история России выглядит как череда прибойных волн. Это волны возмездия. Февральская революция — это возмездие нашей высшей аристократии за ее высокомерие и тупую неподвижность по отношению к народу. Октябрь и гражданская война — это возмездие буржуазии и интеллигенции за одержимый призыв к революции, за возбуждение масс. Коллективизация и раскулачивание — возмездие крестьянам за жестокость в гражданской войне, за избиение духовенства, за массовое Гуляй-поле. Нынешние чистки — возмездие революционерам за насилие над крестьянами... Что там ждать впереди, предугадать невозможно, но логически можно предположить еще несколько волн, пока не завершится весь этот цикл ложных устремлений...

Сандро прошел несколько шагов в задумчивости, потом повернулся к Савве.

— А знаете, Савва, я готов принять вашу теорию.

— Но ведь это же метафизика, — с некоторой лукавинкой сказала Нина.

— Вот именно! — воскликнул Сандро.

Несколько прохожих на него обернулись. Стоящий возле афиши человек с тростью и с трубкой в зубах, очевидный иностранец — они сейчас были редкие гости в Москве и поэтому мгновенно выделялись из тысяч — вынул изо рта трубку и внимательно взгляделся.

— Мы что-то раскричались, — сказала Нина. — Забыли, что «Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи на десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят кремлевского горца»?

— Это, кажется, Осипа? — спросил Сандро.

— Да, и говорят, это стоило ему жизни, — ответила она.

— Неужели Осип?..

— Точно неизвестно, но, во всяком случае, он там. Сандро быстро перекрестился.

— Крестишься, Сандро? — тихо спросила Нина.

Он смутился и не ответил.

Иностранец, это был американский журналист Тоунсенд Рестон, долго смотрел вслед троичке, пока их спины не скрылись за снегопадом и мелькающими заснеженными прохожими. Он только что приехал, положил чемодан в «Национале» и вышел на первую вечернюю прогулку. Эти прогулки прежде давали обычно ключ для его примечательных статей. Обстановка фальшивости, которую он ожидал увидеть, все-таки поразила его, ибо явно уже приобрела устойчивые надежные черты и никому, кроме него, не казалась фальшивой. Тем более невероятно было увидеть среди этого зловещего всеобщего театра трех сравнительно молодых людей, что медленно шли по течению толпы, погруженные в серьезный, грустный и совершенно отчужденный от фальшивки разговор. Русского за эти годы Рестон так и не выучил и потому не уловил ни грана смысла, однако сам вид этой троички как бы неким эпиграфом лег на еще пустые страницы.

За несколько дней до Нового года в Большом Кремлевском дворце была назначена сессия только что избранного Верховного Совета. Рестон после едва ли не скандала в ВОКСе получил аккредитацию на первое торжественное заседание. Он знал, что ни черта не увидит с балкончиков для иностранной прессы, кроме президиума, мягко аплодирующих вождей да ликования в зале. Впрочем, сказал ему коллега, постоянный корреспондент «Таймс», там ничего не будет, кроме мягко аплодирующих вождей и ликующих депутатов. Да, думал Рестон, тут все уже закручено туго. Напрасно большевиков иной раз ругают «красными фашистами», они гораздо круче итальянских опереточных злодеев. Скорее уж Муссолини можно было бы назвать под горячую руку «черным большевиком». У Иосифа же только один ровня в мире — Адольф. Двадцатый век цветет двумя формами восхитительно-го социализма — классовой и расистской.

Эти мысли Рестон не решался напрямую высказывать в статьях. За свои высказывания о советском режиме он давно уже в леволиберальных кругах снижал репутацию «реакционера». В леволиберальных кругах, к которым прежде он сам себя причислял! Интеллигенция Запада отвергает расовую, но зато легко клюет на классовую наживку. Хотя бы намеками, расстановкой параллелей он старается провести идею о почти полной идентичности двух режимов. Увы, эта простая мысль либералами не прочитывается. Даже Фейхтвангер, сбежав от нацистов, аплодиру-

ет большевикам. Дает себя одурачить «открытыми процессами». Конечно, Сталин пока еще не давит евреев, но и до этого дело дойдет. Писатели, однако, за редким исключением, не видят сути, а между тем надвигаются страшные события. Без всякого сомнения, два режима, несмотря на то, что сейчас они клянут друг друга, в самое ближайшее время сблизятся. Еще через некоторое время они ударят по Западу. Германская индустрия и русские ресурсы, этого удара Атлантическая цивилизация не выдержит. В мире установится режим, где уже не будет ни левых, ни правых либералов. Словом «либерал» будет подтираться чекистско-гестаповская задница.

Какого черта я сюда приехал, разве я всего этого не знаю без путешествий в Москву? Какого черта я все таскаюсь в эту страну? Что меня сюда тянет? У меня тут даже любовницы нет. Женщины бросаются прочь, как только узнают, что я американец. Чистки, расстрелы и лагеря, похоже, уже добились здесь все живое. Здесь уже и деревья выглядят запущенными до предела. Раньше еще можно было поговорить с кем-нибудь на улице, можно еще было частично полагаться на переводчика. Сейчас все переводчики ВОКСа ежеминутно под немигающим оком чеки. Простые люди не могут скрыть, что считают этих переводчиков прямыми офицерами чеки. Что они переведут и каковы будут последствия для собеседника? Дэмит¹, а русский выучить я так за эти годы и не удосужился, пьянчуга и лентяй. Какого черта я опять приехал и хожу по этим улицам как глухонемой, да к тому же и не один, всегда с хвостиком. Вот только сейчас, кажется, в связи с расширившимся пространством, оторвались...

С этими мыслями известный на Западе политический обозреватель Тоунсенд Рестон вышел на брусчатку Красной площади, по которой гулял еще в самом начале нашего повествования вместе со сменовеховским профессором Устряловым, ныне бесследно пропавшим среди частокола так и не сменившихся вех. Площадь была вылизана до последней соринки, выметена так, будто и не прошли недавно снегопады. В прозрачно-темно-синем небе четко выделялись подсвеченные силовыми лампами башни, зубчатые стены, всеми переливами струились флаги. Огромные портреты вождей, как всегда, создавали у Рестона ощущение сюрреальности.

По всей площади одиночками и маленькими группами не торопясь шли люди. Все в одном направлении — к воротам Спасской башни. Раньше тут они обычно робко так в очереди стояли, в очереди к ленинскому телу, вспомнил Рестон, а сейчас никого нет у Мавзолея, кроме стражи. В чем тут дело? Ага, сообразил он, на сессию идут. Это как раз и идут депутаты, «хозяева своей страны и судьбы», как ему объяснили в ВОКСе.

Народ шел веселый, очень плотный, тепло или даже слишком тепло одетый. Немало было азиатов, они как раз и двигались маленькими группками. Среди фигур и лиц, отражавших исключительную простоту избранных народа, Рестон вдруг заметил и лицо интеллигента. Пожилой человек в мягкой шляпе и в прекрасном старом пальто, очки, борода, в руке трость. Вот, почему бы не поговорить с этим господином, подумал Рестон. Возможно, он знает иностранные языки...

Этим человеком был Борис Никитович Градов, депутат Верховного Совета от трудящихся Краснопресненского района Москвы. Он направлялся на торжественную сессию в Кремль и вспоминал утренний разговор с женой.

Мальчики были в школе, Верулька — в детском саду. Мэри и Агаша готовили им сюрприз — убирали

¹ Дьявол (англ.).

новогоднюю елку. Отличнейшее дерево, как всегда, привез Слабопетуховский. Игрушек, разумеется, изобилие. Вернутся дети и ахнут, и запляшут. Осиротевшим при живых родителях, им особенно нужны такие праздники. Вдруг Мэри взяла мужа за пуговицу и отвлекла в кабинет.

«Послушай, Бо, может быть, рассказать детям о том, что такое рождественская елка, что это за праздник, откуда это пришло, вообще обо всем этом?»

Борис Никитович после такого предложения немедленно, как с ним стало случаться, разобиделся едва ли не до слез. Разобиделся и рассердился.

«Прости меня, Мэри, но у меня такое впечатление, что ты меня постоянно испытываешь! Ты еще раз хочешь показать, что я дерьмо, что никогда не могу сказать «нет» тому, что ненавижу, и «да» тому, что люблю? Это ты хочешь сказать?»

Мэри умоляюще сжала руки на груди.

«Да как же ты так можешь говорить, Бо, мой милый?! Уж кому, как не мне, знать, какой крест ты несешь! Разве я могу тебя испытывать? Я ведь этот вопрос тебе задала как самому близкому и мудрому человеку. Я просто сама не знаю. Я просто боюсь: а вдруг мы детям повредим, если расскажем о Христе...»

Борис Никитович тут же все понял и тут же устыдился своей обиды. Приласкал старую подругу, внутри все потеплело от нежности.

«Прости, Мэричка, мою вспышку. Это эмоциональное напряжение, под которым мы все живем... Знаешь, мне кажется, сейчас не нужно приобщать ребят к религии, с этим следует повременить. Они очень открыты, легко зажигаются, в их положении это может навлечь на них беду. Я знаю, что ты стала ближе к религии и что это тебе помогает. Меня и самого, поверь, порой тянет в какой-то тайный храм».

Нынче любой храм стал тайным, и он сейчас был перед ним. Собор Василия Блаженного в этот торжественный вечер сессии сталинского парламента тоже был подсвечен и словно бы приобрел новый объем в прозрачной ночи. Как сейчас пишут о нем в газетах: «Входит в исторический ансамбль Красной площади». Видимо, отказались уже от планов сноса. Говорят, что после взрыва и расстрела пушками храма Христа Спасителя вопрос с Василием Блаженным был уже решен, как вдруг взбунтовался главный архитектор столицы, сказавший якобы: «Если хотите взрывать Василия Блаженного, взрывайте его вместе со мной». Синклит вождей, по слухам, был смущен, возникла проволочка, а потом произошла смена установок на сохранение «исторических ансамблей».

Борису Никитовичу неудержимо захотелось перекреститься на храм. Вот, как тот архитектор, бросить вдруг всем вызов, снять шапку и перекреститься. Он снял шляпу, будто ему на секунду стало жарковато, и перекрестился под пальто, мелко, но трижды. В этой стыдливости не только советский страх гнезился, но и все позитивистское воспитание Бориса Никитовича, которое ему отец Никита дал с одобрения деда Бориса. Теперь этому воспитанию, похоже, подходил конец. Красный шабаш, идущий из-за зубчатых стен, подрывал веру в «рацию», в «торжество человеческого разума», даже в ни в чем не повинную теорию эволюции. Философия раскачалась, страстно хотелось прибиться к каким-то другим, сокровенным берегам.

Вдруг какой-то человек, слегка обогнав профессора, приподнял шляпу и обратился по-английски:

— Excuse me, Sir, by any chance, do you speak English? ¹

Борис Никитович опешил. Это было так неожиданно, что он даже слегка качнулся, уперся тростью в брусчатку. Английский здесь, возле этих стен, возле... Сталина? Воздух тут, казалось, не должен пропускать этих звуков.

— Yes, I do¹, — пролепетал он, как школьник.

Незнакомец дружески улыбнулся. Градов растерянно улыбнулся в ответ. О, Боже, какой незнакомый незнакомец был перед ним, какой ошеломляющий иностранец!

— Would you be so kind, Sir, to give me a few minutes? I'm American journalist², — сказал Рестон. Он был очень рад: какая удача — поговорить с русским интеллигентом старой закваски без помощи этих воксовских переводчиков!

Не ответив на этот вопрос ни слова, Борис Никитович шатнулся в сторону и резко зашагал, едва ли не побежал, вот именно побежал прочь. Американский журналист! Да что это такое, опять я подвергаюсь испытанию, и такому ужасному испытанию! Говорить без посредников с иностранцем, да еще с журналистом, когда твои сыновья в тюрьме, когда сам ты идешь на ристалище, когда ты в двух шагах от Сталина... нет, это уж слишком!

Он стремительно двигался в сторону горловины Спасских ворот, как будто искал убежища за этими воротами. Перед воротами, однако, пришлось затормозить, там красноармейцы проверяли депутатские удостоверения. Тут он опомнился, совладал с дыханием, вытер пот со лба. Трус и раб, сказал он себе. Позор. Сзади, прямо из-за плеча мужской голос густо произнес: «Молодцом, профессор. Так и надо. Ходят тут всякие, вынюхивают». Градов не обернулся, прошел под арку. Тень совы вдруг мелькнула над ним в коротком гулком тоннеле.

Депутаты медленно — так им было сказано: медленно, торжественно, товарищи! — поднимались по мраморным ступеням внутри Большого Кремлевского дворца. Вдоль всего первого марша и на промежуточной площадке лестницы стояли репортеры, фотографы и операторы кинохроники. Горели сильные осветительные приборы. Депутаты лицами выказывали большое торжественное счастье. Особенно хорошо получалось у тех, что в чаплашках, из Средней Азии, лица их сияли искренним обожанием в адрес тех, кто ждал наверху. А там, на вершине лестницы, мягко аплодируя и улыбаясь, ждали посланцев народа члены Политбюро ВКП(б), и в центре их группы в светлосером кителе и высоких шевровых сапогах стоял Сталин. Он аплодировал всем и каждому в отдельности, а некоторых из депутатов задерживал возле себя, чтобы сказать и выслушать несколько слов.

Градов поднимался вместе с молодым авиаконструктором, которого встретил в вестибюле. Они были знакомы по Дому ученых, о нем говорили как о гении аэродинамики, кроме того, кажется, он одно время ухаживал за Ниной. В отличие от гостей из солнечного Узбекистана конструктор почему-то то и дело поглядывал на часы и все что-то говорил Борису Никитовичу о перспективах ракетного зондирования верхних слоев атмосферы. Градов его не слушал, а только лишь смотрел, как с каждым шагом приближаются матово поблескивающие, отличного черного цвета сапоги. С внутренним содроганием он вспоминал эти ноги без сапог, свою ужасную тайну. Тайна была такой глубокой и смрадной, что он был бы счастлив ее раз и навсегда забыть.

— А вот это, Иосиф Виссарионович, подымается

¹ Да (англ.).

² Не будете ли вы так добры, сэр, уделить мне несколько минут? Я американский журналист. (англ.)

¹ Извините, сэр, вы случайно не говорите по-английски? (англ.).

выдающийся хирург, профессор Градов, — не прекращая мягко аплодировать, сказал Молотов.

Теперь уже все старые друзья на людях обращались к Сталину по имени-отчеству, в то время, как он величал их по-старому — Вячеслав, Клим...

— Который? Молодой или старый? — прищурился Сталин.

Притворяется Коба, подумал Молотов. Прекрасно ведь знает обоих.

А ты зачем притворяешься, Скрябин, подумал Сталин. Прекрасно ведь знаешь, что я знаком с Градовым.

— Пожилой, с тремя орденами, — сказал Молотов.

Сталин юмористически покосился на него.

— Познакомь меня, Вячеслав!

Да, Сталин знал Градова, но у него не было ни малейшего желания выдавать государственную тайну даже тем немногим, кто ее знал, в частности Молотову.

Месяца три назад на ближайшей даче в Кунцево среди ночи у генерального секретаря начались конвульсии. Мелькнула даже мысль — не умираю ли? Не за себя было страшно, а за дело. Историю, конечно, не остановить, но затормозить можно, и надолго: не каждый год появляются такие последовательные и упорные вожди, люди такого колоссального кругозора, как этот данный мученик конвульсий, бедный мальчик Сосо; немного стало уже путаться в голове. Конвульсии возникли не на пустом месте. Началось все с большого банкета в честь покорителей Арктики, на котором, кажется, слишком много покушал. Оттуда поехали на дачу к вновь назначенному наркомвнуделу, земляку Лаврентию. Там, в более интимном кругу, много пили, танцевали с подругами. Стула, однако, не было, а вот аппетит опять появился. К утру Берия накрыл такой стол с кавказскими деликатесами, что удержаться от нового обжорства Сталин не смог. Комбинация орехового сациви и карских шашлычков под соусом ткемали всегда способствовала закреплению, однако прежде Сталин умел справляться с этим досадным, «ридикюльным», как когда-то в семинарии говорили, вздором без посторонней помощи, дедовским способом, при помощи двух пальцев. На этот раз дедовский способ не помогал. Дни проходили за днями, но облегчения они не приносили. Сталин тяжелеел, мрачнел, на заседаниях правительства то и дело приходил в ярость, требовал немедленной очистки страны от всех, от всех врагов народа! Сказать постоянно дежурившим возле него врачам энкаведе, что его мучает, он не решался: никакого не было желания произносить перед этими олухами слово «запор», выставлять вождя трудящихся в «ридикюльном» положении. Врачи же, в свою очередь, дрожали от страха, боясь сделать в адрес великого вождя такое позорное предположение. День за днем Сталин героически боролся со свалившимся на него испытанием. Уходил в свои личные комнаты, куда никому доступа не было, часами сидел на толчке, просматривал старые газеты со статьями ныне арестованных товарищей по оружию, убеждался в своей правоте — правильно арестованы товарищи! — ждал блаженного мига. Блаженный миг не приходил, живот казался ему вместилищем свинца, вернее, сплошным куском свинца. В голове стало уже путаться, посещали какие-то мысли о матери, а это значит — путается в голове, свинец подпирал уже под горло, разделить бы его по девять граммов, роем пустить по свету, то есть не остается сомнений в том, товарищи, что налицо перед нами явные признаки свинцового отравления, о котором нередко предупреждали большевики. В такой момент он распахнул дверь, крикнул: «Доктора!» — и повалился на тахту.

Вбежали энкаведешные врачи:

— Что с вами, товарищ Сталин?

— Свинцовое отравление, — был ответ.

Врачи бестолково засуетились. Один из них катал в ладони две слабительные пилюли.

— Может быть, дать... вот это? — спрашивал он у второго.

— Что это?

— Ну, вы же знаете что!

— Ну, хорошо, давайте, давайте это, а то...

Пилюли, может быть, и сработали бы, получи их Сталин дней на пять раньше, сейчас они лишь вызвали приступы мучительнейших конвульсий. Жижа какая-то вытекала по каплям, свинцовая же стена стояла нерушимо. В такой конвульсии Сталин однажды и исторг имя Градова: «Градова привезите, мерзавцы! Настоящего врача, профессора Градова!» Имя Градова запомнилось ему с двадцатых, еще до того важного партийного мероприятия, в котором Градов частично участвовал, Сталин знал об этом знаменитом московском профессоре и где-то в тайничке всегда резервировал за собой это хорошее, сугубо русское — не то что всякие вовси-шмовси — имя как имя целителя, настоящего врача. С тех пор, конечно, жизнь постоянно усложнялась и классовая борьба ужесточалась, разное происходило с людьми, за всем не уследишь, но вот в роковой час конвульсий имя вдруг снова выпрыгнуло из тайничка: Градова! Градова!

Борис Никитович возвращался после операции домой дикой пронзительной ночью, в промозглый и гудящий час ведем, когда его машину на Хорошевском шоссе перехватили два автомобиля чекистов. Он сразу понял, что это не заурядный арест, а что-то посерьезнее. Старший в группе сказал ему металлическим голосом:

— Пересаживайтесь в нашу машину, профессор. Дело самой высшей государственной важности. — В машине тем же тоном, исключившим любую возможность диалога, он добавил: — Учтите, секретность стопроцентная. За малейшее разглашение понесете ответственность в самых строгих формах.

Пациента, то есть Сталина, он увидел лежащим на тахте в кабинете. Ошеломляющий смрадный запах. Пациент был в полубессознательном состоянии и бормотал что-то по-грузински. Никто не решался приблизиться к нему, даже расстегнуть задравшийся китель. Энкаведешные врачи трепетали в углу кабинета.

— Разденьте больного! — немедленно скомандовал Градов и сам начал расстегивать пуговицы кителя. Охранники быстро потащили с ног вождя сапоги. — Снимайте брюки! — Поползли командирские штаны. Удивило низкое качество кальсон. — Марлю! Вату! Теплой воды! Клеенку! Судно! — продолжал командовать профессор, потом обернулся к энкаведешникам: — Доктора, подойдите!

Не без интереса он смотрел на двух медиков невидимого фронта. Непохоже было, что они привыкли врачевать, должно быть, в других делах больше практиковались.

— Анамнез, — сказал он им.

Врачи замялись, забормотали:

— Полное отсутствие перистальтики... стеноз кишечника... не решались до вас, профессор, применить меры... картина нетипичная... товарищ Сталин не обращался...

— Кальсоны тоже снимайте! — гаркнул Борис Никитович на охрану.

Голый Сталин теперь лежал перед ним. Он начал пальпировать совершенно каменный под слоем жира живот. В этот как раз момент началась очередная конвульсия. По клеенке из-под Сталина поползла скудная жижа. Отдельно от всего тела плясал на правой ступне шестой пальчик. Градов оторвал взгляд от этого редкого явления и посмотрел в лицо больно-

го. Из-за оспин и морщин глянули осмысленные мукой глаза. Сталин прохрипел:

— Помоги мне, кацо, и проси, что хочешь.

— Сколько дней у вас не было стула, товарищ Сталин? — мягко спросил Борис Никитович. Он знал, что самый звук его голоса оказывает на больных благое действие. Вот и Сталин вздохнул с явной надеждой.

— Десять дней не было, — простонал он, — а может быть, и больше... две недели, а?..

— Сейчас мы вам поможем, товарищ Сталин, потерпите еще немного.

Градов одобряюще похлопал Сталина по руке, ловя себя на ощущении того, что перед ним уже никакой не «вождь народов», а просто пациент. Любого пациента он вот так же похлопал бы по руке. Затем он попросил провести его к телефону, позвонил в кунцевскую «кремлевку» и начал отдавать распоряжения.

Стоящие рядом три человека с лицами борзых собак ловили каждое его слово. Через двадцать минут из больницы привезли двух медсестер со всем необходимым. Борис Никитович наладил восходящую клизму, сделал несколько уколов — эуфилин в вену, камфору под кожу, магнезию внутримышечно. Комбинация подействовала немедленно, сняла напряжение, расслабила гладкую мускулатуру, снизила кровяное давление, упорядочила ритм дыхания и пульс. Клизма тоже делала свое дело, через несколько минут состоялся прорыв линии обороны, пролом вавилонских стен, называйте это как угодно, но только не выходом сталинского дерьма. Между тем дерьмо шло и шло, сестры не успевали менять и выносить судна, победоносно лопались пузыри газа, с ревом, подобным дальнему камнепаду, пробуждалась перистальтика. Сморд шел разнообразными волнами, ибо каждый выходящий слой нес свое. К нему нельзя было привыкнуть, надо было просто сказать себе, что так обстоят дела.

Сталин лежал с блаженной улыбкой на обострившемся хитром лице. Никогда, никогда, никогда в жизни он не испытывал такого потрясающего освобождения плоти и усталого духа. Даже когда из ссылки убегал, не говоря уже о революции семнадцатого года. Все тогдашние освобождения немедленно вызывали какую-то собачью трясучку, жажду немедленной деятельности, и только вот сейчас, после этого «прорыва» — он так в уме и определял это словом «прорыв» — всякая трясучка вдруг прошла и открылись мягкие склоны и дали разной синевы, благодатный, чуть звенящий картлийский сентябрь, и он в этой благодати, почти в ней растворенный, почти молекулярный, как будто не он творил и будет творить все эти революционные ужасы. В эти волны тепла и отречения вливалось иной раз лицо с бородкой и с глазами, которые и в самом деле были зеркалами чистой души. «Как себя чувствуете, больной?» — спрашивало лицо. Оно каким-то больным интересовалось, так по-человечески простодушно кем-то интересовалось, да что там хитрить — интересовалось Сосо. «Спасибо, профессор, я хорошо себя чувствую, хорошо...» Выплывало и дрожало вблизи человеческое лицо. Ну попроси меня о чем-нибудь, профессор, и все получишь. Попроси за своих сыновей, и они через два дня будут с тобой. Проси сейчас, профессор, пока хочу тебя благодарить, потом будет поздно. Сулико-о-о, сулико-о-о...

Нет, не могу я тебя сейчас ни о чем просить, тиран, думал Градов. Врач не может просить пациента в момент оказания помощи, а ты сейчас все еще мой пациент, а не грязный тиран, тиран...

Шагнув на одну ступеньку вниз, Молотов подал руку Градову.

— Поздравляю вас, профессор Градов, с избранием в Верховный Совет! Хочу вас представить товарищу Сталину!

Сталин пожал руку Борису Никитовичу. Он был сейчас в отличном состоянии здоровья. Промытые наодеколоненные усы и шевелюра отливали темно-рыжим блеском.

— Поздравляю, профессор! Это очень хорошо, что в нашем советском парламенте рядом с рабочими и колхозниками будут заседать представители советской науки, в частности нашей передовой медицины.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Если он сейчас попросит о сыновьях, я его уничтожу, подумал Сталин.

— Благодарю вас, товарищ Сталин, — сказал Градов и тактично отошел в сторону потока депутатов.

Сталин с одобрением проводил его взглядом. В следующий миг ему вдруг показалось, что окно над мраморными ступенями вдруг залепил огромный глаз совы. Потом все прошло.

Антракт седьмой. ГАЗЕТЫ.

Герои Советского Союза в Вашингтоне. Уже давно ни одно крупнейшее авиационное событие не имело такой большой прессы, как перелет Чкалова, Байдукова и Белякова. «Воздушные герои», «Победители магнитных джунглей вершины мира», «Советская столица стала ближе к нам, чем мы думали» — в таких выражениях американская пресса оценивает подвиг советских героев. Президент США Ф. Д. Рузвельт ждет летчиков в Белом доме.

Московская милиция арестовала Бурцеву, занимавшуюся производством абортных на квартирах своих пациентов и в номерах бани.

Радио. Северный полюс.

Москва, ЦК ВКП(б), товарищу Сталину, товарищу Молотову.

Дорогой Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович!

Наша четверка восторженно встретила весть о высшей награде родины. Впереди нас ждет большой труд, но мы твердо знаем, что окружены Вашей любовью и заботой и вниманием всей страны. Мы приложим все силы, чтобы оправдать Ваше доверие и чтобы при любых обстоятельствах хранить честь нашей родины.

Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров.

На выпуск займа укрепления обороны СССР трудящиеся отвечают дружной подпиской.

После долгого молчания Союз советских писателей Карелии наконец решил обсудить вопрос об авербаховщине в литературе. Прения показали, какой огромный вред нанесли карельской литературе пережитки рапповщины. Буржуазные националисты Луотто, Оннонен, Райтунайнен ориентировали писателей на создание общефинской (явно буржуазной) литературы. Эти троцкистско-фашистские идейки привели к тому, что карельский народный эпос «Калевала» стал приписываться финнам. Националисты исключены из Союза писателей.

ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещает о смерти после продолжительной болезни старого большевика, видного хозяйственного работника тяжелой промышленности, члена ЦК ВКП(б) Иосифа Викентьевича Косиора.

Речь колхозника Данила Онищенко: Я горячо приветствую партию и правительство за долгожданный заем. Три моих сына являются бойцами Красной армии, Иван — командир батареи, Михаил — летчик, Павел — связист. У меня есть еще два сына, трактористы. Если враг посмеет сунуться к нашей границе, я со своими сыновьями пойдем крушить вражеских гадов. Каждый член нашей семьи подписался на сто рублей.

За последние дни в Германии умерли от зверских пыток гестапо несколько политических заключенных. Газеты называют известного германского спортсмена Вилли Гроссейна, Валентина Шмецера и др.

Величайшая стройка второй пятилетки завершается — канал Москва — Волга, начатый по инициативе товарища Сталина, построен! Привет строителям замечательного сооружения сталинской эпохи.

По предварительным данным, Ирина Вишневская (первый пилот) и Катя Медникова (второй пилот) побили международный женский рекорд высотного полета (6115 метров).

Состоялся первый двусторонний трансатлантический перелет английской летающей лодки «Каледония» и американской летающей лодки «Сикорский 42-В». Предстоит открытие регулярных трансатлантических почтово-пассажирских линий.

Фашистские хозяева ликвидированной фашистской банды Тухачевского и К° никак не могут оправиться от неожиданного и тяжелого поражения. До сих пор они скорбят по своим верным агентам. Еще бы, выведен из строя один из важнейших военно-шпионских отрядов фашизма. Всему миру очевиден грандиозный провал их разведки.

С деланным негодованием автор статьи в военной газете «Дойче вер» пытается отвести от Тухачевского обвинения в шпионаже, но тут же вынужден признать, что он был организатором контрреволюционного заговора. «Тухачевский хотел стать русским Наполеоном, но он слишком рано раскрыл свои карты, или, как это обычно бывает, в последнюю минуту стал жертвой предательства».

«В числе судей, — продолжает «Дойче вер», — были военные пролетарии, Блюхер и Буденный». Этими «военными пролетариями» гордится наша страна, гордятся трудящиеся всего мира. Заявление «Дойче вер» выдает фашистскую разведку с головой.

Клиенты, требуйте от работающих парикмахеров, чтобы они мыли руки!

Из речи прокурора товарища Андрея Януарьевича Вышинского. ...Мы все помним слова великого Сталина о том, что «Новая конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут ныне борьбу против фашистского варварства». Вот почему так беснуются сейчас наши враги.

В СССР, где победил социализм, где нерушимо закрепились подлинная культура и демократия, законность является могучим оружием дальнейшего прогресса, дальнейшей борьбы за социализм.

Товарищ Сталин указал на опасность «идиотской болезни» беспечности, на необходимость преодолеть эту болезнь, чтобы уметь распознать и победить врага. Сейчас контрреволюционная антисоветская агитация прибегает к самым разнообразным приемам

и очень неплохо умеет замаскировать свои антисоветские выступления. Так, например, недавно в г. Куйбышеве был задержан на базаре один «глухонемой», у которого на груди красовалась дощечка с контрреволюционной надписью: «Помогите глухонемому, лишили работы, раздели и есть не дают». В милиции оказалось, что этот «глухой» вовсе не глух, «немой» вовсе не нем, он оказался раскулаченным кулаком, который в этой форме избрал определенный способ борьбы с Советской властью.

Крупная победа «Спартака» над футболистами Страны Басков. Счет 6:2!

40 тысяч физкультурников из 11 республик демонстрируют на Красной площади свою силу, бодрость, отвагу, пламенную любовь к родине и беспредельную преданность лучшему другу советских физкультурников товарищу Сталину. Пляски, пирамиды, танки из цветов!

Молодость наша была голодна и сурова,
Зрелости нашей открылись несметные клады.
В сталинских днях на земле возвращается снова
Век красоты, воспетый в легендах Эллады.
Небо сегодня особенно ясно над нами,
Солнце для нас по-особому ласково светит,
Радость свою расцвелили живыми цветами
Дети октябрьской победы, счастливые гордые дети.
Алексей Сурков

Мы видели Сталина, видели его улыбку, ласковую, отеческую... По первому зову Сталина перед вождем пройдет вся наша страна, весь отважный народ всадников, горцев, хлопкоробов. Возвращаемся домой, вдохновленные Сталиным.

Руководитель физкультурной делегации Таджикской ССР Корниенко.

Комиссар делегации Кузи Акилов.

Физкультурники: Аслан Шукуров, Амито Юлдашева, Вали Малахов.

ЦИК СССР постановляет: за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий наградить товарища Н. И. Ежова орденом Ленина. Товарищ Ежов олицетворяет собой образ большевика, у которого слова никогда не расходятся с делом. История назначила органам НКВД быть, по словам Сталина, «грозою буржуазии, неусыпным стражем революции, обнаженным мечом пролетариата». Подлый предатель и враг социализма Ягода старался притупить острие нашего меча. Железная рука товарища Ежова, посланца Сталина и ЦК, восстановила большевистский порядок.

Весь народ держит в руках этот меч. Поэтому у НКВД уже есть и будет еще больше миллионов глаз, миллионов ушей, миллионов рук трудящихся, руководимых большевистской партией и сталинским ЦК. Такая сила непобедима!

Развитие колхозного строя в Таджикистане тормозила банда врагов, засеившая в руководстве, и всех их приютил председатель Совнаркома Таджикистана Рахимбаев. Буржуазные националисты в Таджикистане под руководством Рахимбаева, Ашурова, Фролова распоясались! Пора укоротить им руки!

Клевета на украинскую действительность. Одесса. Выставка картин и этюдов Советской Украины и Молдавии открылась в государственном художественном музее Одессы. Картины и этюды так подобраны и расставлены, что Украина и Молдавия показаны в совершенно искаженном свете. Вот три

забитых нищих женщины плетутся по дороге. Вот другая картина — дохлая корова, два петуха, опрокинутое корыто, худая некрасивая женщина... Картина называется «Колхозница-доярка».

...А где украинские колхозы, красиво убранные улицы, свежие дома? Где зажиточные украинские колхозники? Куда девались замечательные молдаванские пляски, песни? Где стахановцы? Ничего этого на выставке нет!

Выставку нельзя рассматривать иначе как наглую вылазку украинских националистов. Троцкистско-бухаринские враги, вредители, орудовавшие в Управлении по делам искусств при Совнаркоме Украины, умышленно направили кисть некоторых художников по вражескому пути.

Центральный Комитет компартии Армении долгое время возглавлял враг армянского народа, презренный изменник Хонджян. После разоблачения Хонджяна этот пост занял Аматауни. Новый руководитель часто хвастал, что заслуга в разоблачении Хонджяна принадлежит ему. А как выяснилось, сейчас Аматауни оказался ярым приспешником Хонджяна, продолжателем его контрреволюционной деятельности.

Аматауни с давних пор предавал интересы народа, примыкал к троцкистской оппозиции. Он приблизил к себе дашнакского агента Акопова, выдвинув его на пост второго секретаря. На посту председателя Совнаркома оказался Гуляян, оруженосец расстрелянного врага народа Каменева.

Состоявшийся недавно пленум послал товарищу Сталину большевистское слово до конца разгромить всех врагов армянского народа.

Пейте вкусное и питательное какао «Экстра»!

Драмкружок завода Авиаким осуществил постановку «Ромео и Джульетта» В. Шекспира. В роли Ромео диспетчер тов. Дрозденко, Джульетта — учетчица тов. Крючкова.

Западная граница БССР. Темная ночь. Пограничники Василий Никишкин и Николай Оскин, находясь в «ночном секрете», заметили человека, который пробирался на советскую территорию. Никишкин крикнул: «Стой!» В ответ раздался выстрел. Пограничники застрелили нарушителя. При обыске у него найден наган, заряженный 5 патронами, 300 рублей советских денег, деревянная коробка с ядовитым порошком и бутылка с жидкостью. Убитый являлся агентом одного из соседних государств.

Вражеская вылазка. В Кемеровском горсовете орудует чья-то вражеская рука. За подписью зампреда горсовета Герасимова и ответственного секретаря Волохова выходят удостоверения на право составления списков избирателей, заполненные хулиганским контрреволюционным образом.

ТЭЖЭ, лучшие туалетные мыла, кольд-крем, ронд.

Читатели, получившие очередной номер журнала «Тихий океан», с изумлением увидели, что редакция полностью замолчала решения февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б). Нет никаких признаков того, что редакция сделала для себя выводы из доклада товарища Сталина.

Многие материалы протаскивались в журнал вражеской рукой. Автор статьи о Японии, например, пишет: «Фашизм в Японии пока (!) еще не имеет

значительной (!) притягательной силы для масс...» Что значит это «пока»? Может быть, фашизм будет иметь «значительную» притягательную силу для масс в Японии?

...Враги так прочно укрепились в журнале, что перепечатывают на его страницах реакционные статьи японской прессы. В чьих интересах действует редактор журнала Г. Войтинский? У него нет почти ни одного номера без вражеской контрбанды.

Разоблаченные враги народа, занимавшие руководящие посты в Академии сельхознаук и в Главзерно Наркомзема СССР, немало потрудились, чтобы запутать зерновое дело. Было бы непростительным благодушием считать, что после разоблачения на фронте растениеводства все обстоит благополучно. Корни вредительства, несомненно, остались.

Дети Испании прибыли в Ленинград. К плавучему приемному маяку приблизился теплоход «Кооперация». На его борту больше шестисот детей героических борцов Астурии, Бильбао и Сантареа. Несколько часов спустя подошел теплоход «Феликс Дзержинский». Он доставил еще несколько сот детей. Звучат звонкие детские голоса: Вива Россия! Вива Сталин!

Войдут в века железным рядом
Героев наших имена.
На радость нам весенним садом
Цветет советская страна.
О светлых днях родной державы
Звени и пой, двадцатый год!
На подвиг доблести и славы
Нас имя Сталина ведет.

Алексей Сурков

По данным Башкирского обкома, коммунистами республики потеряно 377 партбилетов нового образца. Этим пользуются враги народа, шпионы, диверсанты. Немало партбилетов попало в руки врага.

Вседонецкий слет стахановцев и ударников-шахтеров. В своей речи тов. Никита Изотов сказал: «Выкорчевать вредителей до конца!»

Писатель Всеволод Вишневский ведет репортаж с предвыборного собрания текстильщиков. У всех на устах — Сталин. Почти каждый оратор горячо и вместе с тем глубоко интимно говорит о своем личном отношении к Сталину. Говоря от имени трудящихся, выдвинувших кандидатуру Сталина в Верховный Совет СССР, текстищик Зверев сказал: «Товарищ Сталин вникает во все мелочи, во все подробности быта, работы и оплаты рабочих. А сколько улучшений внес товарищ Сталин в работу текстилей!»

Четыре тысячи рук в одном порыве поднимаются за кандидатуру товарища Сталина.

Антракт восьмой. ПЕРЕСКОК БЕЛКА.

Он не мог представить, что так быстро снова окажется там, где царил, и даже будет здесь кое-что узнавать. В тот недалекий еще момент, когда Горки с их уютным маленьким дворцом и парком стали стремительно отлетать прочь, У был уверен, что сваливается в тартарары, хотя поначалу казалось, что Горки вниз, а он летит вверх. Тартарары, тартарары, вот, собственно, единственное слово, которое осталось тогда с ним из его некогда небедного лексикона. Тартарары,

вскоре вся эта чепуха вроде направлений вверх-вниз, налево-направо, исчезла, и перед ним действительно стали развираться тартарары. Какой-то частью своей он еще осознавал: что-то когда-то раньше было — кофе и горячие булочки, например, — что-то где-то есть и сейчас, а именно равно-восторженно-музыкальное, уже недоступное, но понимал, что еще миг, и больше уже никогда ничего нигде не будет, кроме тартарары. Меньше всего он думал, конечно, в этот момент, что заслужил эту участь свою, скажем, жестокостью или вероломством, ибо такие понятия, как «наказание», исчезли, и даже любимые темы вроде «Как нам реорганизовать Рабкрин», то есть что брезжило почти до самого конца, поглотились все приближающимися тартарары. Как вдруг что-то как бы дернулось, включился как бы некий тормоз, своего рода парашютик, и тартарары с их неумолимостью, с превращением всей сути У в суть муки вдруг остановились и стали отдаляться, а У на парашютике начал некое неторопливое снижение или воспарение, протекая через огромные пространства, в которых даже мелькали иной раз клочки «Рабкрина», больше того — разбросанные ноты той самой «нечеловеческой музыки», что заставило его однажды на мгновение забыть о призвании революционера.

Присутствие воздуха и взвешенной в нем влаги он снова почувствовал в дупле среди шевеления таких же, как и он сам, пушистых и мелких. Он высунул головку из-под мамкиного пуза и ошеломился земными запахами. Кора, секреция мамки, дымок, тлеющие косточки, листья, бутончики, почки, муравьи, червяки, густой хмель оттаивающей земли, все еще неведомое, неопознанное, но будущее, то, что заставило его вдруг радостно пискнуть и чуть подскочить на манер какого-то умопомрачительно далекого припрыга с хихиканьем, с заложенными за вырезы жилетки пальцами: эге-ге, батеньки мои!

Он быстро рос, и к середине тридцатых иные наблюдательные знатоки природы в Серебряном Бору могли выделить среди многочисленного беличьего населения исключительно крупного самца, настолько крупного, что язык как-то не поворачивался назвать его фемининской белкою, напрашивался некий «белк».

Следует сказать, что и в этом обличье У оказался среди сородичей общепризнанным авторитетом. Естественно, он не обладал теперь гипнотическими свойствами интеллекта, зато в силу неведомых игр природы приобрел феноменальные качества воспроизводителя. Этому и предавался. В этом и ощущал свое предназначение. С первейшими проблесками зари и до последних угасаний заката взлетал он по стволам сосен, совершал колоссальные прыжки с ветки на ветку, проносился по опавшей слежавшейся хвое, по тропинкам, по крышам и заборам дач, преследуя своих пушистохвостых соблазнительниц, которые только и жаждали поимки, а потому и убегали со всех ног. Настигнув, подвергал великолепному совокуплению.

Только по ночам он позволял себе отдохнуть, покачаться в дремоте на надежной ветке сосны, ощущая себя в уюте и безопасности среди игры теней и лунного света. Иногда, впрочем, все реже, посещали какие-то озарения из ниоткуда — среди них чаще всего возникали стены с зубцами в форме ласточкиных хвостов, — но он их отгонял движениями своего собственного мощного хвоста.

Надо сказать, что самцы серебряноборского роя беспрекословно признавали его первенство, но не собирались вокруг него, как в прежней жизни, а, напротив, старались держаться в отдалении, робко шакала по периферии его бесчисленного гарема. С великодушием силача он не обращал внимания на робких, с теми же немногими, кто осмеливался бросить хоть малый вызов, справлялся без промедления — подкарауливал, бросался, мгновенным укусом в горло обрывал жизнь. В этих победах чудилось ему что-то прежнее.

Впрочем, по прошествии нескольких лет он стал спокойнее, оплодотворив уже несколько поколений подруг, то есть и дочек своих, и внучек, и правнучек. Ощущение некоторой гармонии стало посещать его, и он даже стал позволять себе задерживать редкие озарения из того, теперь уже почти непроницаемого прошлого, и даже задавался иной раз вопросом: а не таится ли за зубчатыми стенами некий грёцкий орех?

Однажды ближе к сумеркам, отдыхая после очередного соития на верхнем этаже могучей сосны, он глянул вниз и увидел женщину, сидящую на скамье в позе печального раздумья. Он и раньше замечал эту человеческую самку, переливающуюся в основном светлыми цветами спектра.

Прежде она не была такой тихой, напротив, говорила громко, часто смеялась, шумно ссорилась, вела любовные игры в основном с одним и тем же мужчиной. Теперь она была грустна, рассеяна в тоске, спектр ее подернулся дымкой, и вечно сопровождавший ее запах цветов слегка увял. Вообразить ее вот так, сидящей среди леса в одиночестве? Нечто несусветное внезапно посетило У: «С такой женщиной я бы не допустил раскола партии, не скатился бы до диктатуры...»

Он соскользнул вниз, прыгнул на скамью и застыл в своей коронной позе, глядя на женщину. Она почувствовала его присутствие, подняла голову и повернулась.

«Боже, какой большой! — произнесла Вероника и засмеялась почти по-прежнему. — Тебя надо пионерам показывать!»

Она осторожно протянула руку к выдающемуся белку. У не отскочил. Он видел над собой мягко, в меланхолическом ритме пульсирующий ручеек. Перекусить его в одном мгновенном броске не составило бы труда. Рука опустилась на его голову и прошла по спине. «Не боится, — удивилась Вероника. — Ну, пойдем со мной, пойдем к нам, дам тебе орехов...»

Она удалялась по тропинке. У, сидя под сосной, содрогался в оргазме. На ночлег в тот день он устроился возле дома, в котором жила та женщина. Дом был полон света, сквозь щели в шторах мелькали тени, иногда проходила и она. У дремал в блаженстве.

В ту же ночь ее увели. У, хоть и не понимал смысла происходящего, чувствовал, что это навсегда. В последний момент перед посадкой в машину он успел пролететь через двор и предстать перед Вероникой на макушке заборного столба. Взгляд ее, обводящий небосвод, упал на него, лицо исказилось мгновенным ужасом. Дверца машины захлопнулась. С тех пор она иногда вспоминалась У, всегда почему-то в сочетании с неопределенным изломом зубчатых стен, как будто в этом моменте пространства сошлось безвозвратное с запахом свежего кофейку-с.

Однажды, в исключительно ясный, бездонно голубой день белк заметил над собой на огромной высоте черную точку и сразу же понял, что это конец. Перед тем, как она начала на него падать, он еще успел озариться откровением и понять, что краткая беличья жизнь была ему дана лишь для того, чтоб хоть малость охладился после той прежней сатанинской трясушки.

Конец первой книги

ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ В МОСКВЕ?

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.
Хорошее образование - только в хорошем вузе! МФТИ - именно такой вуз. Его диплом котируется в мировом научном сообществе. Учиться в МФТИ может не каждый - нужны знания, трудолюбие и специальная подготовка.
Такую подготовку уже 25 лет успешно осуществляет Заочная физико-техническая школа при МФТИ. Каждый выпускник ЗФТШ - студент вуза. Каждый второй студент МФТИ - выпускник ЗФТШ. Информация о приеме в ЗФТШ и вступительные задания по физике и математике - в журналах "Квант" и "Юный техник" (№№ 12, 1991 г.).
Наш адрес: 141700, г. Долгопрудный, Моск. обл., Институтский пер., 9. МФТИ, ЗФТШ.

МОСКОВСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.
Единственный институт в Москве, который готовит инженеров: механиков, автоматчиков, технологов, экономистов, - и бухгалтеров полиграфического производства, специалистов по книговедению и книготорговле, издательскому делу и редактированию, графике. Наши вечерние подготовительные курсы проводят набор слушателей в сентябре, декабре, феврале и мае, заочные - круглый год. Курсы готовы вступить в переговоры об открытии филиалов в городах России на базе полиграфических предприятий.
Адрес курсов: 107045, Москва, Садовая Спасская, д. 6. Тел.: (096) 207-13-70.

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.
Продолжаем прием на заочные курсы. Подготовка ведется по математике, физике, русскому языку и литературе. Заявление на имя ректора (укажите свой домашний адрес, ф.и.о.), квитанцию почтового перевода (перечислите 250 рублей - стоимость курсов - на р/с 140230 Комбанка "Лефортовский" МФО 201207 МЭИ) высылайте по адресу: 105835, Москва, ГСП, Е-250, Красноказарменная ул., д. 14. Тел.: (095) 362-72-31.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ.
Внимание эксперимент! Центр отбора и подготовки молодежи при МИСиС проводит для школьников 11-х классов очно-заочное и рейтинговое тестирование. По итогам очно-заочного тестирования вы получите право участвовать в предварительных экзаменах, а ваш итоговый рейтинг будет общим баллом вступительных экзаменов. При недоборе баллов абитуриент сдает экзамены на общих основаниях.
Наш адрес: 117936, Москва, Ленинский проспект, д. 4, МИСиС. Центр отбора и подготовки. Тел.: (095) 236-30-78.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ГЕОДЕЗИИ, АЭРОФОТОСЪЕМКИ И КАРТОГРАФИИ.
Приглашаем учащихся 9-11-х классов в вечернюю физико-математическую школу. Обучение в ФМШ бесплатное. Зачисление - по итогам собеседования. Кроме того, при институте работают очные и заочные подготовительные курсы. Мы дадим вам прочные знания по физике, математике, русскому языку, литературе. Выпускники ФМШ и подготовительных курсов получают возможность досрочно сдать вступительные экзамены.
Наш адрес: 103064, Москва, Гороховский пер., 4, комн. 328. Тел.: (095) 261-91-09.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ им. М.В. Ломоносова
Факультет довузовской подготовки объявляет набор в химическую школу при МИТХТ. Обучение бесплатное. А также приглашает на платные подготовительные курсы (очные, малые группы по 6-8 человек, и заочные). Кроме того, вы сможете принять участие в репетиционных экзаменах, приравненных к вступительным, и тестировании, которое проводит Гособразование России.
Наш адрес: 117571, Москва, пр-т Вернадского, д. 86. Тел. (095) 246-80-66.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ.
Приглашаем абитуриентов на шестимесячные вечерние и заочные подготовительные курсы. Начало занятий - 2 января 1992 г. Прием заявлений - до 2 декабря 1991 г.
Подготовка проводится по математике, физике, русскому языку по новейшим методикам.
Адрес подготовительных курсов: 105275, Москва, 5-я улица Соколиной горы, д. 22. Проезд: метро "Семеновская", авт. 702, 254 до ост. "5-я ул. Соколиной горы".
Справки по тел.: (095) 365-40-58.

Юлий ВЕЧЕРСКИЙ

НАШ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ



Фото Юрия Садовникова

В конце 50-х годов мы, едва доучившиеся или даже недоучившиеся молодые художники, в поисках хотя бы самых скромных заработков обходили редакции московских журналов. На Цветном бульваре в тесных комнатках в здании «Литературной газеты», а позднее в низеньком флигеле на улице Воровского, где тогда помещалась редакция «Юности», мы оказывались особенно часто. Сейчас даже трудно сказать, почему. Или нас там поили особенно вкусным чаем, предлагали особенно симпатичную прозу, или высокому улыбчивому блондину, бывшему там главным художником, больше других приглядывались наши рисунки, и он чаще других звал нас работать.

И когда этот улыбчивый блондин говорил: «Слушай, ты не сделаешь нам...» — я, соглашаясь, думал про себя: а почему, собственно, им? Себе! Ведь это же я, просидев ночь над рисунком (сроки в журнале всегда авральные), буду волноваться по дороге в редакцию — понравится ли? Ведь это же я в метро или троллейбусе, увидя в чьих-то руках журнал со своими рисунками, буду с трепетным замиранием гадать, соответствуют ли они в глазах этого человека тому, что он сейчас прочел? Узнает и признает ли он своих героев? Ведь это же мне, мне будут звонить родные и знакомые, если моя публикация покажется им удачной, и это я, я буду надуваться от гордости!

С тех пор прошла, страшно сказать, жизнь! Или уж наверняка самая яркая, самая деятельная, самая востребованная ее часть. И теперь видишь, что в ней было, кажется, все, чему следует быть в жизни художника. И тайная сладость каждого нового замысла, и тревога: вышло ли?.. Незнакомые горизонты, неожиданные встречи в дальних командировках. И крутая лесенка профессионального умения, на каждой ступеньке которой надо оправдывать доверие к тебе. И тайный ужас перед открытием выставки: нужно ли хоть кому-нибудь то, что ты делал? И тревога — сумеешь ли и успеешь ли реализовать то, что после нее понял. И все это время рядом с тобой был старший добрый товарищ, много повидавший человек, внимательный и благожелательный редактор Юрий Александрович Цишевский. Высокий улыбчивый блондин внешне даже мало изменился за это время. Разве что светлые волосы стали совсем белыми.

Если бы автор захотел прибавить себе веса и авторитета, ему бы следовало просто перечислить имена художников, работавших в «Юности» в одно с ним время.

Итак: Б. Тальберг и О. Савостюк, Е. Расторгуев, И. Обросов, Г. Калиновский (последние трое и тогда, и сейчас особенно нравятся автору). Дальше: П. Бунин, В. Красновский, Г. Новожилов и чуть позже В. Юдин и В. Гальдяев. На выставках в редакции выставлялись И. Голицын, И. Митурич, И. Бруни, И. Обросов, С. Красаускас, Н. Воронков, В. Петров-Камчатский, О. Комов, О. Вуколов, А. Максимов, Л. Дурасов... Сейчас трудно вспомнить всех, тем более что теперь на стендах «Юности» — уже дети тех, кто выставлялся 20—25 лет назад. Но и названных достаточно, чтобы можно было загордиться, оказавшись в такой компании.

Это сейчас они известные художники, народные и заслуженные, академики и лауреаты, но как не отдать должного чутью и интуиции скромного редактора, сумевшего разглядеть искру Божию в никому не известных тогда молодых людях, зачастую годившихся ему в сыновья.

Люди разных темпераментов и пристрастий составили парадоксальную общность, которую тогда определяли не их отдельными именами, а общим и всем понятным термином — «стиль «Юности»». И теперь, с дистанции времени, я хочу, пусть субъективно, определить, что его характеризовало.

Тут могли быть и были часты издержки и вкуса, и неокрепшего еще умения, но редки были отступления от непосредственности восприятия, искреннего стремления к правде, неподдельного интереса к формам быстро меняющейся повседневности. Тут, может быть, не было мучительной борьбы зрелых мастеров с неподатливой сложностью художественного воссоздания жизни, но была молодая радость постижения творчества. Оригинальность не от изощренности, а от естественности. Обаяние юношеской неловкости, чистоты и искренности. И это удивительно точно ложилось на свое время! Время первых сладких надежд, как скоро выяснилось, увы, неоправдавшихся.

Юрий Александрович Цишевский, главный художник журнала в те годы, был известен своими фронтовыми рисунками. В них нет виртуозной эксцентричности Сойфертиса или драматизма партизанских рисунков Ливанова. Нарисованные несколько даже коряво, но при этом лаконично и точно, они, мне кажется, удивительно достоверно передают тягостную монотонность тяжелых военных будней. Трубы сгоревших деревень, землянки в посеченном осколками лесу, в ведре варится еда и пасутся распряженные кони. Понтонная переправа через большую реку, по которой бегут раненые, и столбы воды от разрывов снарядов, которыми по ним стреляют. Разбитые дома, связисты и, конечно же, все относящееся к работе армейских газетчиков. Альбомом фронтовых рисунков Ю. А. Цишевского, изданном в дивизии, где он служил, награждали ее ветеранов.

Помимо всех московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок, у него было и несколько персональных, где его фронтовые рисунки занимали главное место. Их показывали даже в Берлине, где кончала войну его дивизия. Приятно знать, что теперь часть этих рисунков в собрании Третьяковской галереи и Пушкинского музея.

И мы все, пришедшие на вернисаж последней его выставки, прошедшей в этом году в Центральном Доме литераторов, порадовались, что, несмотря на преклонные годы, художник не утратил творческой активности. Экспозиция выставки изобиловала новыми работами — прежде всего акварелями, ранее не выставлявшимися.

Из выступлений художников на открытии выставки привожу слова, высказанные Ю. Могилевским: «Дорогой наш Юрий Александрович, мы знали тебя как военного художника, создавшего серию фронтовых рисунков, своего рода наглядную летопись минувшей войны, но на сей раз ты порастил нас большим количеством акварельных листов, выполненных за последние 3—4 года. Эти работы подкупили нас тем, что они написаны как бы на одном дыхании, свежо и непосредственно. Своим прозрачным колоритом, своим лирическим и вместе с тем оптимистическим настроением они явились камертоном всей выставки, и нам кажется, что краски представленных работ освещают теплым весенним цветом весь выставочный зал, создают свой микромир — добрый и просветленный — в противовес тому суровому и непредсказуемому миру, окружающему нас за стенами выставки».

В заключение хочется пожелать нашему Юрию Александровичу доброго здоровья, ну а творческого рвения ему не занимать.



«На земле новгородской».Акваель. 1988 г.

**Юрий
ЦИШЕВСКИЙ
г. Москва.**



«Долина привидений». Акварель. 1983 г.
«Вечер на Клязьме». Акварель. 1986 г.





«Цветы полевые». Акварель. 1988 г.



«Москва. На Самотеке». Акварель. 1990 г.
«Рыбачий берег». Акварель. 1983 г.



А. СКАЛДИН
**СТРАНСТВИЯ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОДИМА
СТАРШЕГО**

Роман

Захлопнув за собою дверь в келью, Никодим снова услышал шорох за печкой, совершенно схожий с прежним, и сказал: «Неужели и вправду бес?». Он кликнул: «Кто там?» — но никто не отозвался.

Никодим придвинул кресло к окну, полуотдернул занавеску, но за окном было еще совсем темно, и ни малейший свет не намечался. Однако он стал упорно смотреть наружу, приложив лоб к запотевшему стеклу. Его очень взволновал разговор с отцом Дамианом, и он был задет в душе словами старца: «Какой же ты глупый да смешной»...

Шорох за печкой снова повторился. Никодим обернулся, пристально посмотрел туда, подошел к печке, сунул за нее в отдушину руку — ничего. Отойдя назад к окну, он уселся в кресло и вдруг чрезвычайно остро почувствовал свое прежнее разделение. На кровати же, напротив от кресла, что-то неясно зашевелилось.

— Ах, вот оно что! — догадался Никодим, — мне ли первому поздороваться или ждать, когда он заговорит?

Но по направлению от кровати слышалось:

— Поздоровайся!

— Здравствуй, — сказал Никодим и понял, что сделал ошибку, поддавшись этому приказанию, но было уже поздно. С кровати раздался придушенный смех.

— Здравствуй, мой милый, — ответил тот, давясь смехом, — знаешь, что я тебе скажу? Нет, конечно, не знаешь: я хочу пожить в свое удовольствие.

— Так живи, — отрезал Никодим сердито, — что же ты ко мне пристаешь? Только убирайся от меня подальше.

— Ох-хо-хо! Убирайся подальше. Как же я уберусь? Желание-то во мне, а соки-то в тебе.

— Какие соки?

— А те самые, без которых я и жить не могу. Без соков неинтересно. Одно развращение ума.

— Так ты высасывать меня что ли будешь?

— Ну да. Вроде этого.

— А я не хочу!

— Не хочешь? Это меня не касается. Я не привык спрашивать. Сам же ты мне сказал: «Здравствуй».

— Я с тобой поздоровался только.

— Прекрасно ты знаешь, что со мной здороваться нечего. А сказал: «Здравствуй», — значит, и сказал: живи здоров, в свое удовольствие.

— Нет, нет, я ничего такого не думал.

— Не думал? Не понимаю, чего ради ты отнекиваешься: ведь тебе со мной вовсе не плохо будет.

Пальцы Никодима забегали по ручке кресла.

— Послушай, — сказал Никодим немного просительно, но вместе с тем и достаточно твердо, — послушай, я тебе тоже скажу такое, чего ты не знаешь.

Тот молчал. У Никодима мелькнула мысль: «Ну как не знает — все знает!». Но лицо его осталось неподвижным, а молчание собеседника заставило его продолжать:

— Так вот — есть что-то такое, чего ты не знаешь и напрасно ты так мерзко хохочешь. Если бы ты был бес, ну, самый настоящий бес (не объяснять же тебе, какой именно), а то ведь ты только мошенник. Вот, который раз ты со мной разговариваешь, а не сказал мне, кто ты таков и как тебя зовут — разве поступают так порядочные существа?

Никодим в точности произнес: «Существа», — хотя не мог бы объяснить, что он думал сказать этим.

— Да, да! — продолжал он. — Вот, например, с рясой — разве я не видел, что ты меня обманул: ты вовсе не надевал рясу; ты только положил ее на себя

Рисунок
Вячеслава Лосева

Окончание. Начало см. в №№ 9, 10 за 1991 г.

сверху, прикрылся ею, и, когда встал — она упала, потому что не была надета в рукава. Я видел.

— Ну так что ж?

— Как, ну так что ж? Как, ну так что ж? — вскипел Никодим, вскочив с кресла и с кулаками подступая к кровати. — Я не хочу вести разговор с мошенниками. Так порядочные... не поступают.

Он опять хотел сказать «существа», но запнулся и сказал одно «порядочные».

— А если я бес? — вопросительно ответил собеседник.

— Ты бес? Прислужник Сатаны? — рассмеялся Никодим.

— Ну да, бес. Чего же тут смешного? А Сатана здесь ни при чем. Разве бес не может существовать сам по себе, без Сатаны?

— Конечно, не может.

— Много ты знаешь! А я вот существую.

— Хорошо! Существой себе без Сатаны. Но рясу в рукава ты не мог надеть. Это я знаю.

— Я могу!

— Покажи! И не можешь показать, потому что рясы с тобой здесь нет.

— Ан есть!

На кровати действительно зашевелилось что-то черное. «В самом деле, ряса», — подумал Никодим, но, точно хватаясь за соломинку, сказал:

— Да это не та ряса: не отца Дамиана. Ты здесь у кого-нибудь, у какого-либо монаха ее стащил.

— Нет, это ряса отца Дамиана, смотри.

И черное взмахнуло рукавами: ряса была действительно надета в рукава. Но все же на постели ничего определенного не намечалось.

— Господи, что же это такое? — беспомощно и с тоской спросил Никодим, вынул часы и поглядел на них: был на исходе третий час.

— Ничего особенного, — ответило существо, — ты не беспокойся, я ведь умею и определиться. Только ты поговори со мною подбрее.

— Как же подбрее поговорить? Определяйся скорей. Право, я устал. Или уступи мне постель — я лягу спать.

— Нет, погоди! Как же я определюсь так, сразу. Ты лучше реши, каким я тебе больше понравлюсь?

— Ты смеешься надо мною, — пожаловался Никодим, — ты для меня во всех видах хорош.

— Ну тогда я тебе помогу, — сказала существо. — Погладь меня по головке.

И темное сунулось Никодиму под руку, отчего Никодим опасливо отстранился. Но это что-то уже определенно приняло человекообразные очертания — во всяком случае, сидело на кровати, подобрав к себе ноги и охватив колени руками. Лица сидевшего не было видно: монашеский клобук совсем затенял его, а руки белели неживой белизной.

— Да ты покойник! — воскликнул Никодим.

— Нет, — запротестовало существо, — я не покойник: я бес.

— Бесы или нечистые духи, — отступая два шага назад и поднимая правую руку для убедительного жеста, возразил Никодим, — бывают или мерзкого вида, или демонического. А таких бесов не бывает. Ты, голубчик, слишком прост, чтобы провести меня.

— Я проведу тебя, когда мне понадобится. Если же ты мне не веришь, что есть бесы несколько иные, чем ты полагаешь, то еще раз прошу тебя: погладь меня по головке.

— А что же у тебя там?

— Рожки, самые настоящие.

И существо скинуло с себя клобук (но лицо его от этого вовсе не определилось) и подставило опять голову Никодиму.

Никодим опасливо протянул руку и погладил череп

сидевшего: действительно там намечались рожки — маленькие, совсем телячьи.

— Вот как! — сказал он удивленно.

— А это что, по-твоему? — хвастливо заявил бес и, спустив одну ногу с кровати, постучал ею по полу. — Видишь?

Никодим нагнулся, посмотрел: копытце, совсем козлиное.

Существо опять подобрало ногу:

— Теперь веришь? — спросило оно.

— Да, — убежденно ответил Никодим, — верю. Я не столь уж наивный человек, чтобы можно было поймать меня на неверии.

— Вот это мне нравится! — заявило существо, ударяя себя ладонью по колену. — Вот это мне нравится! Но, однако, я надул тебя самым бессовестным образом: рясу я в рукава не надевал, а только прикрылся ею — смотри!

И с этими словами существо подпрыгнуло на постели, а ряса упала к его ногам.

Никодим отскочил в сторону кресла, существо же повернулось, стоя в постели, три раза на одной ножке.

Если бы ряса, свалившись, открыла под собою какую-либо другую одежду — Никодим, возможно, и не поразился бы до такой крайности, как он поразился тогда, увидев существо нагим. Но вместе с тем он разглядел его с головы до пяток.

Во-первых, у существа появилось лицо. Это было странное лицо и странное от всей необыкновенной головы, суживающейся кверху, а не книзу, с сильно выпяченным и даже загнутым толстою кромкой подбородком; притом подбородок лиловел и багровел вместе, а нижняя челюсть составляла половину всего черепа; рот у существа расположился не поперек лица, а вдоль, под едва намечающимся носом и глазами без бровей, будто нарисованными только, рот этот по временам старался придать себе законное положение и растягивался вправо и влево, но от этого становился только похожим до чрезвычайности, до смешного, на карточное очко бубновой масти; на голове у существа не было вовсе ни курчавых волос, ни рожек — лысина розовела и подпиралась тоже голым затылком, с двумя толстыми складками, шедшими от шеи и сходящимися углом на середине затылка; зато туловище было снизу густо покрыто волосами.

Собственно туловище это особенно заслуживает описания: оно не было противно на вид — даже, напротив, довольно приятно: белого, свежего цвета, с лиловатыми жилками, просвечивающими сквозь кожу; сзади к нему, там, где начинались ноги, прицепился какой-то мешок, а может быть, и не прицепился, а составлял неотъемлемую принадлежность существа; и в этом мешке что-то болталось — словно арбузы какие, — будто весьма ценное для существа, но возможно, что и ужаснейшая дрянь. Ноги и руки существа были смешны — словно надутая гуттаперча, а не тело: совсем как те колбасы и шары, что продаются в Петербурге на вербном торге. Несомненно — конечности существа выдумал кто-то потом: они решительно не шли к своему хозяину.

В теле существа не чувствовалось костей: однако, оно не было и дряблым, только совершенно свободно перегибалось во все стороны. Никодиму стоило большого труда не рассмеяться при виде всего этого. Но существо, повернувшись три раза, остановилось, плотно закрыло рукой свой рот и надуло щеки, а вместе со щеками надулось и само: стало прямым, высоким, твердым — словно кости в нем вдруг появились.

Надувшись, оно спрыгнуло с кровати и стало перед Никодимом в позу. Лицо существа сделалось совсем багровым.

«В разговорах с ним я, кажется, зашел слишком далеко?» — подумал Никодим, но существо крикливо

спросило его:

— Каков я?

Никодим думал и молчал.

— Я тебе нравлюсь? — переспросило оно.

— Да... нравишься, — ответил Никодим робко, нерешительно.

— Я очень богат.

— Вот как!

— Да! И мне очень неудобно стоять перед тобой голеньким.

— Оденься. У тебя ряса лежит на постели.

— Я не хочу рясу, — закапризничало существо.

— А чего же ты хочешь? У меня ничего нет для тебя.

— Мне твоего и не нужно. Ты сунь руку под подушку.

Никодим послушно сунул руку под подушку и нащупал там какой-то сверток, но не решался его вытащить.

— Тащи! — скомандовало существо.

Никодим дернул. Упавшие концы выдернутого развернулись. Это были очень яркие одежды.

— Хороши тряпочки? — спросило существо. — А ну, дай-ка мне прежде ту, красненькую.

Красненькая оказалась широчайшими шароварами совсем прозрачными, перехваченными у щиколотки и выше колена зелеными поясками с золотом и лазоревыми сердечками в золоте; шаровары были сшиты из материи двух оттенков красного цвета, нижняя часть, до поясков у колен, была пурпуровая с рисунком в виде золотых четырехугольников, заключавших зеленую сердцевину, — четырехугольников, очень схожих по очертанию — странно! — с недоумевающим ртом самого существа и расположенных также, как его рот, — острыми углами кверху и книзу; верхняя часть шаровар от колена до пояса огневела кинováрью, и рисунка на ней не было.

Никодим, развернув одежду, с изумлением рассматривал ее.

— Одевай! — снова скомандовало существо и, подняв свою правую ногу, протянуло ее к Никодиму.

Никодим покорно натянул штанину на ногу.

— Другую!

Никодим натянул и другую и завязал пояс.

— Теперь лиловенькую, — сказала существо уже более добрым голосом и почти просительно.

Никодим поднял лиловенькую: это была курточка-безрукавка с глубоко вырезанной грудью и спиной; золотые полосы, чередуясь с зелеными, расходились по ней концентрически от рук к середине спины и груди.

Облачив существо в курточку и застегнув ее на золотые пуговицы, Никодим уже сам, без приказания, поднял и зеленые нарукавники — закрепил их, затем взялся за головной убор в виде лиловой чалмы с пурпуровым верхом, лиловым же свешивающимся концом и зелеными с золотом охватами — повертел ее в руках, прежде чем надеть на существо, и надев, пошарил еще под подушкой: там нашлись туфли — также лиловые с зеленым узором.

Существо предстало облаченным. Наряд был замечательно хорош, но существо рассмеялось, прыгнуло на кровать, подхватив лежавшую там рясу, накинуло ее на себя и чалму попыталось прикрыть клобуком; однако, клобук был слишком мал, а чалма велика — тогда оно, спрятав чалму за пазуху, багровую лысину украсило скромным монашеским убором.

Никодим все это наблюдал молча, но вдруг ужасно рассердился и в яром гневе сделал шаг к кровати. Существо заметило то страшное, что загорелось вдруг в глазах Никодима — оно жалобно пискнуло, перепрыгнуло за изголовье, в темный угол и, присев, спряталось за кроватью. Никодим шагнул туда, загля-

нул в угол — там ничего не оказалось; заглянул под кровать — тоже; подошел к печке и пошарил в ней и за нею — никого!

ГЛАВА XX

Недоумевающий послушник.

— Медный змий.

Против двери Никодимовой кельи под утро появился монашек-послушник. Выйдя из бокового коридора, он дошел только до той комнаты, где спал Никодим, остановился и хотел заглянуть в комнату сквозь замочную скважину, что ему не удалось, так как скважина была закрыта вставленным изнутри ключом; вздохнул, повернулся раз-другой кругом и сел тут же у двери на низкую скамеечку.

Но его, видимо, что-то беспокоило, и ему плохо сиделось на месте. Не просидев и минуты, он опять встал и, пройдя несколько раз по коридору нелепой подпрыгивающей походкой, изобличавшей в обладателе ее человека нервного и раздрганного, снова припал к двери Никодимовой кельи уже ухом и, вероятно, услышав за дверью шаги по направлению к ней, мячиком отскочил в сторону и скромненько прижался к притолоке другой двери, по левой стороне коридора.

Никодим толкнул дверь и, очутившись на пороге, увидел перед собою довольно странное существо. Послушник этот был высокого роста, с очень крупной головой, но узкоплечий и худосочный; слабые руки беспомощно повисали вдоль его туловища и белели неестественной белизной; лицо послушника было даже еще безусо, подбородок значительно выдавался вперед, глаза без бровей и маленький вздернутый носик робко выглядывали исподлобья; жидкие, светлые волосики, насквозь пропитанные лампадным маслом, слипшимися прядями выбивались из-под клобучка, прикрывая плоские приплюснутые уши, а рот, постоянно полуоткрытый, придавал всему глупому и неприятному лицу с кожей, слегка сморщенной преждевременной старостью, вид недоумения. Затаканная ряса, облекавшая послушника, была порвана в нескольких местах, но тщательно заштопана, а ноги были обуты в невероятно большие сапоги с острыми, длинными носками, надломленными и загнутыми кверху...

Послушник смотрел на Никодима, а Никодим внимательно разглядывал послушника. Никодим, наконец, спросил его:

— Вы — рясофорный?

— Да, рясофорный, — ответил послушник заискивающе, — под началом у отца Дамиана.

— Ах! — обрадовался Никодим, услышав имя старца. — Так, может быть, отец Дамиан вас за мною прислал?

— Нет, — переминаясь с ноги на ногу, сказал послушник, — я так...

— Войдите ко мне, пожалуйста, — пригласил его Никодим, отступая в келью.

— Да, нет, благодарствуйте, — стал отнекиваться послушник, — зачем же...

— Я хочу поговорить с вами, — заявил ему Никодим.

Послушник вошел, но дверь за собою не притворил и опять скромно прислонился к притолоке.

Никодим молчал, не находя, как приступить к разговору. Первым заговорил послушник, но с большим трудом и, видимо, стесняясь говорить о том, о чем хотел спросить.

— Я вчера случайно ваш разговор слышал... с отцом Дамианом, — начал он.

— Как же вы могли его слышать?

— А я тут налево в коридорчике сидел... я за отцом Дамианом присматриваю... отец архимандрит приказали... стар отец-то Дамиан очень.

Никодиму это не понравилось.

— Разумеется, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — вы никому не будете говорить о том, что слышали.

— Разумеется, — подтвердил послушник.

— Действительно, отец Дамиан уже стар и многого не в состоянии понять, — продолжал Никодим, — например, думать, что, скрывая по долгу духовного лица известное ему о моей матери, он поступает хорошо, — не следует. Он должен был открыть мне все, чтобы дать мне необходимые нити.

Никодим чувствовал, что говорит ужаснейший вздор и даже не то, о чем думает, и не так, как хочет. Но самый вид этого противного послушника толкал на невольную ложь.

Понял ли послушник отношение Никодима к нему (кажется, понял!), но он сказал:

— Вы вот, вероятно, думаете — извините за откровенность, — зачем отцу Дамиану понадобился подобный ученик?

— Почему же вы так решили? — горячо возразил Никодим. — Я кажется, не давал повода полагать, что так думаю?

— Вы меня не совсем поняли, — поправился послушник, — отец Дамиан хотя и строгой жизни человек, однако, предпочтение-то красивенькому отдает. А я-то куда же гожусь? Весьма невзрачен.

Он нерешительно ухмыльнулся.

— Ах, что вы! — горячее прежнего воскликнул Никодим. — Такие мысли меня совсем не занимали. Ведь мы же собирались с вами побеседовать — а разве это беседа выходит?..

Никодим поглядел послушнику прямо в глаза, но в них ничего не увидел: они были будто стеклянные.

— Видите ли... — начал тот тихо и еще нерешительнее прежнего, — после того... как отец Дамиан отошел... вы пошли в комнату... и там что-то говорили...

— Я говорил? Вы ошибаетесь, — удивился Никодим, совершенно не помнивший, чтобы он говорил ночью с кем-либо, кроме отца Дамиана, и видел еще кого-нибудь.

— Правда, говорили.

— Может быть, во сне говорил? Я часто говорю во сне.

— Нет! Это не могло быть во сне. Я слышал два голоса.

— Вам, вероятно, почудилось. Ни во сне, ни наяву я не умею разговаривать в два голоса...

— Я не мог ошибиться, — возразил послушник хотя опять тихо, но твердо. — Говорят, что в этой келье живет бес, — добавил он.

Никодима эти слова будто ударили: он вдруг вспомнил вчерашний шорох за печкой и свое предположение, что там шуршит не иначе, как бес.

— Живет бес! — повторил он за послушником.

— И меня это крайне интересует, — продолжал послушник, — я потому к вам и обратился, что полагал...

— Полагали, что я с бесом разговаривал и видел его?

— Да.

— Вы ошиблись: беса я не видел и с ним не разговаривал, но почему-то безотчетно думал о нем, когда вошел в келью. И, кроме того, слышал за печкой дважды шорох.

— Ну вот видите, шорох! Значит, это правда, — заторжествовал послушник. — Нет, вы скажите мне, — он приблизился к Никодиму и зашептал ему на ухо, — правда, что вы говорили с бесом?

— Зачем вам это?

— Так... я вам потом объясню...

— Вам не придется объяснять: я беса не видел.

Послушник отодвинулся к той же притолоке и, приняв вид безразличный, сказал уже по-иному, бахвально и нагло:

— Весело у нас в монастыре. Особенно, когда исповедуются.

— Почему же весело? — спросил Никодим с гадливостью.

— Я ведь все слышу. Слух у меня отменно развит. В одном конце церкви исповедуются, а я с другого слышу. Ну, конечно, когда мужчины исповедуются, так это не очень интересно: мужчина ведь известен со всех сторон, он как на ладони — всякому виден. А женщины — дело другое; особенно, когда из города дамы приезжают. Вкусно!

И даже языком прищелкнул. Никодим сурово молчал.

Послушник еще попереминался с ноги на ногу и, уже увлекаясь своей новой ролью лихого и бывалого человека, причмокнул и заявил:

— Пикантно! Вы тут пожили бы — я вас многому научу. Я знаю откуда хорошо подслушивать. Такие вещи приходится слышать, что просто диву даешься; знаете ли, есть крылатое слово: век живи — век учись; я, как попал в монастырь, особенно глубоко стал эту пословицу чувствовать.

— Послушайте, — задал ему Никодим вопрос, — откуда вы такой, что у вас вот эти слова: пикантно, дамы?..

— Я из дворянской семьи. Наш род древний и хороший, — не без гордости ответил послушник.

— По вашей наружности судить трудно, и я думал как раз наоборот, — горестно и тоскливо заметил Никодим сквозь зубы, но собеседник его не обиделся.

— Знаете что, — заявил Никодим через минуту, чтобы выйти из глупого и нудного положения, в которое он попал, пригласив к себе этого наглеца, — пойдем на улицу: я хочу подышать свежим воздухом; у меня болит голова.

Они вышли задним крыльцом на монастырский двор, к кузнице и бочарне и прошли к голубятне. Никодим шел впереди, послушник в расстоянии одного шага от Никодима, внимательно рассматривая спину своего спутника. Никодим это рассматривание отлично чувствовал, и на душе у него становилось все гадливее и гадливее, но он не находил в себе силы отогнать или даже просто отшвырнуть от себя этого человека... Никодим, наконец, не выдержал и, круто повернувшись, столкнулся со своим спутником.

Тот охнув, спросил по-старому робко, нерешительно:

— Я вам надоел?

— Да! Надоели, — закричал на него Никодим, — оставьте меня одного — я хочу ходить без вас!

Послушник поклонился и покорно отошел в сторону... Как раз один из монастырских служек перед тем взобрался на голубятню по лесенке и с диким криком, на глазах Никодима, махнул по голубям тряпкой, привязанной к палке; ворковавшие до того голуби с шумом снялись и, взмывая к небу, красивой стаей залетали.

Никодим остановился, чтобы поглядеть на них и опять почувствовал, что кто-то за его спиной снова рассматривает его.

«Опять этот проклятый», — подумал он и обернулся, чтобы отогнать назойливого послушника. Послушник действительно стоял еще здесь, но в сторонке и не глядя на Никодима; приподнятое лицо его было безразлично, а полураскрытый рот придавал ему все то же недоумевающее выражение. За спиной же Никодима оказался русокудрый молодец, в синей поддевке, подпоясанный пестрым кушаком, в плисовых шарова-

рах и пахучих смазных сапогах,— словом, человек вида совсем не монастырского. В правой руке он держал письмо и, кланяясь, протягивал его Никодиму, а левой придерживал у пояса фуражку-московку.

Конверт был надписан женской рукой, и почерк Никодиму нетрудно было узнать. В записке было немного слов: «Наконец-то я узнала, где вы находитесь. Приезжайте. У меня сегодня праздник. Посылаю за вами автомобиль. Ирина».

Случаю поскорее уехать из монастыря Никодим был рад. Прочитав записку, он сказал: «Здравствуй, Ларион. Как живешь?». И, не дождавшись ответа, добавил: «Поедем. Надень фуражку».

Быстро сбежали они под горку, к паровой пристани и пробрались сквозь густую толпу богомольцев на паровоз, готовившийся к отходу в город.

Когда через час с чем-нибудь пути они вышли в городе и молодец махнул фуражкой, из-за гущи народа, к ним навстречу, рывкнув в изогнутую медную трубу, подкатил черный автомобиль.

— Медный змий,— услышал рядом с собою Никодим знакомый голос и, оглянувшись, увидел, что на сиденье к шоферу забирается знакомый послушник.

Шофер протягивал ему руку, чтобы помочь сесть.

— А вы зачем здесь? — удивился Никодим.

Послушник поставил на землю занесенную уже было ногу и, обернувшись к Никодиму, вытянул руки по швам, опутив глаза.

Никодим продолжал глядеть на него вопросительно.

Послушник помялся с видом уже знакомым Никодиму и сказал:

— Да я так... я думал, что вы ничего не скажете... мне, право, очень нужно...

Никодим до крайности смутился от этой сцены и, чтобы замаять ее перед Ларионом и шофером, сказал неотвязчивому послушнику:

— Конечно, если вам нужно... Я рад... и о каком это медном змие вы говорили?

— А вот об этом,— радуясь тому, что положение разрешилось столь благоприятно для него, ответил послушник и, указывая на медный автомобильный гудок, погладил его ласково рукой. Гудок был сделан в виде змеи с широко раскрытой пастью.

ГЛАВА XXI

Странная встреча под холмом.

Автомобиль тронулся. Выбравшись на дорогу и прибавив ходу, путники проскочили две-три городские улицы и скоро очутились на пыльном шоссе. Имение Ирины находилось от города верстах в ста с лишним, но машина была сильная и легко давала хороший ход.

Молодца в поддевке Никодим посадил с собою рядом. И Ларион всю дорогу старался занимать Никодима, рассказывая ему о том о сем, передавая всякие сплетни, слухи и новости. Но Никодим плохо его слушал, а больше глядел на шофера, который, весь отдавшись своей работе, сидел, наклонившись вперед, и не сводил глаз со стелющейся перед ним дороги. Сидевший рядом с шофером послушник также молчал и тоже глядел вперед...

Ларион сыпал словами без умолку; поговорить с новым человеком было его слабостью: обо всем рассказывал он, что ни встречалось по дороге — где кто живет, как живет и что делает. У Лариона было достаточно остроумия, кроме того, была в нем и особая благовоспитанность, прикрывавшая природное ухарство,— благовоспитанность, свойственная всем людям, служившим у Ирины.

Уже подъезжая к имению Ирины, Ларион указал рукой вправо на разные сгрудившиеся за леском по-

стройки и сказал:

— Здесь генерал Краснов живет. Богатое имение. И голубятни у генерала — страсть!

Автомобиль в ту минуту шел тихо — здесь по дороге все попадались горки и без осторожности легко можно было скатиться в канаву.

— Эвона сколько голубей на дороге! — сказал шофер, указывая перед собою, когда автомобиль только что взобрался на одну из таких горок.

Никодим заметил, что послушник наклонился к шоферу и что-то сказал ему.

— Что вы говорите? — спросил Никодим.

— Да они,— ответил шофер за послушника,— говорят, что хорошо бы этих голубей пугнуть машиной с разбегу.

— Зачем же? — взмолился Никодим.

Но было уже поздно. Шофер дал полный ход, и резкой руладой загудел гудок. Автомобиль дико врезался в голубиную стаю, и она, поднявшись с дороги, испуганно метнулась в разные стороны. Один миг — и автомобиль проскочил, но резкая рулада оборвалась на середине. Шофер застопорил машину так, что все подпрыгнули на местах, и, остановив ее на перекрестке дорог, у проселка, соскочил прочь.

— В чем дело? — спросил Никодим.

— С гудком что-то неладно,— ответил шофер, сунул в змеиную пасть руку и голосом, полным сожаления, добавил:

— Ах вот оно что! И дернула же его нелегкая. Надо было.

На руке у него в последних содроганиях трепыхался белый голубь, закинув головку и раскрыв клюв; распростертые крылья его беспомощно упали.

— В трубу попал! — удивленно и с досадою в голосе пояснил Ларион.

Шофер подержал птицу в руке и откинул ее в сторону. Но человек в поддевке сказал:

— Нехорошо, не полагается так! — Соскочил прочь, бережно поднял голубиный труп, поправил крылышки и подул голубю в раскрытый клюв.

Никодим тоже почувствовал, что нехорошо.

— Не поеду я с вами,— заявил он, слезая на дорогу. Вместе с ним вышел и послушник.

Ларион и шофер воззрились на Никодима.

— Да как же так, барин,— обиделся Ларион,— мы тут непричинны. Скверную штуку выкинули — верно. А все он.

И злобно ткнул пальцем в сторону послушника.

— Чем же я виноват! — попытался тот оправдаться.

— Тем! Советчик нашелся. Забавляй его на свою шею,— выругался шофер.— Кабы вы, барин,— обратился он к Никодиму,— сразу сказали, что не след,— разве я погнал бы? А этот — черт! Еще монахом вырядился.

— Я не поеду с вами,— еще раз повторил Никодим.

— Куда же вы теперь одни-то? — спросил Ларион, боясь, что поручение, данное ему Ириной, он уже не выполнит.

— Я пешком пойду,— ответил Никодим,— отсюда недалеко осталось — укажите мне только дорогу: направо или налево.

— Налево, барин,— сказал шофер,— вот проселком и пойдете — никуда не сворачивайте. Дорога-то хорошая — живо доберетесь.

Никодим махнул им шляпой, и они отъехали. Он же свернул на проселок и, отойдя немного, оглянулся: автомобиль остановился опять на пригорке, но Никодим еще раз помахал шляпой, чтобы не дожидались и ехали; шофер дал ходу; послушник попытался вскочить в автомобиль — Ларион с силой оттолкнул монашка, и монашек растянулся на дороге. Никодим, не оглядываясь более, пошел своим путем...



Но дорога оказалась очень длинной: перебегая с горки в ложинку, из ложинки на горку, между засеянных полей и журчавших ручейков, она ложилась многими извилинами, и казалось, конца-краю ей не будет. И только одно утешало путника: вся она, до горизонта, виднелась глазу.

И за многими ее поворотами Никодим увидел вдали человеческую фигуру, одиноко и неподвижно стоявшую на дороге, у сосновой рощи. Он не мог разобрать — мужчина это или женщина, но проходил пригорок за пригорком, ложинку за ложинкой, а фигура все оставалась в одном положении, как он сперва увидал ее — немного запрокинув голову и забросив руки на затылок.

«Кто же там? — подумал Никодим. — Наверное, кто-то ждет меня. Да не может быть!»

И у него уже не хватило терпения идти этою далекой, причудливо лежащей дорогой — он бросился почти бегом, напрямик, через пески и вспаханные поля, думая только об одном — как бы не потерять из глаз увиденную вдали фигуру. Пробежав больше половины расстояния, он выбился из сил в глубоких песках и волей-неволей должен был вернуться на прежний путь. Последняя часть пути ложилась сплошь через бугры, Никодим то и дело нырял между ними, и, когда оказывался наверху — опять перед ним вставала фигура в неменяющемся положении: с головою, запрокинутой ввысь, и руками, заброшенными на затылок.

Расстояние все уменьшалось. Последний раз Никодим сбежал в заросший лозняком овражек и, когда поднялся вверх, очутился с фигурой уже лицом к лицу и вскрикнул от изумления.

Перед ним оказался вовсе не живой человек, а фигура нагой женщины, вырезанная из дерева, и нельзя было сомневаться в том, что образцом для нее послужила госпожа NN.

Вырезана же она была из желтоватого, хорошо полирующегося дерева: слои древесины то расходились по ней частыми ровными полосками, то разнообразно и причудливо уширялись на сгибах; нельзя было и подумать, что это не скульптурное произведение — глаз не замечал шарниров или скреплений — все казалось сделанным из одного куска, и только сквозь искусно проделанные отверстия выдавались и дышали живые женские груди, но дерево было так хорошо пригнано к ним, что не каждый раз при выходе показывались щели между деревом и живым телом.

В молчании, чувствуя, что колени у него подгибаются, слабей, Никодим простер руки к фигуре — как бы желая осязать ее и вместе боясь притронуться к ней. Но тут он заметил в фигуре движение и жизнь.

Тогда Никодим вскрикнул и опустился на одно колено — фигура же переступила на месте, но не изменила положения головы.

И в тот же миг Никодим услышал за своей спиной отвратительный визг. Темное и нескладное вылетело (именно вылетело) из-за его спины и бросилось к ногам фигуры, обнимая их. Это был не кто иной, как послушник.

— Madame, madame! — визжал он, захлебываясь в зверином восторге. — Если бы вы меня поняли! Если бы позволили мне высказаться, излить перед вами мою душу!.. Нет! Нет! Нет! Вы способны, но вы не хотите!.. А я хочу вам сказать...

— Оставьте, — сказал Никодим брезгливо, поднимаясь с колена. — Я еще не знал, что вы такая дрянь и притом решили неотступно следовать за мной.

Но послушник не обратил на него внимания и по-прежнему лобызал деревянные ноги.

Голова фигуры в ту минуту склонилась, и руки фигуры высвободились. Досадливо она отстранила послушника, пошевелила деревянными губами и, повернувшись, пошла к лесу.

Низко свисающий сосновый сук загородил ей дорогу — она отвела его в сторону и скрылась. Послушник кинулся за ней следом.

Никодим же с мучительным криком бросился на землю и принялся колотить по ней в озлоблении кулаками. Долго ли длилось его исступление, он впоследствии не мог представить себе, но когда он, измученный, затих и лег прямо в дорожную пыль, ползая, закрыв глаза, — поблизости от себя он услышал чей-то шорох.

Подняв голову, Никодим увидел все того же послушника, сидевшего на кочке под кустом и старательно очищавшего от паутины, сосновых иголок и сухих листьев свою потертую рясу.

Никодим, лежа, еще долго глядел ввысь, потом поднялся, подошел к послушнику вплотную и сдернул с него клобук.

Послушник недоумевающе поднял голову.

— Я не знал, что вы такая дрянь, — еще раз сказал Никодим и озлобленно швырнул клобук на землю.

Послушник встал, подобрал клобук и отряхнул с него пыль — все молча.

Никодим пошел дальше — послушник за ним. Никодим обернулся и сказал:

— Исчезните совсем!

Послушник немного отстал, но потом опять нагнал Никодима...

Тогда Никодим изловчился и лягнул его назад, именно как лягаются лошади — прямо в живот. Послушник вскрикнул и упал, но сию же минуту опять



вскочил на ноги и бросился вслед за убегающим Никодимом.

Никодиму стало стыдно своего бегства, он остановился, обернулся и спросил неотвязчивого спутника:

— Что вам нужно?

— Ничего. Нам предстоят еще некоторые интересные встречи. Я эти места знаю. Вы думаете, что здесь обыкновенные места — и ошибаетесь. Я вас очень люблю — иначе я не пошел бы с вами. Без меня вам здесь не пройти.

— Я одно думаю, — ответил Никодим, — что вы большой наглец.

Послушник ничего не сказал и только пожал плечами.

ГЛАВА XXII Дом желтых.

Когда, идучи уже рядом, Никодим и послушник отошли от места встречи со странною фигурой, и сердце Никодима успокоилось, Никодим обратился к своему спутнику с вопросом:

— Что вы обо всем этом думаете?

— О случившемся-то? Видите ли я, разумеется, не вправе иметь какое-либо свое мнение или суждение, не говоря уже...

— Я вас не понимаю. К чему все это вы говорите — о мнениях и суждениях?

— Как к чему? Вы человек вспыльчивый, и должен же я знать наперед — как думаете вы в данном случае, чтобы не получить опять в спину или живот ногой. Приходится в обществе подобных людей оберегать себя.

— Ах так! — рассмеялся Никодим. — Вы ждете, чтобы я извинился перед вами за мой недавний поступок? Я этого не сделаю. Лучше скажите мне, что вы думаете, — я обещаю не бить вас больше.

Послушник помолчал, как бы раздумывая; сорвал две-три желтых травинки и ощипал их. По лицу у него пробегало что-то неопределенное: будто он и колебался и смеялся в душе вместе.

— А показать вам синяк? — спросил он вдруг Никодима.

— Зачем? Ваш синяк на животе? — удивился Никодим. — Нет, мне он не интересен.

— Вам ужасно неловко передо мной, — заметил послушник, — только вы не хотите в том признаться.

Никодим продолжал идти молча. Послушник понял, что нить разговора порвалась, и постарался исправить положение.

— Как вы думаете, — спросил он, — действительно это была только деревянная фигура?

— Нет! — ответил Никодим, не оборачиваясь к со-

беседнику, смотревшему на него. — Это была госпожа NN.

— Я догнал ее в лесу, — возразил послушник, — и ущипнул — настоящее дерево.

— Вы что же из любопытства ущипнули? И разве я просил вас догонять ее?

Послушник остановился, удивленный. Остановился и Никодим, но по-прежнему, не оборачиваясь к послушнику.

— Почему же, — спросил послушник, выделяя каждое слово, — вы полагаете, что я обязан спрашивать вас о всех моих поступках и действиях? Вы, должно быть, не в полном уме, милостивый государь.

Никодим усмехнулся, не меняя положения.

— Госпожу NN я так же хорошо знаю, как и вы. Даже лучше. Притом она оказывает мне более предпочтения, чем вам.

Никодим вздрогнул и повернулся всем телом.

— Как? — сказал он, задыхаясь. — Вы смеете здесь, в моем присутствии, упоминать вашим дрянным языком имя госпожи NN. И откуда вы ее можете знать? Я вас побью еще раз.

— Вы же обещали меня не бить, — возразил послушник, опасливо отстраняясь и загораживая лицо рукой.

— Успокойтесь. Бить вас я не буду. Идем дальше — мне нужно торопиться.

И, сказав это, Никодим решительно зашагал. Послушник снова засеменил с ним рядом.

Через сто шагов он опять заговорил.

— Я обещал вам интересную встречу.

— Мне некогда, — отрезал Никодим, — еще засветло я должен добраться до имения.

— Мы не задержимся. Это совсем рядом. Тут при дороге — стоит только отойти пятьдесят сажен и вы увидите.

Никодим вынул часы, поглядел на них и сказал:

— Ну, если действительно пятьдесят сажен, я могу доставить вам удовольствие провести меня до места. Ведите.

— Вы не бойтесь. Я вам ничего дурного не намерен сделать и не собираюсь вовсе отплачивать за тот удар ногой и за непочтительное обхождение со мною...

— Что же за диковина там, которую вы собираетесь мне показать?

— А вот увидите. Вы не будете жалеть.

— Ведите! — окончательно решился Никодим.

— Сюда! — указал послушник на тропинку, уходившую влево, в старый лес.

Они перепрыгнули через канаву и вошли в чащу старых и молодых елей: там едва можно было пробраться. Но действительно, пройдя с полсотни сажен,

они очутились на поляне: дальше пути не было — тропинка обрывалась на берегу пруда, заливавшего почти всю поляну.

Пруд по краям зарос высоким и частым камышом, а посередине его возвышался островок, и на нем стояла хижина в одно окно, крытая еловыми лапами, перевязанными веревками и в нескольких местах придавленными осколками кирпича. Из трубы выходил сизый дымок... Но людей на островке, мостика к нему или челна на пруду не было видно.

— Нам нужно попасть туда, — пояснил послушник.

— Как же мы туда попадем: вброд или вплавь? — спросил Никодим.

— Я знаю как! — досадливо ответил послушник и пошел в обход пруда; Никодим последовал за ним.

Перейдя на другую сторону, послушник вошел в камыши: там, осторожно их раздвигая, он очутился у самой воды, взглянул вправо, влево и, высмотрев чурбанчик, прыгнул на него; с чурбанчика перескочил на кочку и затем уже на какую-то мостовину, уходящую под ногой в жидкую грязь и в воду. Никодим не отставал от своего спутника ни на шаг...

Путники переправились через узкий проток и снова оказались в камышах, росших уже по берегу островка; через десяток прыжков они оказались и на самом острове.

— Недурное упражнение, — заметил послушник, — прямо испытание на ловкость. Вы промочили ноги?

— Ничего! — буркнул Никодим.

Послушник направился к хижине. Тут заметили они на острове первое живое существо: огромную, совершенно черную кошку с большими желтыми глазами, лениво гревшуюся на припеке. Но она не обратила на пришедших внимания.

Постучав в дверь дома и не получив ответа, послушник сам отворил дверь в хижину. Через его плечо Никодим увидел на полу хижины человека, сидевшего, поджав под себя ноги калачиком. За человеком возвышалась, перегораживая хижину пополам, огромная высокая ширма, почти до потолка. В хижине было довольно светло — все можно было рассмотреть.

На семи створках ширмы по светло-коричневому шелку было изображено одно и то же в точном повторении: пушистая кошка, белая в оранжево-коричневых пятнах сидела с четырьмя котятками под кустом темно-красных шток-роз и любовно смотрела на игру двоих котят — одного совсем черного, другого белого, с коричневыми и черными пятнами; третий, в стороне, весь оранжево-коричневый чесал лапкой за ухом, а четвертый, белый с черными пятнами, смирно сидел рядом с матерью. За ширмой кто-то шевелился и шуршал, должно быть, соломой.

Рядом с человеком на полу стояла пара фарфоровых сосудов и корзинка, плетеная из лучины, прикрытая куском китайской материи, очень красивой, но грязной и затаканной: темно-синие цветы ложились на ней по голубому полю. Сосуды же были весьма замечательны: первый в виде вазы, с горлом, расписанным по бледно-синему полю оранжевыми цветами, с выпуклым изображением, внизу у самого основания, многочисленной группы людей: там, впереди всех, по темно-зеленой траве выступал чернобородый китаец, обнаженный до пояса; воздевая правую руку, он нес в ней голубовато-зеленый плод; на китаец была надета светло-зеленая широкая одежда, из-под нее выглядывала красная юбка и белые башмаки; дальше выступали в разноцветных одеждах другие, но всех их Никодим не мог рассмотреть... Второй сосуд был светло-голубой на черном основании и с черной крышкой над узким горлом; белые цветы покрывали его поверхность, а черный дракон силился выползти из его стенки.

— Интересно? — спросил послушник Никодима.

Только при этом слове сидевший на полу человек поднял навстречу гостям свою голову. На Никодима глянуло хитро улыбающееся китайское лицо. Одет хозяин хижины был в синюю грязную курму и очень чистую белую юбку, черная жирная коса обвивалась вокруг его шеи, на ногах у него были китайские башмаки на толстых подошвах; в руках он держал плетенье из соломы, над которым перед тем работал.

Китаец на лице отобразил большую любезность. Отложив плетенье в сторону и покопавшись в корзине, он вытянул вертушку из пестрой бумаги, протянул ее Никодиму и заговорил, очевидно, предлагая вертушку купить. Но заговорил он на таком ломаном русском языке, что его нельзя было понять. Никодим досадливо отмахнулся.

Одну минуту Никодим из вежливости готов был эту вертушку купить, но почему-то внутренне не мог решиться на такой поступок.

Китаец же, видя, что его не понимают, вдруг заговорил по-французски и довольно сносно. С первым французским словом противная любезность сошла с его лица; Никодим же изумленно раскрыл на него глаза.

— Где вы научились по-французски? — спросил его Никодим.

— Я жил долгое время в Париже, — ответил китаец.

— Откуда вы? Из Китая?

— Нет, я с островов.

— Из Японии?

— Нет, я с островов.

— Но с каких же? С Курильских? С Формозы? Из Индо-Китая? Ведь все острова имеют названия.

— Нет, я с островов, — упорствовал китаец и добавил: — Вы не смейтесь, пожалуйста, над моим товаром.

— Я не смеюсь.

— Нет, вы не хотели купить. Китайский товар — очень хороший товар. Я бедный человек и живу торговлей...

— На что же мне эта детская вертушка, — возразил Никодим, — вы лучше продайте мне вот эти сосуды.

— Сосуды я продать не могу — это мои сосуды.

— Тогда ширму.

— И ширму не могу: это также моя ширма...

— Вот видите: мне у вас купить нечего.

— Купите у меня жену.

— Вашу жену? — переспросил Никодим, не веря своим ушам и пятась к выходу. — Вашу жену? Нет... мне право не надо... извините.

И выскочил наружу, раскланявшись. Послушник вышел за ним и притворил дверь в хижину.

— Купите! — крикнул им китаец еще вдогонку. — Моя жена — ваша жена...

Никодим живо перебрался с островка на берег тем же путем. Теперь уже послушник шел сзади его.

Дойдя до тропинки, Никодим еще раз взглянул на остров и на хижину. Китаец из хижины не вышел, а черная кошка, потягиваясь, пробиралась домой.

ГЛАВА XXIII Китайское растение.

— Зачем вы повели меня к этому китаю? — спросил Никодим послушника уже на дороге.

— Он, во-первых, не китаец, а во-вторых, как вам не надоело самому постоянно обо всех вещах спрашивать: почему и зачем?

Никодим ничего не ответил. Ему показалось забавным, что послушник начинает его учить...

— И еще, — начал опять послушник, — напрасно, по-моему, вы отказались от покупки его жены. Мне, конечно, это не по средствам, а на вашем месте я непременно купил бы.

— Благодарю покорно, — отрезал Никодим, — не хотите ли, я снабжу вас деньгами?

— Вы знаете, — нисколько не смущаясь, продолжал послушник, — в этом есть что-то пикантное, а я очень слаб к пикантному. Ни одного удобного случая не могу пропустить. И, по-моему, он глубоко прав: моя жена — ваша жена. Совершенно безразлично. Я всегда чувствовал тяготение к их восточной мудрости. Восточная мудрость — моя стихия.

Никодим по-прежнему молчал.

— Кроме того, — начал послушник в третий раз, — вы, кажется, не в состоянии видеть важность многого из того, с чем вам приходится сталкиваться.

Самолюбие Никодима было задето.

— Да, — сказал он, — у меня много недостатков, и тот самый, который только что назван вами, — один из досаднейших. А скажите мне — давно этот китаец живет здесь на острове?

— Он не китаец. Он же утверждает совсем другое: вы забыли, что он повторял о своем происхождении?

— А разве вы знакомы с французским языком? Я не предполагал.

— О, да! Французский язык я очень люблю. Французский язык — это моя стихия.

— Много же у вас стихий. Но скажите мне, наконец, если знаете — давно здесь живет этот человек?

— Давно. Лет пятнадцать. Я еще в детстве бывал на этом острове у него. И тогда еще дал этому месту название «Дом желтых» — не правда ли, красиво?

— Красиво. Романтическое название, — криво усмехнулся Никодим.

— О, да, романтическое. Вы верно заметили. Я всегда любил романтическое. Романтическое — это моя родная стихия.

— Послушайте, сколько же стихий в родстве с вами?

— Все, все. Очень много. И говорят, что под домом этого человека есть еще подземелье. Я, конечно, сам не спускался туда и входа не видел, но мне передавали достоверные люди...

Так беседуя, Никодим и послушник незаметно для себя подошли к имению Ирины. Когда они взобрались на последнюю горку, перед ними, среди распаханных полей, из-за густо посаженных лип и дубов, совсем близко от дороги, показалась красная крыша большого помещичьего дома; садовая ограда выбежала к самой дороге, и на валу ограды за живою изгородью они увидели Ирину, махавшую путникам платком; Ларион, конечно, раньше Никодима добрался до имения и успел сказать, какой дорогой пошел Никодим.

Несколько слов об Ирине. Из предыдущего складывалось, что будто бы Никодим был влюблен в Ирину и что она, со своей стороны, также питала к нему некоторые нежные чувства — но возможность подобного предположения необходимо рассеять.

Ирина была полтора-двумя годами моложе Никодима; их все считали большими друзьями с детства, и Никодим часто поверял Ирине такие свои мысли и чувства, которые он другим бы не поверил. Виделись они друг с другом довольно редко. Правда, Никодим иногда, что вполне понятно в людях его возраста и притом еще не любивших, считал себя способным влюбиться именно в Ирину и подчас думал, что он в сущности уже влюблен в нее — на самом деле все это было лишь игрою праздного ума.

Ирина выросла высокой и красивой девушкой, она заплетала в две косы свои темно-русые волосы; одевалась просто, держалась прямо и строго. За год до описываемых событий она потеряла в один месяц отца и мать, и будучи от природы решительной и вместе старшей в семье, смело взялась за ведение хозяйства в имении и повела его хорошо; Ирину окрестные

помещики хвалили; иногда, не считаясь с ее молодостью, заезжали к ней даже советовать.

— Я хотела видеть вас непременно сегодня, — сказала она Никодиму, — у меня праздник. — И покосилась при этом на Никодимова спутника, взглядом спрашивая, кто он такой.

— Извините, — ответил Никодим, — я должен вам представить моего случайного спутника и попросить вас приютить его на ночь.

И вдруг он вспомнил, что не знает, как послушника зовут, что послушник до той минуты, кажется, вовсе и не собирался где-либо останавливаться с Никодимом и не говорил, куда идет.

Но было уже поздно поправляться. Послушник, подбоченясь слегка левой рукой, а в правой держа свой клубочек, принял вид независимый, поклонился и представился:

— Феодул Иванович! — Перед вторым словом он остановился на короткое время; слово «Феодул» произнес несколько растягивая, а «Иванович» очень подчеркивая, причем, вся его фигура и тон, казалось, говорили о желании выразить одну определенную мысль, что вот, мол, другой на его месте, может быть, сказал бы, и даже наверное, просто «Иванов», но что он с такой устарелой манерой произносить отчество не считается и легко позволяет себе говорить «Иванович». Помолчав, он добавил: — Марфушин, — и после второй паузы, — он же Муфточкин.

Сначала Никодим заметил только одно: что буква «ф» входила и в имя и в фамилию послушника, но, вспомнив утренний с ним разговор, вдруг громко рассмеялся.

— Что с вами? — спросила его Ирина строгим и недовольным голосом. Конечно, это казалось ей невоспитанностью.

— Ох! Я не могу! — отвечал Никодим, давясь смехом. — Ох... он мне... сегодня... этот самый... утром... говорил, что он хорошей и древней дворянской семьи... ох... я не могу... вот так семья: Марфушины — Муфточкины!

Послушник поглядел на Никодима искоса и обиженным голосом заметил:

— Не утруждайте себя, господин Ипатьев, смехом: моя фамилия нисколько не хуже вашей.

Смех Никодима сухо и неловко оборвался. Он замолчал.

— Пожалуйста, взбирайтесь сюда, — указала им Ирина на садовый вал, — и пойдемте к гостям.

Когда они очутились в саду, Ирина пошла впереди рядом с Никодимом; послушник шел сзади.

— Что за дрянь вы привели с собою? — спросила Ирина Никодима полупшепотом.

— Ах, не говорите! — отмахнулся Никодим. — Привязался на дороге. Со мною сегодня все несчастья, — добавил он печальным голосом.

— Что такое? — участливо спросила Ирина.

— Ларион, вероятно, вам уже рассказал, почему я не поехал дальше с ними.

— Да! Ларион рассказывал, — ответила Ирина.

Она, видимо, не хотела придавать случаю сколько-либо значения, и Никодим уловил это.

— Какой у вас праздник? — спросил он, меняя разговор.

— Сегодня я досаживаю новый сад, осталось посадить всего три куста, но я хочу посадить их непременно с вами; у меня нынче много гостей, и все уже потрудились — теперь ваша очередь.

Они вышли на площадку, обсаженную молодыми кустами — это был новый сад, он выходил не на дорогу, а в поле и был тоже окопан валом с канавой.

На площадке собрались гости, их было много, и между ними несколько знакомых Никодиму, но уви-

дел он также и неизвестных ему; все с любопытством посматривали на его спутника. Здороваясь с гостями, Никодим подошел к одному человеку, стоявшему совсем в стороне, и вдруг неприятное чувство охватило его при виде нового знакомого: в нем он не мог не увидеть несомненного сходства с Лобачевым.

— Вы не родственник ли Феокиста Селиверстовича Лобачева? — спросил Никодим.

— Нет, — ответил господин брезгливо, — но господин Лобачева я знаю.

Ремесло господина было актерское.

Это Никодиму стало вдруг ясно.

— Вот последние три куста, — указала Ирина Никодиму на садовников, стоявших у вала и державших кусты наготове.

Посадить кусты было делом нескольких минут. Окончив работу и радостно вздохнув, Ирина сказала:

— А здесь моя пещера. Только вход в нее не из сада, а с поля. — И, сказав, взобралась на вал и резво спрыгнула в канаву.

Никодим спрыгнул за нею.

— Знаете, — заметил он деловито, заглядывая в пещеру, — мне кажется, что верх вашей пещеры скоро обвалится — особенно, если будут много ходить по валу. Отчего вы не сделали в пещере свод из кирпичей?

— Глупый! — ответила весело Ирина. — Какая же это будет пещера, если потолок в ней сделать кирпичный: ведь будет похоже тогда на погреб. Лучше посадить сверху каких-нибудь кустов, и через кусты уже никто не будет ходить.

Никодим смутился от своей несообразительности. В ту же минуту за его спиной кто-то заговорил на ломаном русском языке: по голосу Никодим сразу узнал китайца, с которым только что виделся.

Обернувшись, Никодим сказал:

— Ах, это вы!

Китаец, признав Никодима, перестал говорить. В руках он держал пеструю бумажную вертушку, снова предлагая ее купить.

— Спрячьте вашу вертушку, — сказал ему Никодим по-французски, — лучше дайте нам совет — вы, я вижу, толковый человек, — что нам посадить над этой пещерой, а то верх ее обвалится?

Вопрос был предложен в шутку, но китаец принял его всерьез и сказал:

— Китайское растение.

И при этом покачал головою, спрятал пеструю вертушку в свою корзинку, затем покопался в корзине и вытащил оттуда расписанную яркими красками маленькую китайскую коробочку.

— Такое растение вы можете найти только у меня, или вам придется ехать за ним в Китай, — сказал он, не без важности раскрыв коробочку и вытряхнул содержимое ее себе на ладонь.

Ирина и Никодим с любопытством нагнулись, чтобы рассмотреть растение: оно было очень маленькое — вполовину обыкновенной булавы, с белым прозрачным корешком, и два сизых листочка на нем уже распустились чашечкой, а два других, еще не распустившихся, были свернуты в забавный шарик.

— Это растение у нас не будет расти, оно совсем игрушечное, — сказал Никодим с сожалением.

— Будет, — убежденно ответил китаец. — Я честный купец, я никогда не обманывал; оно скоро разрастется и будет большое-большое.

Он показал руками, какое большое будет растение.

Но Ирина уже завладела растением и сказала Никодиму:

— Заплатите ему.

Никодим бросил китайцу монету, и тот, поклонившись, пошел через поле к дороге.

Земля над пещерой была сухая и рассыпчатая. Взоб-

равшись на вал, Ирина разгребла руками маленькую ямку в земле и сунула растеньице в пыль. Затем она позвала садовника и приказала ему принести немного воды и стакан, чтобы прикрыть растение, но когда обернулась — растения уже не увидела. Куда оно могло пропасть — трудно сказать, но оно было таким маленьким, что даже ветерок мог легко унести его.

— Я потеряла растение, — сказала Ирина Никодиму дрожащим голосом, ей до слез было жалко растения.

— Не плачьте, — утешил ее Никодим, — я, быть может, еще найду его.

И стал искать повсюду: на валу, в канаве, около вала, на площадке. Но становилось уже довольно темно, и трудно было что-либо отыскать.

— Догоните китайца, — приказала Ирина, — у него, наверное, есть еще такие растения.

Никодим выбежал за вал, поглядел в поле, вышел на дорогу, дошел до пригорка и посмотрел во все стороны: китайца нигде не было видно.

— Не знаю, куда он мог так скоро уйти, — сказал Никодим Ирине, вернувшись.

ГЛАВА XXIV

Неистовый танцор.

— Лобачевские фабрикатy.

После вечернего чая, сидя на крыльце и охватив колени руками, Никодим рассказывал Ирине о прошедшем дне.

Гости поразъехались, только что за домом простучала на мосту коляска последних, запоздавших. Ночь темнела, и лишь огни из окон дома бросали малый свет на окружающие дом деревья и на дорожки сада. Луны не было. В воздухе, еще теплом, несмотря на восьмое сентября — день Рождества Богородицы, — не раздавалось уже ничьих голосов, замолкших с уходом лета.

Никодим говорил о китайце, о неотвязчивом и загадочном китайце, когда вдруг, на половине рассказа, из мрака, знакомый голос произнес:

— Я люблю Китай: в нем есть что-то родное нам, и я всегда это родственное чувствовал.

— Опять вы здесь! — с досадой воскликнул Никодим. — Как вам не стыдно подслушивать?

Послушник не ответил и не показавшись из мрака. Но по звуку шагов можно было догадаться, что он поспешно и боязливо отошел прочь.

— Вы сегодня, кажется, очень устали? — заботливо спросила Ирина Никодима. — Вам нужно раньше лечь спать. Я скажу Лариону.

Когда через полчаса Никодим, распрощавшись со всеми, собирался уже раздеться и лечь, в дверь к нему постучали.

Он ответил. Дверь отворилась, и на пороге показалась Ирина. Она не вошла в комнату, но только спросила Никодима раздраженным полупшепотом:

— Скажите, пожалуйста, кого вы привели с собой? Какого послушника — разве это послушник?

— Почему же не послушник?

— Пойдите и посмотрите еще раз, если вы его забыли. Прошу вас.

— Я тут ни при чем, — равнодушно ответил Никодим.

— Но ведь вы же его привели? — ответила Ирина возмущенно.

— Я не мог его отогнать.

— Никодим! Как вам не стыдно?

Она говорила так, будто ей было не двадцать три, а шестьдесят три года.

— Ирина, — ответил Никодим, попадая в ее тон, — мне несколько не стыдно. Все на свете делается само по себе и к лучшему.

— Зачем же вы передразниваете меня, — ответила она обиженно, — что же, по-вашему, это хорошо и должно быть для меня безразлично?

За полурастворенным окном на тропинке в это время промелькнуло что-то темное в белом переднике: должно быть, горничная. Сзади за нею кто-то пробежал, и через минуту за кустами раздался визг и смех двоих людей. Пробежавший сзади был несомненно послушник.

Ирина с досадой захлопнула дверь, сказав Никодиму: «Спокойной ночи», — и ушла, явно рассерженная и возмущенная.

«Действительно неприятно, — подумал Никодим, оставшись один, — как это я не мог отделаться от него? Привести такое чучело к своим друзьям и знакомым — прямо неприлично.

Он, мучаясь этим, еще долго не мог заснуть».

А Ирине не спалось. Постель казалась ей жаркой и неуютной, и все чудилось, что по комнатам кто-то ходит. Зажегши свечу и накинув на себя платье, Ирина с огнем вышла из спальни, чтобы осмотреть дом. Проходя мимо зала, она услышала там шорох и заглянула в зал.

При слабом свете свечи, потерявшемся в огромной, высокой с антресолями комнате, Ирина увидела перед собой фантастическое существо. Полуголый человек, одетый с красные шаровары, которые только и выделялись своим цветом в полумраке, в курточку-безрукавку и в темной чалме со свешивающимся концом, неистово, но бесшумно выплясывал по залу совсем особенный танец.

В его танце не было легкости или того, что привычно называют грацией, но тем не менее танец зажигал, подчинял себе, и Ирина сама не заметила, как она, в лад танцу, начала слегка покачиваться.

Танцор откидывал назад туловище и выставлял вперед то одну, то другую ногу, сгибая их в колене, а голову запрокидывал и руки свешивал бессильно позади туловища, с каждым шагом корпус его подкидывался и вздрагивал; так он шел быстро и доходил до стены зала; затем пятился назад уже медленнее, перегибая туловище вперед и руки опять свесив, пятки же высоко подбрасывая в воздух; иногда он хлопал в ладоши, но беззвучно; чалма на его голове тряслась, и свешивающийся конец ее развеивался в воздухе.

Ирину танцор сперва не заметил, но когда она, смертельно перепуганная, бросилась к себе в комнату и вместо того, чтобы скрыться прежним путем, по коридору, побежала через залу — он увидел ее и, не прерывая танца, стремительно пошел прямо на нее и загнал ее в угол. Ирина, пятясь в страхе, оказалась припертой к стене.

Танцор теперь уже поднял руки; стоя перед Ириной и перепрыгивая с одной ноги на другую, он поочередно тыкал в воздух указательными пальцами и в такт этому пел.

Кит-Кит-Кит-Китай,
Превосходный край!
Что ни шаг — масса благ,
Всюду чудеса!

Словом, как в известной оперетке. Но оттого это было и жутко и смешно вместе — и вдруг он стремительно схватил Ирину за руки. Она вскрикнула и уронила свечу — свеча потухла, и в тот же миг Ирина почувствовала губы танцора на своей шее, и у нее мелькнула мысль, что танцор укусит ее, но она ощутила только мерзкий и липкий поцелуй, обжегший ее с головы до ног всю. Танцор вдруг также стремительно отскочил и выбежал из зала.

Ирина, дрожа от страха, на полу отыскивала спички и зажгла свечу. Еле ступая, будто ушибленными нога-

ми, пошла она из зала и на пороге запнулась за грязные сапоги с изломанными носками; сверху их прикрывала черная ряса, но Ирина побоялась тронуть это. С трудом добралась она до своей спальни и до утра не могла заснуть, но никого не позвала и никому ничего не сказала. Она считала, что рассказать об этом можно будет только Никодиму, и потому ждала утра.

Никодим, быть может, в ту же минуту, когда Ирина выбежала из зала, проснулся, и первое чувство, которое охватило его — было чувство неловкости и раскаяния за все сделанное. Ему казалось, что Ирина завтра предложит ему оставить ее дом навсегда, заказав в него вход.

Никодим сел в постели и отер со лба холодный пот.

Он вместе боялся, что послушник теперь ни за что его не оставит и будет везде преследовать.

Одновременно он вспомнил Уокера. Подумал, что Уокер теперь должен уже быть в Петербурге и что следует, не откладывая, ехать туда, чтобы уличить или Лобачева или самого Уокера во лжи и отобрать у них записку господина W.

Он вспомнил еще отца Дамиана и подумал, сколь он глупо приступал к старцу; затем встал, оделся, собрал свои немногочисленные вещи, сел к столу и с торжеством представил себе, как обозлится послушник, когда не найдет его завтра здесь. Стоит уйти только сию же минуту.

Никодим написал Ирине записку: «Извините, что я уезжаю совсем по-особенному: я вспомнил, что мне необходимо как можно скорее повидать одного из моих знакомых. Каждый час дорог — приходится уйти среди ночи. Я скоро буду обратно, через несколько дней заеду к вам. Никодим».

После этого, пересмотрев еще раз свои вещи, он открыл окно и выскочил на дорожку сада.

...Утром он вышел к станции. Она приходилась около большого торгового села, расположенного при судоходной реке, заставленной баржами с хлебом и другими товарами. В селе были две церкви — каменная и деревянная, или новая и старая, как их называли, много лавок и два или три трактира. До поезда было довольно долго. Никодим посидел на станции, но утренняя свежесть давала себя чувствовать, и он пошел в открывшийся трактир.

Людей, сидевших в трактире за столиками и пивших чай, кто с ситным, кто с баранками, было немного числом, но они были разнообразны: в темном углу перешептывались две загорелые черноволосые бабы, снявшие платки и остававшиеся только в повойниках: одна в зеленом, другая в красном; посередине большой комнаты сидело пять или шесть извозчиков в одних жилетках, вполголоса разговаривавших и усиленно дувших на блюдечки...

Сам трактирщик за стойкой перетирал стаканы, ради чистоты, но окна трактира были грязны, с потоками пыли на них от дождя и с радужными пятнами, а углы комнат пауки сплошь заткали паутиной.

Двое половых сидели рядом у стены и подремывали. Когда Никодим вошел в трактир — все сидевшие в комнате обернулись к нему и пристально посмотрели на него, но он проскользнул в меньшую комнату и уселся там в уголок.

Потребовав чаю, Никодим заметил на окне несколько номеров затрепанного журнала. Журнал этот все знают, и где его не встретишь — это был «Огонек».

Никодим скоро пересмотрел все рисунки и перечитал все рассказы и стихотворения. Чай был тоже допит. Никодим взглянул на часы: до поезда оставалось не так долго, но все же идти из тепла на холодную, открытую ветру платформу не хотелось, и можно было еще подождать. Никодим, чтобы убить вре-

мя, стал читать объявления в журнале. Почти первое, что ему попало на глаза, было:

ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНО ДЛЯ МУЖЧИН.

Каталог разнообразных и действительно интересных и полезных предметов собственной фабрики высылается всем желающим в закрытом конверте за 2 семикопеечные марки. Спешите сообщить ваши адреса: Ф. С. Лобачеву. С.-Петербург, Пушкинская ул., д № -, кв. № -.

По бокам объявления были изображены длинноногие молодые люди в шляпах, высоких воротничках и белых манжетах.

— Черт знает, что такое! — выругался Никодим, от всего сердца и так громко, что все сидевшие в трактире невольно к нему обернулись.

Бросив деньги на стол, Никодим поспешно вышел: он не терпел, когда любопытство людей обращалось на него.

«Положительно нужно побить Лобачева; я не в состоянии более переносить все это», — подумал Никодим уже на улице.

Глава XXV

Второе объяснение с Лобачевым.

У станции Никодим уже явно весь переменялся: лицо его, до того хмурое, прояснилось; спина, сгорбившаяся за последнюю неделю, опять выпрямилась, на душе стало просто и приветливо: намерение побить Лобачева отпало само собою и теперь хотелось только поговорить с ним настойчиво и строго. Никодим последнее время не сомневался относительно местонахождения записки господина W — он был убежден, что записка в руках Лобачева, а не у Уокера.

Дверь в квартиру Лобачева в городе утром 10 сентября ему отворил тот же самый слуга, что и в прошлый раз. Ничего ему не говоря, Никодим прошел прямо в кабинет к Лобачеву.

Лобачев сидел за письменным столом, боком к двери, из которой Никодим показался, и, хотя он слышал, что в комнату вошли — не повернул лица, и первое время Никодим только и заметил его профиль.

Никодим в ту же минуту отлично вспомнил, где он этот профиль однажды уже видел — утром, когда после выслеживания чудовищ он возвращался с Трубадуром домой и его нагнал ехавший над обрывом экипаж — в экипаже сидел господин несомненно с этим профилем.

— А-а! — сказал Никодим себе почти вслух, но Лобачев этого не заметил, хотя уже обернулся к Никодиму.

— Здравствуйте, — приветствовал его Лобачев, сметая рукой со стола разный сор прямо на пол, — я знал, что вы сегодня ко мне придете. Садитесь.

«Лжет, что знал», — подумал Никодим, но приглашению сесть повиновался и, подавшись к стенке, присел на стул, выставив вперед руки и положив кисти их на колени, шляпу же свою придерживая двумя пальцами.

— Здравствуйте, Феоктист Селиверстович, — сказал Никодим, немного подождав (он тогда нарочно сделал так), — скажите мне, пожалуйста, не намерен ли сегодня у вас быть господин Уокер?

— Нет, не намерен, — ответил Лобачев совсем просто, — а, впрочем, не знаю, он является и непрошеным и без предупреждения.

— Феоктист Селиверстович! — сказал Никодим, придавая своему лицу определенное выражение непреклонности. — Я не стал бы вас беспокоить; поверьте, у меня нет никакой охоты посещать вас не только так часто, как я посещаю последнее время, но и вообще; однако кой-какие вопросы заставляют меня вас беспокоить.

Лобачев отрывисто спросил:

— Какие же это вопросы? Говорите.

— Да вот, например, о записочке. Записочка-то у вас, а не у господина Уокера, — заявил Никодим очень утвердительно, думая этой утвердительностью поразить Лобачева и тем самым поймать его, и добавил: — В прошлый раз вы мне просто-напросто солгали.

— Это вам Уокер сказал на вокзале — я знаю, — ответил Лобачев, нисколько не поражаясь.

— Откуда вы знаете? — удивился Никодим и даже привстал на стуле.

— Откуда? Сам Уокер мне сказал. Вы же, молодой человек, не знаете, как люди живут, а они живут по-разному. Может быть, Уокер ко мне сегодня приходил, я его хорошенько приструнил, да и давай спрашивать: где ты такой-сякой был, что подделывал? Ну он, приструненный, то все мне чистосердечно и рассказал.

Никодим совсем растерялся: он никак не мог уяснить себе происшедшего.

— Он больше того мне сказал, — продолжал Лобачев, — он мне до тонкости все передал, и как сам меня на вокзале обозвал, и еще как с собою сравнивал.

Никодим почувствовал, что ведется тонкая игра, что главный козырь его уже бит и что, пожалуй, ему у такого игрока, как Лобачев, не отыграться.

— Ловко! — произнес он вслух, действительно желая похвалить Лобачева.

— Ничего не ловко — весьма обыкновенно, — ответил Лобачев, вставая из-за стола и переходя на другой конец комнаты, к диванчику. Он догадался, что Никодим скрыл под своим восклицанием.

— Записку тогда спрятал Уокер, и я вам не солгал, — продолжал Лобачев, — где она теперь — другое дело, а я вам в тот раз указал правильно, и, если вы не сумели отобрать ее от Уокера — сами виноваты.

— Все, что я слышу от вас и от Уокера — только глумление надо мною, — сказал Никодим.

— Как хотите считайте, — ответил Лобачев.

Никодим очень чувствовал всю безнадежность своего положения, но не хотел сдаваться. Упорство в нем загорелось, и в ту минуту он действительно мог убить Лобачева, как обещал когда-то.

— Господин Лобачев, вы знали мою мать? — спросил Никодим с твердостью и сильнейшей настойчивостью.

Лобачев подумал с полминуты и ответил, но так, что Никодим сразу почувствовал лживость ответа.

— Нет, к сожалению, не знал, но много слышал о ней хорошего.

Что Никодим понял ложь — почувствовал и сам Лобачев.

— Вы лжете опять, — сказал Никодим хладнокровно, но еще с большей силой, — лжецом по глупости или глупцом просто я вас считать не могу — скажите мне, зачем вы лжете?

— Как хотите считайте, — повторил Лобачев, но теперь уже он счел себя проигрывающим и вдруг как будто загорелся от боязни быть побежденным в этой игре.

Он вскочил и прошелся по комнате. Наступило неловкое молчание.

— Никодим Михайлович! Никодим Михайлович! — повторил Лобачев дважды, слегка задрожавшим голосом и уселся опять на диван.

Никодим поглядел на него, ожидая продолжения. Но Лобачев молчал и только вдруг заулыбался-заулыбался чрезвычайно доброй улыбкой, совсем по-стариковски, морщинки от его глаз разбежались в обе стороны. Никодим эту улыбку заметил, но не поверил своим глазам.

«Играете, все то же», — подумал он.

— Никодим Михайлович, будьте моим другом, — сказал наконец Лобачев.

Никодим опять от неожиданности привстал со стула.

— Не удивляйтесь, — успокоил его Лобачев, — вы-то меня не знаете, а я вас знаю. Кроме того я вас люблю.

Никодим попятился: он почувствовал, что лучше уйти, но вспомнил о записке, и необходимость остаться превозмогла первое чувство.

— Кроме того я перед вами глубоко виноват, — заговорил опять Лобачев, — записка у меня — теперь: раньше она была у другого лица; вы не волнуйтесь: вы скоро ее получите, а пока погодите, вам ведь известно только то, что в записке стоит, а то, что таится в ее словах и за ними, — для вас остается закрытым. И я должен вам кое-что пояснить.

Голос Лобачева в начале речи опять дрогнул и затем зазвучал вдруг особенно глубоко и задушевно. Кроме того вместе со словами из груди говорившего что-то запело (этого Никодим не мог не заметить) — сначала как флейта, а затем подобно медной трубе.

— Что, что с вами? — спросил Никодим удивленно.

Феоктист Селиверстович застыдился вдруг, будто его поймали на чем-то нехорошем, и смущенно принялся мять концы носового платка.

— Не обращайтесь внимания, — произнес Лобачев, наконец, через силу, — иногда у меня все меняется. К сожалению, я не могу вам рассказать полностью, что хочу и что следовало бы! Мне очень трудно, вы не поверите; вам покажется, что Лобачев — дерзкий и наглый человек, не привыкший где бы то ни было и когда бы то ни было стесняться — и вдруг смущен, мнется, будто красная девушка — что в этом несообразность. Но я вот мучаюсь, я смущен, я виноватым себя чувствую не только перед вами, но и перед всею вашей семьей.

Лобачев опять сел к столу, охватив голову руками. Теперь уже Никодим стал ходить по комнате. Он не мог понять, что с Лобачевым: к Лобачеву все то, что он сейчас проделал и сказал, решительно не шло.

Никодим очутился у двери, остановился и опять взглянул на Лобачева. Лобачев сидел уже в иной позе, слегка склонившись над письменным столом; левою рукой он подпирал подбородок... Лицо же выражало глубочайшее, нечеловеческое страдание, но вместе с тем стало и неузнаваемым: тонкие ноздри горбатого носа раздувались и вздрагивали; скулы, лоб и подбородок в окружении черных, вьющихся волос запечатлевались огромною силой, крепостью и вместе телесной свежестью, казалось, неспособной когда-либо увянуть; глаз не было видно; перед Никодимом чертился только профиль Лобачева, но эти, и невидимые, глаза струили такой свет, что его нельзя было не заметить: подобным огнем горят редкостные черные алмазы; складка ярко-алых и тонких губ Феоктиста Селиверстовича ложилась мужественнейшим очертанием.

Никодим глядел-глядел и терялся все более и более; потом сел совсем смирно у двери, боясь пошевеливаться, чтобы не обеспокоить Лобачева. У него уже не было никаких вопросов к Феоктисту Селиверстовичу — только на мгновение мелькнуло в голове сравнение Уокера с Лобачевым, о котором Лобачев недавно упоминал, и Никодим даже чуть не вскрикнул: «Да как Уокер смел говорить подобное», но удержался и зажал себе рот рукой.

Лобачев медленно повернул голову в сторону Никодима и так просидел довольно долго; если бы не этот изумительный свет, исходивший из его глаз, можно было бы подумать, что он любит впечатление, произведенным на Никодима. Просидев минут пять, Лобачев так же медленно поднялся и, положив руки на спинку кресла, стал неподвижно.

Никодим тогда ничего не видел, кроме Лобачева; у него вертелось на языке слово «горящее, горящее» — он так хотел объяснить великолепие Лобачева: оно действительно поглощало все вокруг себя, всю обстановку, преображало ее, подчиняло себе; уже не было неприглядной комнаты, мусора, разбросанного на полу и на столах — все стало нужным, неизбежным, и все только служило этому лицу — Лобачеву, и везде во всем был он — Лобачев.

— Что мне делать! — простонал Никодим, хватаясь руками за голову.

Лобачев любезно протянул ему руку и пересадил Никодима со стула в кресло.

— Не беспокойтесь, — сказал он Никодиму, — и простите меня. Я — плохой человек, но из всех сил стараюсь стать лучше. Вот теперь... ах нет! Не считайте за гордость: я не рисовался перед вами, но я не всегда умею придерживать ту маску, которую на себя надеваю. Я распустил себя, я позволил себе быть добрым.

— Что вы, что вы! — прошептал Никодим смущенно. — Я никогда не мог и подумать, что в вас столько добра и красоты. Я еще не видел таких людей, как вы, Феоктист Селиверстович.

Тут уже смутился Лобачев. На глазах у него заблестали слезы — ему, очевидно, было понятно, каким он предстал перед Никодимом, и словно ему не хотелось, чтобы именно это Никодиму запомнилось.

— О госпоже NN должен вам сказать, — начал он, запинаясь, — она вас любит, она жива и здорова. И матушку вашу я хорошо знаю. И знаю, где она.

— Знаете? — радостно вырвалось у Никодима.

— Да, знаю. Но погодите, я еще не могу вам сказать сейчас.

Никодим приуныл.

— Почему? — спросил он.

— Не спрашивайте, ради Бога; я сам хотел бы сказать как можно скорее. Вот за госпожу NN я очень беспокоился. Но теперь спокоен: она вышла замуж.

— Вышла замуж?! — с горечью в голосе воскликнул Никодим.

— Да, вышла. Хотя уже в третий раз, но по-настоящему. Я за нее спокоен. То есть должен пояснить: я за нее не так беспокоился, как обыкновенно за женщин бояться, а дело в том, что она ведьма.

— Ведьма? Я тоже сразу так определил ее. А за кого она вышла?

— Вы же знаете. Еще подумаете, что я смеюсь над вами. Что за комедия!

— Нет, я не знаю, — ответил Никодим.

Лобачев походил по комнате, остановился перед Никодимом и спросил:

— Ну теперь хотите быть моим другом?

Никодим ужасно заколебался, и к тому же весть о выходе госпожи NN замуж больно ранила его сердце, но ему уже ничего не оставалось, как ответить согласием, и он тихо сказал:

— Хочу.

Лобачев улыбнулся и потер руки. Жест вышел у него неожиданно неприятным, и Никодим это подметил.

ГЛАВА XXVI

Переписка Ираклия с неизвестным.

— У меня есть сын, — сказал Лобачев, присаживаясь опять к столу, — его зовут тем же именем, что и вас: Никодим. Вы мне очень напоминаете его. Но я давно не видел своего сына и не знаю, когда увижу.

По лицу Лобачева прошло облачко грусти.

— А почему госпожа NN ведьма? — вместо ответа спросил его Никодим. — Разве вы заметили за ней что-нибудь такое... колдовское?

Лобачев поглядел на Никодима, улыбнулся опять стариковской улыбкой, отчего глаза его снова стали добрыми, и от глаз снова побежали морщинки.

— Вот, — сказал он, — наивный человек, не ведающий, каким колдовским знанием владеет любая женщина, а женщины, подобные госпоже NN, в особенности.

— Ах, вы это подразумевали! — протянул Никодим с явным разочарованием. — Но почему же у нее был серый цилиндр?

— Какой серый цилиндр? — с затаенным волнением переспросил Лобачев.

— Мохнатый, серый цилиндр. Он стоял у нее на столике в передней.

— Ну, милый, вы перепутали. Квартира принадлежала не госпоже NN, а мне, и цилиндр на столике был мой. Госпожа NN находилась у меня временно, по просьбе одного господина.

— Ее жениха?

— Нет, не жениха. Жених появился значительно позже.

Никодим вдруг вспомнил, что у него в кармане пальто лежит номер «Огонька», купленный вчера на вокзале, с известным объявлением, и покраснел: ему было неловко спросить Лобачева про это объявление — уже очень невероятным казалось теперь, после всего, что было за последние четверть часа, чтобы Лобачев мог печатать подобные объявления или на самом деле заниматься подобным производством. Лобачев заметил смущение Никодима.

— Что с вами? — спросил Феоктист Селиверстович заботливо.

Никодим вытащил журнал.

— Вот тут, — сказал он, запинаясь, — объявление — так я не знаю... как понимать... уже очень оно меня поразило тогда... в трактире.

— В каком трактире? Ах, это! — взглянув мельком, догадался Лобачев. — Я сам уже видел. Странное совпадение. Я здесь ни при чем.

— Ни при чем? — переспросил Никодим (но от сердца у него отлегло, и он облегченно вздохнул).

Однако, помолчав, он вдруг вспомнил еще, что когда-то говорил ему на ухо Федосий из Бобылевки, отвозя его домой со станции. Сомнение закралось в душу Никодима. Он искоса взглянул на Лобачева.

— Послушайте, Феоктист Селиверстович, — спросил он осторожно, — а у вас нет фабрики в N-ском уезде?

— Фабрики, вы говорите? Фабрики у меня нет, — ответил Лобачев, явно не подозревая, зачем этот вопрос был задан.

— Как нет фабрики? А чья же там фабрика? — удивленно воскликнул Никодим.

— Не знаю чья, — опять спокойно ответил Лобачев, — я в N-ском уезде никогда не был.

— Послушайте! — убедительно возразил Никодим, как бы взывая к совести и памяти своего собеседника. — Мне же говорили про ту фабрику, что она принадлежит Феоктисту Селиверстовичу Лобачеву.

Лобачев покачал головой.

— У меня нет фабрики и не было, — повторил он.

Никодим ущипнул себя — неужели это во сне?

— Так, может быть, вы не тот господин Лобачев, которого мне нужно? — спросил он в удивлении очень медленно и останавливаясь после каждого слова.

— Почему не тот? — удивился уже Лобачев.

— Мне нужен владелец фабрики в нашем уезде.

— Да, в таком случае, я не тот. Впрочем меня смешивали уже несколько раз с каким-то Лобачевым. Вот хотя бы с этим объявлением: оно появляется не первый раз и для меня очень неудобно — многим я известен ведь совсем с другой стороны. Но если вы поедете по указанному адресу на Пушкинскую — вый-

дет к вам навстречу в приемную неопределенный тип и скажет, что это только фирма прежнего владельца: Федот Савельевич Лобачев, а владельцем фирмы является некий Вексельман из Белостока.

— Вексельман? — засмеялся Никодим. — Недурная фамилия.

— Да, Вексельман. А зачем вам нужен другой Лобачев?

Никодим молчал, не зная, что ответить: ему собственно оба Лобачева особенно не были нужны и, пожалуй, больше все-таки стоявший перед ним, чтобы получить от него записку господина W и узнать через него, где находится Евгения Александровна.

— Нет — вы мне нужны, — подумав, ответил Никодим твердо. В нем опять заговорило сильное чувство симпатии к Лобачеву.

Лобачев открыл ящик стола, порывшись там и достал сложенную вчетверо бумажку.

— Вот ваша записка! — сказал он, протягивая бумажку Никодиму. — Возьмите.

Никодим взял, развернул, посмотрел: действительно это была записка господина W.

— Я должен раскрыть вам еще и смысл записки, как обещал, — произнес Лобачев, продолжая рыться в столе, — то есть пояснить, чем было вызвано ее написание и к чему она привела. И потому возьмите еще вот этот пакет.

Он подал Никодиму конверт с несколькими вложенными туда письмами.

— Присядьте к столу, — продолжал Лобачев, указывая на маленький столик, — прочитайте письма и возвратите мне. Кто эти господа, что писали их, — я не могу вам сказать. Быть может, вы сами догадаетесь об одном из них. Видите ли, письма Ираклия (так один подписывался) я могу получить только в копиях, переписанными, а письма другого — неизвестного — попали ко мне в подлиннике.

Никодим вынул письма, посмотрел на пачку сверху: подлинники были написаны от руки, копии переписаны на пишущей машинке.

Вот что прочел Никодим:

Тверь, 28 февраля 191 года.*

«Дорогой друг. Вчера по твоему указанию, проезжая через Вышний Волочек, я завернул к Мейстерзингеру, но сперва не застал его дома и только вечером мог свидеться с ним. Он объяснил мне, что это Валентин его задержал на охоте, в лесу. Он едва поспел к 27-му числу в город, хотя очень торопился, так как заранее знал, что я у него буду.

Я должен с глубоким сожалением сообщить тебе, что господин Мейстерзингер непреклонен: деньги его, кажется, не прельщают, даже крупные. При том образе жизни, который он ведет сейчас, будучи на полном иждивении Валентина, денег ему совершенно не нужно, а на лучшее будущее он мало надеется и говорит, что глубоко обижен тобою, так как давно заслужил сумму, которую мы ему теперь предлагаем другими, уже забытыми тобою делами и услугами.

Если ты действительно перед ним виноват — нельзя ли как-нибудь исправить столь неопределенное положение. Пиши мне в Тверь, до востребования. В Волочке я не хотел оставаться по известным тебе причинам.

Твой сын здоров, но я не мог передать ему привет от тебя».

Под письмом вместо подписи был поставлен знак. Воображение могло бы в этом знаке увидеть букву «Д», но одинаково и «R» и «A». Несомненно было только одно: как это письмо, так и записка, подписанная господином W, исходили, если судить по почерку, от одного лица.

Ответ на первое письмо. Переписан на пишущей машинке.

С. Петербург, Марта 2-го дня 191* года.

«Думаю, что увеличение назначенной мною суммы нужно более для тебя, чем для Мейстерзингера. За ним я никогда не замечал жадности. Но не желая предпринимать поездку лично — увеличиваю сумму на 30%. Рассчитай сам, сколько это будет. Только помни, что у меня проценты особенные.

Ираклий».

Ответ на предыдущее (от руки).

В. Волочек, 8 марта 191* года.

«Ираклий, вы меня обижаете. Все-таки не понимаю, как вы осмеливаетесь оскорблять меня: буду ли я — потомок славнейших крестоносцев — заискивать перед вами, хотя вы и очень сильный человек? 30%, как я рассчитал, слишком мало, и с ними я к Мейстерзингеру решительно не пойду. Право, не стоит даром терять время».

Следующее письмо, переписанное на машинке, без числа.

«Твое происхождение мне давно известно. Одно меня утешает, что только там, где-нибудь в Твери или Рязани ты способен проявлять свой чванливый характер, а по приезде в Петербург сразу становишься шелковым. Итак, кончим вопрос о процентах — для меня денег не существует — ну 70%. Довольно? Напиши лучше скорее, как обстоят дела. Твой Ираклий».

Ответ.

9 марта 191* года, Тверь.

«Очень благодарен тебе, мой друг, за привет и ласку. При 70% прибавки дело наше выгорит безусловно. Расскажу по порядку, что было.

Получив твое письмо от 2-го марта, я опять посетил Мейстерзингера и еще раз подивился тому, как он мог при столь скромных средствах, что ты всегда отпускал ему, так прекрасно и богато обставить свою квартиру. Она не велика, правда, но чего там нет. Однако к делу.

Мейстерзингера я не застал. Прислуга мне сказала, что он снова отправился на охоту, и объяснила, как его можно найти. Я поехал следом.

В лесу, над озером я заметил Мейстерзингера и Валентина, шествующих вместе, но не хотел выдать своего присутствия Валентину, а верный пес на меня не залаял. Я долго шел в некотором отдалении, но не упуская их с глаз.

Походивши час-полтора, Валентин сел на камень; Мейстерзингер уселся рядом; скоро Валентин задремал — тогда я подал Мейстерзингеру условный знак. Мейстерзингер подошел ко мне почему-то нехотя. «Ничего не выходит», — сказал он, но я понял, что нужно ему обещать больше. Обещание сразу возымело свое действие.

Он мне сейчас же принялся рассказывать, что говорил с Евгенией Александровной уже не один раз, но что она колеблется. Я стал объяснять ему, как лучше было бы вести дело, но нас прервали: Валентин проснулся и позвал Мейстерзингера. Я спрятался в кусты, однако все же успел сказать Мейстерзингеру, где нам лучше увидаться. Жди моего следующего письма».

Следующее письмо — продолжение предыдущего.

10 марта 191* года, Волочек.

«Видел сегодня почти одновременно Евгению Александровну и госпожу NN. NN сказала мне, что вы хотя и великий человек, но старый гриб, а меня нежно поцеловала на прощанье. Она утверждает, что не хочет тебя более видеть».

Но зато какова Евгения Александровна! Сколько в ней благородства и достоинства, даже величия, только она, именно она и могла любить столь самозабвенно. Я еще не видел подобных женщин.

Мейстерзингер прибежал ко мне, весело прыгая. «Готовьте деньги, — сказал он, — все принимает благоприятный оборот, все нам на руку: она получила письмо от мужа и очень раздосадована его грубостью и непонятливостью. Она первый раз после десяти лет обратилась к нему за советом, а он ответил ей насмешками».

Продолжение предыдущего.

Тверь, 29 марта 191* года.

«Дорогой мой, не сердись, что не писал тебе так долго. Евгения Александровна приезжала на три дня из города, и Мейстерзингер взялся провести меня к ней, но Ерофеич помешал нам, сунувшись совсем не вовремя».

Однако я поймал ее на вокзале, когда она уезжала обратно в город, и говорил с нею. Она просила передать тебе, что помнит и любит тебя, но на мой вопрос, согласна ли повидаться с тобой — отрицательно покачала головой.

Спрашивается, что же делал Мейстерзингер? Он водит нас за нос.

Однако, мой милый, ты видишь, сколько я трудился. Неужели, если Евгения Александровна не поедет, ты не войдешь в мое положение и не постарайся повлиять на госпожу NN?»

Ответ:

С. Петербург, 31 марта 191* г.

«Конечно, не постараюсь. Если ты до конца не достараешься, то есть пока Евгения Александровна не будет здесь, я всячески буду остраивать госпожу NN. Пойми, что во мне говорит не только любовь, но это является вместе и вопросом моего самолюбия. Мейстерзингеру передай от меня, что он куда как плоховат и, если доведется мне его когда-либо погладить, то уж поглажу его непременно против шерсти. Ираклий».

Написано от руки.

26 мая 191* года.

«Ура! Евгения Александровна будет: она мне сама сказала сегодня, у качели. Мейстерзингеру заплатил. Ура».

Больше ничего не было. Никодим, прочитывая одно письмо за другим, бледнел все больше и больше, потом встал, с лицом ужасно изменившимся, подошел к письменному столу, взял с него электрическую лампу с зеленым абажуром, повертел ее в руках и ударил ею о край стола, абажур разлетелся на мелкие куски, лампа же искривилась.

Лобачев глядел прямо в глаза Никодиму. Никодим протянул руку к тяжелому пресс-папье — но тут Лобачев цепко ухватил Никодима за руки.

В комнату вбежал слуга, привлеченный шумом. Лобачев сделал ему знак удалиться.

Никодим дрожал, как в лихорадке.

— Бедный мальчик, — сказал, наконец, Лобачев с трудом, — теперь видите, как не просто было для меня объяснить, где ваша мать. Но неужели вы думали, что какая угодно женщина, хотя бы она была и вашей матерью, не променяет всего в жизни на любимого человека?

— Нет, — ответил Никодим криво и жалко улыбаясь (на лбу у него выступил пот), — нет, я думал проще, я смел думать, что моя мать никого не любила, кроме моего отца.

И, шатаясь, вышел вон.

ГЛАВА XXVII

Господин Марфушин в действии.

Читатель, вероятно, не забыл, что Никодим, скрываясь ночью из дома Ирины, с торжеством представлял себе озлобление и негодование господина Марфушина, когда тот утром обнаружил бы исчезновение Никодима.

Вышло совсем не так, и Никодим ошибся в своих предположениях. В то время, когда Никодим, выскочив из окна, направлялся к дороге, господина Марфушина в доме Ирины уже не было...

Встреча Ирины с ним читателю уже известна. Убежав из зала после поцелуя, ошеломившего Ирину, господин Марфушин спрятался опять в каморку и, приоткрыв ее дверь, стал прислушиваться, чтобы определить, куда пойдет Ирина. Убедившись, что она прошла к себе в спальню, Феодул Иванович беззвучно выскочил из каморки, добежал опять до зала и, забрав оттуда свои сапоги и рясу, снова вернулся к себе.

Зажегши свечу и приняв прежний монашеский вид, господин Марфушин стал в позу и принялся рассуждать, или, как он определял обыкновенно, философствовать.

— Зачем нужен мне этот глупый Никодим? — спросил он. — Разве я обязан его сопровождать всюду и нянчиться с ним, будто связанный. Я могу идти, куда мне захочется...

Господин Марфушин повернулся на одной ножке три раза кругом, обычной своей манерой, и снова стал в позу.

— Не обязан я, — сказал он, — быть всегда с Никодимом. Пойду, куда хочу. Прощайте, Никодим Михайлыч, дорогой. Посмотрим, как это еще вы сможете без нас обойтись.

И, надвинув на голову клобук поплотнее, господин Марфушин ловко выскользнул из дома.

Постояв в саду, он прошел к беседке, достал из кармана большой складной нож и вырезал на стене беседки на ощупь несколько слов, весьма неприличных; потом вздохнул, спрятал разогретый от работы нож в карман и скрылся во мраке.

Нельзя было уследить, где и как он провел время до рассвета, но первые проблески утра застали его еще недалеко от имения Ирины, на полусгнившем мостике через речку с крутыми берегами.

Обрисовавшись на мостике, господин Марфушин сказал в пространство:

— Мейстерзингер, скоро ли вы будете?

Голос, как будто из подземелья, ответил:

— Буду скоро.

— Не копайтесь, — произнес Марфушин наставительно.

Из-под моста показалась рыжая растрепанная голова Мейстерзингера.

— Не могу разговаривать с вами здесь, — сказал Мейстерзингер, — приезжайте лучше ко мне в Волочек, — и снова спрятался под мост.

— Почему не можете? Отлично можете, — возразил послушник и, перегнувшись через перила, спрыгнул вниз.

Он попал прямо в воду, но это ему оказалось словно ничем. Выбравшись на сушу и отряхнувшись, как собака, Марфушин полез под настил моста и уткнулся руками в живое существо.

— Это вы, Мейстерзингер? — спросил он.

— Я. Что вам нужно? — раздался голос из мрака.

— Зачем вы забрались сюда?

— Я жду сэра Арчибальда.

— Почему же под мостом?

— Утром по мосту поедут мужики с горохом. Вот почему, и перестаньте задавать глупые вопросы не ко времени.

Марфушин помолчал.

— Господин Мейстерзингер, как вы поживаете? — спросил он через минуту шепотом.

— Ничего, благодарю вас. Работаю понемножку.

— Скажите, сколько вам платит Лобачев?

— Какое несносное любопытство! Зачем вам знать? Я работаю на процентах. Только проценты у Лобачева особенные.

— Представьте себе, какое совпадение: я тоже на процентах. Но вы плохо осведомлены в деле: у господина Лобачева проценты обыкновенные. Это у Ираклия особенные.

— Господин Марфушин, где вы были? — спросил уже Мейстерзингер.

— Ах, я-то? Я работал. В монастыре был.

— Здесь ли вы, Мейстерзингер? — прервал их сверху голос Уокера.

— Здесь, — ответил за Мейстерзингера Марфушин. — Сэр Арчибальд, полезайте скорее под мост, пока вас не заметили.

Длинные ноги Уокера мелькнули в полумраке, и он также очутился под мостом.

— Тсс! — сказал он. — Тише, там едет кто-то.

Все трое примолкли.

Несколько тяжело нагруженных возов проехали через мост. Когда звук колес отдалился, Уокер спросил:

— Господин Марфушин, откуда вы?

— Ах, не говорите! — с досадой ответил послушник. — Меня просто загоняли на работе. Я скоро протяну ноги.

Они опять помолчали.

— Господин Марфушин, вы нам немного мешаете, — вежливо сказал Уокер.

— Я уйду сию минуту, сэр, — еще вежливее ответил послушник, — но раньше я должен сообщить вам свои наблюдения: по-моему, в нашем сообществе стали образовываться прорехи. Я не сомневаюсь в вас, сэр, и в вас, мой милейший ирландец, но что вы скажете о госпоже NN? Китаец же, положительно гнет, что называется, свою линию.

— Вы ошибаетесь, — сказал Мейстерзингер, — госпожа NN настолько сознательно действует, настолько необходима в деле, что мы без нее были бы, как без рук. Уже почти обеспечено, что Никодим, благодаря ее стараниям, станет для нас своим. О, поверьте, Лобачев сумеет обласкать его.

— Я не сомневался никогда в способностях Лобачева и очень уважаю Ираклия, но... все-таки опасаясь женской слабости госпожи NN, с одной стороны, и глупого благородства Никодима — с другой, и считаю нужным поговорить с нею, — произнес Марфушин рассудительно.

Ему никто не ответил.

— Мейстерзингер, вы ирландец? — спросил он, помолдав.

— Да, — ответил Мейстерзингер, — хотя мои предки и получили эту немецкую фамилию, но я чистокровный ирландец.

— Хорошо быть чистокровным, — со вздохом и сентенциозно одобрил послушник, — мое дело другое. Ни рыба ни мясо. Потому и понукают мною, как хотят.

— Господин Марфушин, вы хотели идти, — напомнил ему Уокер.

— Да, пойду. Нужно повидать госпожу NN. Ведь она у вас? — спросил послушник Мейстерзингера.

— Она у меня, — ответил ирландец. — Господин Марфушин, отправляйтесь скорее: время уходит — оно нам дорого.

Послушник пожал своим собеседникам руки и выбрался из-под моста.

Становилось уже совсем светло. Тянуло дымком; из ближнего овина раздавались постукивания цепов. Послушник быстро зашагал прочь.

Господин Марфушин в тот же день появился в Вышнем Волочке на квартире Мейстерзингера.

Госпожа NN встретила послушника, сидя в глубоком и удобном кресле; на ней был еще утренний туалет из легчайшего шелка большими цветами. Легкие туфельки, расшитые золотом, спадали с ее маленьких ножек, а волосы еще не были до конца убраны и локонами окружали высокий лоб и щеки, и рассыпались по плечам; плечи госпожа NN зябко кутала в темно-красный платок.

При виде госпожи NN послушник весьма оживился и пришел в такое возбуждение, что во время разговора с нею не мог уже стоять спокойно; он то и дело подпрыгивал на месте — туловище его будто пружинилось и, подаваясь вперед, вздрагивало; клубочек сам собою слетел с его головы, и розово-синеватая лысина, покрытая совсем тонкой кожицей, то и дело мелькала перед глазами госпожи NN: Марфушин изгибался.

— Блистательная госпожа, — начал послушник высокопарно, — во-первых, позвольте вам сообщить, что я совершенно пьян от распространяемых вами духов, и потому многое мне будет простительно; во-вторых, хотя я весьма невзрачен, но очень желаю вам понравиться.

— Что вы говорите, Марфушин, — остановила его госпожа NN, — если вам я нужна, говорите как следует, а не кривляйтесь.

— Я не буду кривляться, — пообещал послушник и продолжал: — В-третьих, я за вас опасаюсь, madame, — любовь к Никодиму сводит вас с ума. Вы взяли на себя непосильное и сделали неверный шаг, так приблизив Никодима к себе. Короче говоря, я боюсь измены с вашей стороны.

Госпожа NN весело и звонко рассмеялась.

— Милый и глупый Федул Иванович, — сказала она сквозь смех, — ваши подозрения неосновательны, но чего же вы хотите?

— Я хочу быть посредником между вами. То есть хочу, чтобы между Никодимом и госпожой NN ничего не было общего без моего в том участия, — ответил Марфушин очень веско и серьезно.

— Я понимаю вашу мысль, — сказала госпожа NN, глядя через плечо Марфушина в окно, — но все же я хочу сохранить за собою свободу действий...

— Даже тогда, когда Ираклий распорядится подчинить вас моему наблюдению?

— Даже тогда.

— Ну, значит, я не ошибался. Мне здесь более нечего делать: мои подозрения мало-помалу начинают оправдываться. Адью-с.

И Марфушин повернулся, чтобы уходить.

Дойдя до двери, он вполоборота, через плечо посмотрел на госпожу NN и спросил:

— Может быть, здесь, в Волочке, вы говорите так, а в Петербурге будете говорить иначе?

— Нисколько не иначе — так же, — убежденно подтвердила госпожа NN.

— Поставим точку над i! — воскликнул послушник. — Сам Ираклий прислал меня сюда с приказанием передать вам все, что я говорил, но в повелительной форме.

— Сам Ираклий! — повторила она испуганно.

Послушник стоял и ждал, что будет дальше.

— Конечно, — сказала она, волнуясь и кусая губы, — если сам Ираклий, то мне ничего не остается, как подчиниться вам.

— Ну вот! — обрадовался господин Марфушин. — Давно бы так.

И, повернувшись на одной ножке, стал лицом к госпоже NN и сказал:

— Madame, я вас люблю! — Руки его протянулись к ней.

— Оставьте, господин Марфушин! — брезгливо отстраняясь, ответила она и вышла в другую комнату.

— Не понимаю женщин! Знаю их, сколько угодно, а не понимаю! Вот поди ж ты! — воскликнул послушник, покидая квартиру Мейстерзингера несколько минут спустя.

ГЛАВА XXVIII

Поступок Арчибальда Уокера.

Никодим плохо помнил, как он, выйдя от Лобачева, дошел до вокзала, как получил билет и поехал. Пришел в себя он только на половине пути и вдруг почувствовал, что у него в сердце и в голове больно переплетаются две мысли: о матери и о выходе госпожи NN замуж — обе одинаково мучительные и не дающие возможности в себе разобраться.

По приезде в имение Никодим прошел к себе наверх, заперся и просидел там сутки с утра до утра, не заснув ни на минуту.

Под руку ему попала большая штопальная игла; он вяло и тупо исколот ею несколько листов бумаги, несколько картонных коробок, стоявших на столе, а потом спрятал ее в жилетный карман.

Утром Никодим вышел осунувшийся, побледневший; под глазами у него легли темные пятна; по временам он вдруг вздрагивал, может быть, от усталости.

Ерофеич предложил кофе, но Никодим отказался.

— После. Успеется, — сказал он.

— Валентин Михайлыч здесь, — сообщил ему вслед Ерофеич, выходя за ним на крыльцо.

— Где же он? — спросил Никодим, не оборачиваясь и сумрачно глядя на землю.

— Они в лес пошли, да не одни, а с двумя господами.

— С какими господами?

— Одних-то я знаю, а других не могу знать.

— Ну, хорошо. Я скоро вернусь.

И Никодим зашагал к лесу. Вид его был печален и неблестящ; он уже неделю не менял белья, оставался, почти не раздеваясь, все в том же платье, в котором поехал шесть дней назад в монастырь; столько же дней не брился.

В голове у него мелькали отрывки из писем Ираклия и неизвестного. Ему по временам вдруг казалось, что он знает, кто автор записки, найденной им в дневнике матери, и, следовательно, тот самый неизвестный аноним, которого Лобачев не нашел возможным раскрыть. А кто Ираклий, даже в малейшей степени не поддавалось определению...

— Спросить разве Ерофеича об Ираклии, не знает ли он? — подумал было Никодим, но тут же услышал поблизости от себя за деревьями громкий говор в несколько голосов и веселый смех. Среди других голосов он узнал голос Валентина.

Никодим пошел на них прямо лесом, продираясь через молодой ельник и пахучие кусты черной смородины. Миновав глубокую канаву, он сквозь сеть полуголенных сучьев увидел на прогалине три человеческие фигуры: Валентина, Уокера и третьего человека, ему неизвестного.

Валентин сидел на скамье, держа между ног ружье. Он был возбужден и весел, и, видимо, разговор велся главным образом им. Уокер и неизвестный ограничивались более краткими восклицаниями. Они стояли перед Валентином. Все трое были одеты в охотничьи костюмы.

Никодим подошел. Они обернулись. Никодим молча подал Валентину руку, молча поклонился Уокеру (ему он руки подавать не хотел), а по отношению к третьему ограничился тем, что поглядел на него.

Валентин понял, что трéтий незнаком с Никодимом, и представил его: «Господин Певцов».

Череп господина Певцова был украшен копной волос ярко-огненного цвета, росших густо и могуче; борода и усы у него были тоже рыжие, и даже брови и ресницы такие же. Но это был не тот обыкновенный рыжий волос, который чем ярче, тем жестче и грубее, напротив, он был мягок, нежен, волнист. Сам Певцов был преисполнен изящества, но изящество это было совершенно животным, не походя нисколько на человеческое. Никодиму он решительно не понравился.

Против обыкновения с Валентином не было его собаки.

— А где же Трубадур? — спросил Никодим, заметив это.

— Ах, да, где же? — удивился сам Валентин, но, припомнив что-то, пояснил: — Его не могли отыскать сегодня.

— Валентин, скажи мне, кто такой господин Мейстерзингер? — спросил Никодим.

Валентин поглядел с удивлением.

— Я не знаю господина Мейстерзингера, — ответил он.

— А я знаю, — заявил Никодим, — и господин Уокер тоже знает его. Господин Уокер, объясните нам, пожалуйста?

— Извините, вы ошибаетесь. Я не знаю господина Мейстерзингера, — сказал Уокер; в голосе его было заметно дрожание.

— Мейстерзингер — он же господин Певцов, — пояснил Никодим.

Господин Певцов рассмеялся.

— Если сделать очень вольный перевод, пожалуй, будет и так, — подтвердил он.

— Да, конечно, если сделать вольный перевод, — согласился Никодим и добавил: — Это не более чем шутка. Я люблю пошутить.

— Ты болен, Никодим? — спросил его Валентин, заметив у него пятна под глазами.

— Я здоров. Ничего! — ответил Никодим.

— Нам пора идти. Идем, господа, — вмешался Уокер.

— Сэр Арчибалд, мне нужно с вами переговорить, — заявил Никодим, очень подчеркнув слово «нужно».

— Пожалуйста, я к вашим услугам, — надменно ответил Уокер, слегка поднимая свою голову, и, обратившись к своим спутникам, сказал им: — Я догоню вас через пять минут.

Валентин и Певцов пошли в одну сторону, Никодим и Уокер — в другую. Когда они скрылись друг у друга из виду, Никодим спросил Уокера:

— Отчего так много лживых людей я встречаю за последнее время?

Уокер поглядел на Никодима сверху вниз: он не понял, что Никодиму нужно.

— Господин Уокер, — продолжал Никодим, — справедлива ли моя догадка, что Певцов и Мейстерзингер — одно и то же лицо?

Уокер молчал.

— Господин Уокер, — сказал Никодим уже гораздо тверже, — умеете ли вы писать по-русски?

— Что за вопрос? Конечно, умею.

— Нет, господин Уокер, вы не умеете писать по-русски.

— Дерзости вашей не понимаю, или вы не в своем уме? Может быть, вы желаете, чтобы я вам доказал свое умение?

— Да, хочу.

— Но я-то не вижу в этом смысла.

— Господин Уокер, — начал Никодим совсем другим голосом — мягким и волнующимся, — неужели вы

откажете мне в этом даже тогда, когда от нескольких слов, написанных вами по-русски, будет зависеть почти все в моей жизни...

— Если вы так уверяете... — лениво произнес Уокер. — Что же, вам сейчас это необходимо? — спросил он.

— Да, сейчас...

— Видите ли, — ответил Уокер тихо и раздумчиво, но не глядя на Никодима, — мне кажется, что в вашей просьбе кроется тайный умысел. Я не люблю этого. Если вам что нужно, говорите прямо. Я устал от всяких ухищрений в жизни.

— Правда, я могу получить от вас, что мне нужно, и другим путем, — решил Никодим. — Видите ли, Феоктист Селиверстович Лобачев показал мне несколько писем: одни из них были подписаны именем «Ираклий», а под другими стоял только знак — так вот вторые-то, со знаком, не вами ли были написаны?

Уокер побледнел.

— Сам Лобачев показал вам письма? — сказал он упавшим голосом, даже как будто не спрашивая Никодима, а лишь сознавая с ужасом, что Лобачев решил от него отделаться и выдал его с головой. Но он в ту же минуту оправился. — Вы, пожалуй, скажете еще, что Ираклий — это не кто иной, как сам Феоктист Селиверстович? — спросил он насмешливо.

— Нет, не скажу, — ответил Никодим, — но я еще должен спросить вас: не вы ли писали и записку к моей матери, ту самую, что я показывал вам на квартире у Лобачева?

— Прекратим этот пустой разговор, — попросил Уокер. — Вы, кажется, серьезно больны, и в голове у вас полная путаница.

— Значит, вы мне не дадите ответа? Тогда я добьюсь его от господина Мейстерзингера и повертываю обратно.

Они повернули оба...

— Никогда я не встречал человека, которого мне пришлось бы ненавидеть так, как я ненавижу вас, — сказал Уокер Никодиму голосом, в котором звучали вместе отчаяние, ненависть и сожаление.

— За что? — удивился Никодим. — Вы мне сделали много дурного, но что я сделал вам?

— Вы — счастливейший из людей и уж тем передо мной виноваты. Другие теряют полжизни на то, чтобы получить хотя бы только возможность прикоснуться к предмету своих вожделений. А вы? Приходите и берете себе все, без остатка. А потом еще оправдываетесь! Вы догадываетесь, конечно, о ком я говорю?

— Я?.. Нет... Я не могу догадаться...

— О госпоже NN — вот о ком.

— Постойте, постойте, вы что-то путаете, — загорячился Никодим (но втайне ему было неприятно услышать имя госпожи NN из уст Уокера), — госпожа NN, как мне сказал Феоктист Селиверстович, вышла замуж. Если вы хотите сводить счеты со своими соперниками, обратитесь прежде всего к ее мужу. Если же вы желаете со мною драться — я к вашим услугам всегда, а если не желаете — то знайте, что я желаю.

Уокер произнес сквозь зубы:

— Или я рехнулся, или вы? Я перестаю понимать решительно все.

И, оглядевшись кругом, вытащил из кармана револьвер.

— Встаньте туда, к дереву, — указал он Никодиму властно, обращая револьвер дулом к нему.

— Ах, вы так! Помните, как мы столкнулись с вами у камня, что из этого вышло? — засмеялся Никодим, но очень спокойно, и, прежде чем Уокер успел нажать спуск, ударил его по руке. Выстрел раздался, но пуля полетела к лесу и, сорвав по дороге несколько сухих листьев, плавно упавших на землю, ударила в дерево.

Схватив Уокера руками за горло, Никодим одним рывком повалил его на землю и отнял у него револьвер.

Отступив на шаг-другой с торжествующим видом, но вместе дрожа от волнения всем телом, Никодим сказал поднимавшемуся Уокеру:

— Теперь я мог бы вас попросить... Вот ваш револьвер.

Подав револьвер Уокеру и пошел прочь.

Уокер повертел револьвер, обтер его полою куртки, постоял, как бы в раздумье, потом медленно поднес револьвер ко рту. На лице его мгновенно отразились и большая тоска, и утомление, и презрение к себе, сознание безвыходности и невозможности восстановить свою честь, и обида, и пристыженность за дикую выходку против Никодима. Уокер спустил курок.

На выстрел Никодим обернулся, подошел, постоял над трупом, вынул из кармана жилета штопальную иглу и, Бог знает зачем, попробовал воткнуть ее в грудь Уокеру, но игла встретила что-то твердое и остановилась. Тогда Никодим воткнул ее в торчавший рядом гнилой пень — всю, без остатка, и очень быстрыми шагами скрылся в лесу.

ГЛАВА XXIX Тень за рубежом.

Валентин и Певцов прибежали на выстрел к телу Уокера, когда Никодим был уже в лесу, далеко от места происшествия. Вся обстановка и положение сэра Арчибальда показывали, что он сам покончил с собою, но тем не менее Валентин и Певцов в два слова сговорились не упоминать о том, что Уокер ушел от них вместе с Никодимом.

Никодим проблуждал по лесу несколько часов, как оглушенный, не разбирая дороги, и вновь очутился на той же поляне, где он оставил труп Уокера. Тело сэра Арчибальда было уже покрыто рогожей; неподалеку от него сидел на корточках понятой из соседней деревни и разводил костер, чтобы согреть чаю — прилаживал козлы и подкладывал сухие прутья. В ту минуту, когда Никодим показался на поляне, из лесу вышел и другой понятой: он, набрав где-то в закоптелый чайник воды, нес ее; вода расплескивалась ему на штаны и на сапоги.

...— Это что же, братцы? — спросил их Никодим, подходя. Он хотел спросить, зачем они здесь и что станут делать с телом Уокера, но у него вышло так, будто он не знал, что с Уокером случилось.

— А лобачевскому управляющему жить надоело или попался в чем — приперло? Бывает, — ответил первый понятой, веселый и разбитной малый лет двадцати пяти.

— Бывает, — повторил сокрушенно второй понятой. Присядьте с нами, барин, а то жутко что-то, — попросил он Никодима. Этот понятой был мужик уже в почтенных летах и, должно быть, богобоязненный.

Никодим присел на обрубок дерева, валявшийся тут же.

— И что это люди, — сказал опять второй понятой, — не пойму их никак. Живут, живут — и готово!

— Вот, видишь ли, — заметил Никодим ровным голосом, — а я еще за минуту до смерти с ним говорил. Гордился человек.

— Нечистый всегда гордого подтолкнет, — пояснил первый понятой. — Навесь чайничек-то, — напомнил он второму.

Едкий синий дымок от костра щипал Никодиму глаза; Никодим, захватив несколько сухих сучьев с поблекшими, но еще плотно державшимися листьями, отрывал лист за листом и бросал их в огонь...

Уже понятые напились чаю, а Никодим сидел все неподвижно и молчал.

— Барин, а барин, — сказал первый понятой, — а правда ли, что душа человечья еще будет к телу приходить?

— Будет, — ответил Никодим убежденно, но не думая о том, что говорит.

— Ну вот видишь, я тебе говорил, что будет, — радостно подтвердил второй.

— Прощайте, братцы, — сказал Никодим, вставая, — пойду.

Он снова пошел в лес, опять не разбирая дороги, побродил там и через полчаса вышел на ту же поляну. Понятые как будто встревожились.

— Что это, барин, — спросили оба они в один голос, — вас все сюда манит?

— Не знаю, — ответил Никодим равнодушно и присел на тот же обрубок.

Посидев, он встал, повторил свое «прощайте» и пошел по дорожке, ведущей к дому.

Валентин приблизительно через полчаса после этого, очень растревоженный самоубийством Уокера и не находя ему объяснений, прошел наверх к Никодиму, думая, что брат сидит у себя. Он не нашел там Никодима и вышел через дверь кабинета на крышу дома.

С крыши дома Валентин прежде всего увидел тот распаханый бугор, по которому когда-то бегал Трубадур, а на бугре, как раз на полосе посередине его — Никодима. Кроме того, в конце полосы, у камня, прислонившись к нему, сидел еще человек и, видимо, спал.

Никодим шел полосой по бугру вверх, но шел необыкновенно. То он делал несколько шагов вперед, высоко поднимая ноги, будто опоенный дурманом, то отступал назад, все время озираясь и балансируя руками, точно он двигался не по земле, а по канату.

«Никодим сошел с ума!» — решил Валентин.

Но Валентин ошибся: с Никодимом произошло совершенно иное: он случайно очутился у бугра и случайно пошел по нему вверх.

Едва он сделал несколько шагов, как ему бросилась в глаза собственная тень. Тень была необыкновенно черная и густая, но легла она, вопреки порядку, не от света, а против света, вслед уходящему солнцу.

Никодим тогда не поверил своим глазам и отступил на несколько шагов, наблюдая за тенью. Тень отступила вместе с ним. Он сделал несколько шагов вперед — она подалась тоже.

Никодим сошел с борозды влево — тень отделилась от него, цепляясь за рубеж, но не переходя его; он пошел вперед — тень вместе с ним, по борозде.

«Полно! Моя ли это тень? — подумал он. — Может быть, это душа Арчибальда? Но где же тогда моя тень?»

Никодим посмотрел вокруг: другой тени от него не лежало, черная, легшая вправо, была единственной.

Тут, очень смело и очень радостно размахивая руками, Никодим пошел вверх по бугру. Идти было необыкновенно легко, грудь глубоко вдыхала свежий воздух, а сердце билось сильно и неизъяснимо сладко.

Особенное чувство наполняло сердце — совсем телесное. Ему казалось, что сердце — этот маленький кусок мяса, напоенный кровью, ширится, ширится бесконечно, захватывает своими краями вот те деревья, растет еще дальше и вдруг одним своим краем подступает к горлу.

Слезы хлынули из глаз Никодима, и Никодим, тихо склонившись, лег на землю, лицом прямо в борозду.

Он плакал долго; вся мука последних дней выходила слезами, выкипала.

Когда же он наплакался вволю — чья-то рука коснулась его плеча.

Никодим поднял голову: рядом с ним сидел Марфу-

шин, вытянув ноги вдоль Никодимова туловища, и гладил Никодима по плечу.

— Измучились, Никодим Михайлович? — спросил его Марфушин участливо.

— Нет! Теперь мне уже хорошо, а как трудно было, если бы вы знали.

Марфушин продолжал его гладить.

— Господин Марфушин, скажите, — спросил Никодим, — чья это тень шла со мною рядом?

— А где она?

— Да теперь уж нет ее. Исчезла.

— Арчибальда тень, наверное, — пояснил Марфушин, — впрочем, на этом месте всегда тени ходят. Здесь ведь рубеж земли: по одну сторону мертвые ходят, по другую — живые.

На лице Никодима изобразилось, что он не понимает сказанного; послушник это заметил.

— Знаете, одна есть черта, — пояснил он, — если только за эту черту ступишь — ты уж неживой человек. Но мы всегда рядом с чертою и не чувствуем, что тут же, за чертою, проходят мертвые, заботясь о своих делах по-своему, а не по-нашему...

— Вы давно знаете Арчибальда? — спросил его Никодим.

— Очень давно.

— А вы видели его... труп?

— Нет, еще не видел. Мне сказали, что он застрелился.

— Я был свидетелем этого.

— Вы? — Лицо послушника выразило испуг и удивление.

— Да, я. Что же в этом удивительного? Так естественно.

— Я ничего не говорю. Но все-таки для меня это было немного неожиданно. Я видел сэра Арчибальда всего только вчера и никак не мог бы подумать, что он сегодня разочтется с жизнью.

— А я не удивился, — сказал Никодим, — я не любил сэра Арчибальда, быть может, потому и не удивился?

— Никодим Михайлович, за что вы так возненавидели меня и так гнали там, на дороге и в монастыре? — спросил послушник.

— Не знаю. Вероятно, потому, что вы мне очень не понравились тогда.

— А теперь нравлюсь?

— Не то чтобы нравитесь. А так... После того, как я побывал еще раз у Лобачева и поговорил с ним, многое стало мне безразличным.

— И госпожа NN? — спросил послушник.

— Нет, — ответил Никодим твердо, — она-то не безразлична. То есть чувство мое к ней выросло.

— Она заманчива — госпожа NN, но она страшна.

— Ничего, — уверенно и еще тверже сказал Никодим, — я не боюсь: моя мать еще страшнее.

— Я слышал о вашей матушке.

— От кого слышали?

— От Лобачева же. Была у нее тяжелая, трудная жизнь.

— Вы знаете? — тревожно спросил Никодим.

— Нет, слышал.

— Слышали только — но это другое дело.

Никодим успокоился. Время от времени он поглядывал на своего соседа. Послушник сидел, опустив лицо к земле и раскапывая землю прутиком.

— Никодим, ты нездоров! Пошел бы ты лучше домой, — сказал Валентин, подходя к ним. (Он с крыши дома видел, как Никодим грохнулся лицом в землю.)

— Нет, — ответил Никодим совсем ласково, — я совершенно здоров. Садись лучше с нами. Вот мы с Федюлом Иванычем о тенях разговаривали. Здесь, знаешь ли, по рубежу тени мертвых ходят.

— Ну, конечно, ты не здоров. Какие тени? — тревожно спросил Валентин и взял брата за руку.

Никодим отстранил эту руку очень любовно, поднялся и пошел опять к лесу. Валентин хотел было пойти за ним вслед, но послушник удержал его:

— Не ходите, — сказал он, — ваш брат совершенно здоров, только ему нужно успокоиться.

ГЛАВА XXX Лестница Актеона.

«Что это со мной? — думал Никодим, уходя от послушника и Валентина. — Спрашиваю всех без конца, а спросить не умею. Ведь Марфушин знает что-то и про Лобачева, и про маму, и про Арчибальда; гораздо больше про Арчибальда знает, чем сказал мне».

Никодим сошел с бугра вниз и остановился.

«Это все потому, что прямоты и твердости во мне мало, — продолжал он размышлять, — просто неприятно мне, когда Марфушин говорит о маме или Уокер о госпоже NN — неприятно, что это они говорят, сами неприятные мне. Другой на моем месте давно бы выпросил обо всем, а я не могу: язык не слушается. И зачем около меня вертятся все эти Лобачевы, Марфушины, Певцовы, Уокеры и прочие?»

«Мне трудно. Но неужели я на самом деле болен и Валентин прав? Нет, я не болен. Я только устал очень и потому еще больше устал и разбит, что сегодня так много плакал. Мне просто нужно выспаться хорошенько, и тогда все пройдет. Вот и пойду спать».

Чтобы привести последнее намерение в исполнение, следовало бы идти к дому; однако Никодим опять направился в лес.

Уже немного оставалось до вечера, хотя было еще светло. Но Никодиму казалось, что стемнеть может каждую минуту, и лишь только стемнеет — он сейчас же встретит Уокера. Уокер будет глядеть на него из-за веток, как в тот день, когда они столкнулись на берегу озера у камня, но будет стоять неподвижно, и лицо его бледное с пятнами крови покажется очень страшным...

Сердце Никодима от таких мыслей и смутного ожидания холодело и учащенно билось: он придерживал его рукою.

Лес становился гуще и темнее; Никодим шел очень знакомою и памятною ему дорогою, только не замечал этого...

«Где я?» — спросил он себя.

Осмотрелся. Да ведь это та самая лощина, в которой он когда-то с отцом увидел мертвого благородного оленя, и он идет по ней, но идет тропинкой, которую в прошлый раз почему-то не заметил...

Прямо перед ним, в траве, переплетшейся с кустами, виднелись полусгнившие ступени лестницы; она вела на дно лощины. Никодим насчитал семь ступеней.

«Семь ступеней — семь цветов радуги», — сказал Никодим, и вместе ему стало холодно, и лихорадочная дрожь пробежала по его телу...

«Если проходить одну ступень за другою, — думал Никодим, — что будет? Еще и вначале увидишь весь мир, но он будет красным. То есть не совсем красным, особенно: не по красному красным — то есть так, как представляется мне с самого начала — это и будет красным; ступень дальше — станет оранжевым, совсем по-новому. Еще дальше — желтый, опять новее прежнего — и так далее: зеленым, голубым, синим, фиолетовым. Потом, когда станешь на землю, мир будет настоящим, белым. Тогда можно будет торжествовать. Никто не знает, а эта лестница особенная.

И не нужно, чтобы знали. Я один буду ходить сюда...» «Потом дальше будет колодец, круглый; но такой, что только человек может влезть. Колодец очень глубокий, и в нем темно».

Никакого колодца под лестницей не было: его рисовало воображение Никодима, но зато над головой Никодима по гладкому краю обрыва виднелась надпись. Часть слов была смыта дождем, а часть еще сохранилась, и хотя с трудом, но можно было разобрать следующие слова:

«...подобно... Актеону: он... моей жене... после... смысл и присутствие собственного сознания... представил... терпи...»

Надпись была сделана рукою Никодимова отца, но Никодим надписи не заметил...

Темнота быстро надвигалась, и становилось холодно.

Огонек вывел его на прогалину, все на ту же прогалину, на которой он был сегодня уже три раза, к телу Уокера.

Понятые сидели у костра; лица их ярко освещались огнем, но Никодима в темноте они не могли заметить. Ступал же он по земле очень тихо.

Понятые разговаривали. Младший говорил старшему:

— Что ты думаешь, все эти Ипатьевские испокон веку с нечистой силой возились. Сам знаешь, она-то сама к таким напрашивается спервоначалу, а потом свяжутся и так понравится, так понравится — водой не разлить.

— Полно к ночи-то говорить всякое, — зевнув и крестя рот, ответил второй понятой.

— А вот наши видели на покосе прошлым летом, как лобачевский-то управляющий ее гнал. Она бежит-бежит, присядет, да потом, как заяц, и сиганет с одного маху через поляну.

— Полно тебе! — сказал опять второй, усовещивающим голосом. — Никто, как Бог один.

— Перекрещусь — не вру, — заговорил первый, горячась. Но в это время из мрака перед понятыми выросла фигура Никодима.

Они вскочили, испуганные, дрожащие. Может быть, им показалось, что это была душа покойника.

Но они тут же признали Никодима. Однако появление его их опять и удивило, и устрасило, должно быть. Они перестали разговаривать.

Старый понятой потом сказал Никодиму, стоявшему молча:

— Не к добру это, барин, что вас все сюда ведет. Нехороша примета.

— Я заблудился, — ответил Никодим, — и вышел на огонек. Теперь пойду к дому. Пора спать.

Он говорил спокойно, немного усталым голосом, но словно ему не было никакого дела, что здесь рядом лежит труп Уокера.

— Страшновато, — заметил молодой, — я не пошел бы один. Кто его знает, за каким кустом стоит. А вдруг схватит.

— И что ты, Федор, сам на себя страх наводишь, — сказал старый понятой, но таким голосом, что чувствовалось, что он боится еще пуще, чем его товарищ.

— Ничего не страх, — ответил тот излишне бойко и развязно, — а только барину хороший совет даю.

При последних словах и у молодого застучали зубы.

Никодим знал, что ему нужно торопиться домой, но от всех этих слов на сердце и у него стало жутко. Он стоял и не решался пойти.

Только сделав очень большое усилие, он шагнул в сторону и скрылся во мраке.

Дома было весело и уютно. В столовой, при спущенных шторах, зажегши всюду огни, сидели за кипящим самоваром Валентин, Евлалия и Алевтина, толь-

ко что приехавшая из города, и господин в черном, по наружности и одеянию актер.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — сказал актер громко. Никодим поглядел на него со старанием припомнить, где он этого актера уже встречал, еще совсем недавно.

— Мы познакомились на днях с вами, в одном имени на празднике, — пояснил актер. Это был тот самый актер, что походил на Лобачева. Однако Никодиму присутствие актера стало уже безразличным.

Потом пили чай. В середине чаепития актер обратился к Никодиму.

— Я к вам по делу, — сказал он, — не хотите ли вы вступить в мою труппу на всю зиму?

Предложение было чрезвычайно неожиданно для Никодима, особенно оно не связывалось у него со всем тем, чему он был сегодня свидетелем и что сам делал и думал. Ему стало смешно от сознания всей нелепости предложения.

Он подумал-подумал и ответил:

— Как же так? Я никогда не играл. И почему вы обращаетесь ко мне?

— После того как я встретил вас там, вы не выходили из моей головы.

— Нет, — сказал Никодим, — так прямо я не могу. Я поеду с вами, посмотрю, попривыкну и решу впоследствии. Необходим некоторый опыт.

А через минуту Никодим уже не мог бы объяснить, почему он так легко согласился на предложение актера, или что подтолкнуло его на это.

ГЛАВА XXXI Происшествие в театре.

Через месяц Никодим уже свyksя с кулисами; он еще ни разу не выступал перед публикой, но уже разучил две роли в новых драмах и подготавливал третью, которой окружающие придавали особое значение; в ней же он собирался и выступить на суд публики.

Бывает так, чтоходишь в новое дело и в новое место — и в деле, и в месте все кажется немного страшным, потому что и то, и другое неизвестно. Но проходят дни, и человек мало-помалу привыкает. Так же и Никодим, привыкнув видеть перед собою каждый день и каждый вечер пьяненького, но добросовестного суфлера, щеголеватого театрального парикмахера с чересчур нафабренной и слегка подкрашенной эспаньолкой, театральных плотников — одного очень рыжего, другого очень черного, в грязных бумазеевых рубашках, с постоянно вываливающейся подоплекою; первого любовника труппы, примадонну и прочих, и прочих, вместе с оборотной стороной декораций и смешною вблизи бутафорией, стал этому всему своим человеком, зажил одною с ним жизнью...

В противоположность всем остальным членам труппы у Никодима всегда были деньги; новоявленные товарищи и приятели Никодима это знали и дорожили его дружбой.

Он пробовал сначала открещиваться от них, но начал постепенно сдавать, стал больше думать о своих ролях, чем о себе, и у него выработалось сносное и простое отношение к товарищам: он привык или не замечать, или прощать им их грешки.

Накануне своего первого выступления Никодим сильно волновался, быть может, сильнее, чем кому-либо доводилось из всей труппы когда-либо. Весь спектакль накануне дебюта он просидел в первом ряду, внимательно ловя каждый жест, каждое движение своих товарищей, чтобы в последний раз поучиться: себе он не совсем доверял; ему казалось, что на сцене он будет чужим человеком и публика это сразу заметит.

Первое выступление Никодима ознаменовалось необыкновенным и ужасным происшествием. Происшествие это было описано в местных газетах (я забыл сказать, что труп, в которой участвовал Никодим, играла в одном из больших поволжских городов), но, во-первых, газетам не позволили напечатать точное описание события, а во-вторых, даже если бы им и позволили говорить правду, то редакторы их ни за что не рискнули бы предать тиснению все те рассказы, которые от очевидцев пошли по городу, — так как коллеги их из других городов упрекнули бы редакторов местных газет в легковерии, а их органы (вполне серьезные) — в пристрастии к сплетням, которыми позволительно пробавляться только желтой прессе...

Публика же, которая гораздо неосмотрительнее редакторов, потому что не чувствует за собою обязанности давать отчет в своих поступках и словах, говорила о происшествии, освещая его подробно, и хотя среди публики также встречались скептики, но они терялись в общей массе, и возражения таких скептиков выходили негромкими.

Когда рассказы о происшествии дошли до базарной площади, один старичок, торговавший книгами и картинками духовно-нравственного содержания и давно ожидавший светопредставления, сказал: «Не иначе как Антихрист родился» — и заплакал горькими слезами.

В газетах же можно было прочесть только приблизительно следующее:

«Вчера, 15 октября, в нашем городском театре во время представления новой пьесы «Приговоренный к казни», о которой подробный отзыв дает специальный наш сотрудник в театральном отделе, после выхода в последнем акте на сцену мало известного гастролера Александровского, выступавшего в нашем городе впервые, среди публики произошла паника, вызванная внезапным появлением огня над авансценой. Появление огня было следствием плохого устройства топки, как впоследствии выяснилось. Но небрежность эта дороже всего обошлась публике, которая пострадала и без пожара, во-первых, своими боками во время давки, а во-вторых, и кошельками, так как, не увидев пьесу до конца, денег за билеты обратно не получила, несмотря на предъявленные некоторыми лицами из публики требования.

Число пострадавших приводится в известность».

Я обязан изложить происшествие в точности, откинув все дошедшие до меня сплетни и слухи.

Никодим в тот день с последней репетиции пьесы направился к себе в номер гостиницы, чтобы отдохнуть до спектакля и в тишине еще раз обдумать свою роль.

На площади у гостиницы его кто-то окликнул. Никодим осмотрелся, но не заметил никого, кто мог бы издать возглас, обращенный к нему. Зато на другой стороне площади он увидел Феоктиста Селиверстовича Лобачева. Лобачев шел быстро, нахлобучив каракулевую шапку и подняв воротник пальто; руки он заложил в карманы и под мышкой нес палку; смотрел в землю, никуда не оборачиваясь. За Феоктистом Селиверстовичем шли четыре молодца; по всему было видно, что они сопровождали Лобачева, но за дальностью расстояния Никодим не мог рассмотреть их хорошо.

Увидев Лобачева, Никодим обрадовался (он уже давно скучал по нему и даже хотел писать Феоктисту Селиверстовичу письмо); обрадовавшись, побежал через площадь за ним вдогонку, но, когда перебежал на другую сторону, Лобачев успел свернуть за угол в ближайшую улицу. Никодим тоже свернул туда, но на улице уже ни Лобачева, ни спутников его не увидел. Никодим подумал тогда, что он обознался.

Явившись вечером в театр, Никодим перед началом

спектакля успокоился, и только когда ему уже нужно было идти на сцену — снова очень заволновался. Комик Иванов-Деркольский попробовал успокоить его словами, но из того ничего не вышло, и комик махнул рукой.

Быть одному на сцене, в полумраке, среди свешивающихся серых сукон, перед совершенно черным и неразличимым залом, как перед пропастью, очень нелегко. Нужно на то иметь особенную душу и большую веру. Когда Никодим вышел, зрительный зал жутко молчал.

Но вера к Никодиму явилась быстро: он твердо провел первые акты и в третьем получил в награду аплодисменты, еще не очень дружные, но явно одобрительные: очевидно, его игра понравилась.

Нужно было начинать последний акт. По ходу пьесы Никодим должен был появиться на сцене один, перед помостом из досок, приготовленным для казни. Герой трагедии убежал из тюрьмы, но невольно ночью, пробираясь по городу, сам пришел на площадь к возведенному для него эшафоту. Измученный душевными страданиями, он в ту минуту понял, что единственный исход для него — смерть и добровольно взойшел на помост, чтобы ждать палача. Все это было натянуто и нелепо, конечно, но так было: актер обязан подчиняться драматургу всецело, иначе взаимодействия между ними не будет.

Всходя на помост, Никодим скрестил руки на груди (ему казалось, что так будет лучше всего) и, взойдя, лег навзничь, весьма смиренно, чем на публику произвел большое впечатление. В публике пронесся едва различимый шорох.

Никодим так бы и пролежал, сколько требовалось, а потом произнес бы несколько слов. Но только что он лег — мучительная боль, начавшись в голове у затылка, пронизала все его существо до кончиков пальцев на ногах и отняла у него язык.

Двое или трое из публики вдруг крикнули тогда резко и иступленно на весь зал. Что они крикнули, разобрать было нельзя, но их крик подхватили еще некоторые, и тут же он перешел в общий вопль.

Все, оставив свои места, бросились к выходам, не оглядываясь на сцену. Многие не знали, в чем дело, но бежали, не разбираясь. Произошла давка. Несколько человек были раздавлены насмерть, другие изувечены, но большинство только кричало от страха; груды тел, свиваясь, бились в проходах в темноте, и никто не мог дать огня потому, что ведь это был не пожар, а совсем особенное.

Никодим же продолжал лежать неподвижно, и то, отчего люди бежали, приковывало его к себе. В ту минуту это было для него очень небольшим и незначительным, тогда он был способен на гораздо большее, — только огненное отражение его лица и скрещенных кистей рук, то есть того, что из его тела было не прикрыто одеждой, появилось и стало в черном воздухе над авансценой. Отражение лица было неподвижно, руки не шевелились; глаза же в огневом сиянии самого лица не могли светить.

Через пять минут, уже при зажженном свете, когда смятение немного улеглось и отражение исчезло в электрическом освещении, несколько человек явились на авансцену и отнесли молчавшего и неподвижного Никодима к нему в уборную.

Лежа в уборной на диванчике, Никодим за стеною слышал разговор двух актрис: комической старухи Подорезовой и примадонны Грацианской (он их признал по голосам).

Примадонна говорила:

— Вы понимаете, что я не деревенская баба, чтобы верить всему, что мне скажут, но знаете ли, когда мне сказали сейчас об этом, то я невольно поверила. Он не только может вводить в заблуждение всех своим ви-

дом — он способен создавать двойников по собственной воле и отпускать их в люди.

— Что вы, матушка, говорите! — со страхом в голосе воскликнула старуха.

— Если это вы обо мне рассказываете, — закричал Никодим сквозь стенку, — вы говорите сушью правду. Двойника своего я уже показал одного — с вас хватит. Но я вам еще и не то покажу. Вот я вас!!!

И застучал с силой кулаком в стену.

Дамы взвизгнули в ужасе и выбежали из соседней уборной вон. Одновременно с ними выбежал и из уборной Никодима театральный парикмахер, приставленный к нему для наблюдения: он перепугался едва ли не больше дам.

В дверь, оставленную парикмахером открытой настежь, вошел вдруг Феоктист Селиверстович Лобачев. Он был во фраке, с белой розой в петлице и с серым цилиндром в руках; лицо его сияло радостью.

— Я вам раньше говорил, что ничего для вас нет лучше, как идти на сцену, — обратился он к Никодиму, — смотрите, какого успеха вы достигли при первом же выступлении.

— Очень рад вас видеть, Феоктист Селиверстович, — ответил ему Никодим во весь голос, в то же время стараясь вспомнить, когда Лобачев давал ему такой совет. И протянул по направлению к Лобачеву руку, но Феоктист Селиверстович попятился, поклонился и вышел вон, держа цилиндр в руке.

Тут в уборную явились два врача в сопровождении антрепренера и нескольких артистов. Врачи отдали распоряжение отвезти Никодима домой в гостиницу, а сами все время в его присутствии советовались, не отправить ли его прямо в больницу.

Но Никодима свезли все-таки в гостиницу и оставили в номере с сиделкой. Уже успокоившись совершенно и попросив себе горячего чая, Никодим подумал: «Все это пустяки. А нужно мне съездить в Палестину непременно», — и, повернувшись на другой бок, почувствовал легкую дрему. Засыпая, он повторял в мыслях: «В Палестину, в Палестину».

ГЛАВА XXXII Содомская долина.

У Никодима понемногу сглаживалось впечатление от прибытия в Яффу, от пути в Иерусалим, от посещения Гроба Господня и других святых мест. Многие из увиденного начинало забываться, некоторые частности в воспоминаниях принимали уже иной вид, чем получили его впервые. Никодим ехал на муле к Мертвому морю.

Дорога подходила к концу, но становилась все угрюмее и неприветливее: громоздились камни, раскаленные солнцем, не видно было птиц, людей, животных и очень скудно произрастали растения.

Сопровождавший Никодима слуга-сириец подремывал, свесив с мула свои длинные ноги — настолько длинные, что, когда в дремоте он опускал их невольно, они цеплялись за камни. Тогда он, ворча, поддери-гивал их.

Сириец этот явился к Никодиму с предложением своих услуг еще в Яффе. Он немного говорил по-русски и очень хорошо по-английски, но в лице его и в облике сирийского было весьма мало — скорее он напоминал англичанина, и Никодим даже подумал, не отпрыск ли крестоносцев этот сириец. Однако сам сириец, спрошенный Никодимом о том, отговорился полным незнанием, и действительно, по выражению его лица в ту минуту можно было думать, что крестоносцы — для него звук пустой.

Он мало разговаривал и чаще всего мурлыкал песенку, но за Никодимом присматривал очень внимательно и оказался добросовестным слугой.

К Мертвому морю Никодим ехал не только по собственному желанию: в Яффе ему подали письмо от Якова Савельича, который извещал его, что он сейчас живет в Иерусалиме, но оттуда предполагает ехать к Мертвому морю и, если Никодим свободен, пусть приедет туда же, чтобы непременно повидаться с ним.

Дорога в письме была указана. Сириец уверил Никодима, что он также знает дорогу. Но теперь, задремав, он, по-видимому, сбился с настоящего направления и, когда Никодим, наскучив некончающейся ездой, окликнул его — сириец, вздрогнув от неожиданности, протер глаза, осмотрелся кругом и сказал с досадой:

— Мы не туда попали, напрасно я понадеялся на мулов.

— Что же будем делать? — спросил Никодим.

— Мы можем ехать наугад в сторону, хотя это очень трудно, — пояснил сириец, — лучше нам ехать той же дорогой — наверное, куда-нибудь приедем и спросим там. Я не местный житель. Я знаю только одну дорогу.

Никодим согласился. Они тронулись дальше и к вечеру заметили у дороги одинокое строение обыкновенного в тех местах типа, белое с плоскою кровлей.

У порога жилища находились двое: очень старый еврей, с седой бородою до пояса, одетый в черное и молодой человек тоже еврейского типа, но в клетчатом европейском костюме коричневого цвета.

Старый еврей сидел на пороге, закрыв глаза, и нараспев произносил молитву, а молодой с веселым и приветливым видом покуривал папироску и посматривал по сторонам.

За домом, запирая проход между двумя скалами, возвышались тяжелые железные ворота, утыканные поверху зазубренными железными остриями. Ни одного растения не было видно около дома — голый камень и песок повсюду.

Сириец, ехавший впереди, слез с мула и, ведя его в поводу, направился к молодому еврею.

— Даст ли господин путникам совет и ночлег? — спросил его сириец.

Еврей ответил утвердительным кивком головы и сказал:

— Прошу пожаловать к нам. — Затем, обратившись к старому еврею, добавил: — Ты бы, Янкель, прекратил на время свое пение: не всякому оно понравится. К нам приехал просвещенный господин.

Старый еврей открыл свои глаза, посмотрел на Никодима одно мгновение, снова закрыл их и продолжал петь.

— Войдите, господа! — сказал молодой еврей, отворяя дверь в жилище.

Никодим передал повод своего мула сирийцу и вошел в дом. Посередине первой комнаты стоял большой некрашенный стол, на нем находились два высоких глиняных сосуда с узкими горлами, лежал нарезанный белый хлеб, а кругом стола стояли скамейки. В углу возвышалась конторка американского типа с промока-тельной бумагой, густо закапанной чернилами; на ней были поставлены письменные принадлежности.

— Вы из России? — спросил еврей, пытливо глядя на Никодима и уже по-русски.

— Да! — ответил Никодим радостно. — А вы тоже из России?

— Нет, я из Берлина. Я раньше жил в России и был русским подданным. Теперь уже нет. Но родители мои и сейчас живут в Белостоке.

— Что же вы здесь делаете?

— Я состою на службе.

— У кого же?

— Нет, это не лицо. Это акционерная компания.

— Как же называется ваша компания?

— Она не имеет названия. Это аноним в полном

смысле слова. Но мы обслуживаем главным образом государственную власть почти всего мира. То есть те правительства, разумеется, которые располагают деньгами.

— Почему же вы здесь?

— Здесь находится одно из наших учреждений.

— Какое?

— Я не могу сказать. Не имею, собственно, права. Но я вижу, что вы человек порядочный и можете дать мне слово никому не рассказывать об этом в течение двух лет.

— Хорошо. Я дам вам это слово.

— Слушайте. Я бедный еврей Лейзер Шмеркович Вексельман из города Белостока, но я делаю важное дело, потому что я еврей. Только еврею компания могла доверить такое дело.

Он остановился на минуту, опять пытливо глядя на Никодима.

— В чем же дело?? — удивленно спросил Никодим.

— Есть разные женщины, — почти шепотом заговорил снова еврей, — но только еврей может знать, что такое женщина. И вот мне поручили...

Он, очевидно, с трудом находил соответствующие важности его положения слова. Глаза еврея бегали по сторонам.

— Да, — продолжал он, — здесь за воротами находятся на полном моем попечении (не думайте, что тот старый Янкель мне начальник; он должен только за определенную сумму справлять за меня все необходимые обряды; мне самому некогда тем заниматься; у меня по горло работы), — так вот несколько женщин, которых нельзя было посадить в тюрьму, но и нельзя было оставить на свободе. Они мужеубийцы...

Еврей запнулся, будто сожалея, что он рассказал Никодиму так скоро все.

Никодим на его слова ответил, желая помочь ему выйти из неудобного положения.

— Мне же это неинтересно — пусть акционерная компания. Мы ищем только отдыха и ночлега.

— Ах, нет, вовсе нет! — засуетился еврей. — Вы меня не понимаете, это очень важно: ведь здесь находится также и ваша жена.

— Действительно не могу понять, — сказал Никодим, широко раскрывая глаза, — я не женат, а, кроме того, если здесь мужеубийцы, то почему я жив?

— Ах да! — сказал еврей, почесывая подбородок. — Я забыл вам сказать: ваша жена особенная. Она тоже мужеубийца, как остальные, но по-другому.

— Все же, я решительно ничего не понимаю, — возразил Никодим, — но если моя жена особенная, как вы говорите, то нельзя ли, во внимание к этой особенности, позволить мне взглянуть на нее хотя раз? Где же она, в другой комнате, что ли?

— Нет, она вместе со всеми остальными за воротами. Там долина, и они живут.

— Какая же долина?

— Хорошая долина. Все, что осталось от Содомской. Растения, фрукты, плодородная земля — нельзя и сравнить с тем, что у нас. Я думаю, женщины там хорошо устроились — вы знаете, как умеют устраиваться женщины.

— Да, я знаю, — ответил Никодим, — но, голубчик, нельзя ли мне попасть туда к ним?

Еврей заколебался.

— Ну, прошу вас, — повторил Никодим.

— Господин Ипатьев, — сказал еврей, называя Никодима по фамилии, хотя до того в его присутствии Никодим еще не называл себя, — вы поняли меня, вероятно? Мне очень хотелось передать вам все, что я знаю, ведь так трудно знать и не иметь права кому-либо рассказать об этом. Я рассказал, но не считите, что я болтлив. Янкель не должен знать ничего; слугу

вашего я вижу первый раз, но кто он? Как же я могу?

— Вы боитесь, что я расскажу. Но ведь вы же просили меня никому не говорить? И я дал слово. Пожалуйста, успокойтесь.

— Я уже успокоился. Но душа моя будет больна, если я вас пущу туда. Еще третьего дня один из нас, местный житель, из любопытства, а может, и по другому чему, прошел к ним (я не заметил как) и больше не возвращался. Ай-ай, что с ним?

— Что же с ним могло случиться?

— Ах, вы не знаете этих женщин. Они так ненавидят мужчин. Только дурного и жди от них. Они его замучили до смерти, наверное, а потом съедят.

— Полно вам! Разве эти женщины — людоедки?

— О, вы не знаете их!

— Но все же пустите меня к ним, — просительно повторил Никодим... — Не беспокойтесь, я вернусь к утру. Скажите, есть у вас бритва? Я оставил свою в Иерусалиме.

— Я вас понял! — воскликнул еврей, радуясь, что он действительно постиг намерение Никодима, — но, ведь если вы пробудете дольше, чем до утра, борода отрастет. Но не подумали вы и о другом — где же мы достанем платье?

— Да, не подумал, — сказал Никодим, разочаровываясь в своем плане.

— Не горюйте, — с самодовольной улыбкой ответил еврей, — у меня есть платья, я кое-что припас: этим женщинам присылают их много, а я припрятал, будто знал, что вы приедете сюда. О, недаром бедного Лейзера всегда считали проницательным человеком. Еще папаша, когда я жил в Белостоке, говорил мне каждый день: «Ты, Лейзер, будешь у меня самый умный и полезный ребенок». Садитесь, господин Ипатьев, я вас побрею. Я люблю помянуть старое — когда-то в Белостоке, там папаша имеет две собственных парикмахерских, мне часто приходилось бриться.

Через короткое время Никодим преобразился совершенно. Вексельман его начисто выбрил, подзавил ему пряди волос, перерядил в женскую одежду, выбрал очень шедшую к Никодиму шляпу — повертел его, повертел и, удовлетворенный результатами своей работы, сказал: «Готово!»

— Теперь пойдемте, — попросил он, вывел Никодима другою дверью через вторую комнату наружу, провел узким каменным коридорчиком к калитке, сделанной в скале рядом с воротами, и остановился около нее.

— Я... я боюсь за вас, — сказал он, глядя Никодиму в лицо, причем нижняя губа у него задрожала, — вы не вернетесь.

— Вернусь, — уверенно ответил Никодим.

— Всю ночь я не буду спать и буду стеречь у калитки. Когда вам придется вернуться, вы стукните два раза — я открою сейчас же. Но пусть женщины этого не видят. Если встретите там нашего слугу — молчите, чтобы он не выдал вас. Берегите себя. Я открываю.

Он щелкнул замком калитки с таким видом, будто показывал замысловатый фокус. Калитка отошла небольшою щелью. Никодим ухватил калитку за край, потянул к себе и прошел туда, в сумрак; дальше нужно было идти ходом, прорубленным в сплошном камне, ход заворачивал влево.

Калитка за Никодимом защелкнулась. Первые шаги Никодим шагнул неуверенно, весьма колеблясь, но потом оправился и смело пошел вперед.

Коридор кончился. У самого выхода росли большими кустами розы. Они были в полном цвету. Над ними колыхались пальмы, и тут же легкою струйкою падала из утеса холодная вода, убегая по каменному же-

лобку вдоль дорожки. Никодим набрал воды в горсти и напился ею, она весьма освежила его.

Солнца Никодим за скалами не видел — оно, вероятно, было уже недалеко от горизонта. Но в воздухе не чувствовалось приближения холода. А за кустами, у дорожки, невдалеке, склоняясь над куртинами и срывая цветы, стояла женщина в белом и пела песенку. Еще дальше Никодим увидел другую, в голубом. Долина же, расширяясь, постепенно уходила к смутно различимым граням.

ГЛАВА XXXIII

Ночь в долине.— Мертвый город и деревянная башня.

Никодим подошел к первой женщине и поклонился. Его поклон выдавал в нем мужчину, но женщина, должно быть, этого не заметила. Никодим же почувствовал, что сделал неловкость, стал извиняться, еще больше смутился и замолчал.

Первая женщина была очень молода, стройна и высока ростом, одета в белое легкое платье с нежно-голубым воротником, такими же обшлагами и поясом; она испуганно взглянула на Никодима светлыми большими глазами. Рот у нее был маленький, красивый, щеки покрыты слабым румянцем, белокурые буколки выбивались из-под соломенной шляпы, а чулки и туфли были тоже белые.

— Вы... сегодня только попали сюда? — спросила она по-французски и запинаясь от неожиданности.

— Да, только сегодня... приехала, — ответил Никодим, тоже запинаясь. Он положительно не знал, куда девать руки, и, право, никогда не предполагал, что так трудно будет держаться в женском одеянии.

Собеседница оживилась.

— А здесь найдется для вас очень хорошая комната. Вы англичанка? — зашептала она.

— Да, англичанка, — ответил Никодим, пользуясь тем, что он сносно изъяснялся по-английски.

— Пойдемте же, пойдемте, — сказала она, беря его за руку, и потащила за собою. — Я познакомлю вас со всеми.

И она побежала. Никодим побежал рядом с нею.

Она вывела Никодима на обширную площадку, обсаженную разнообразнейшими, но искусно подобранными цветами. Посередине многими струями, загорающимися в последних лучах солнца, бил фонтан, далеко разбрасывая брызги и освежая ими воздух. На скамьях, расставленных повсюду, сидели женщины. Их было до тридцати, они или читали, или занимались рукоделием. При появлении Никодима и его спутницы головы всех повернулись в сторону пришедших не без любопытства.

— Наша цветочница привела кого-то, — сказала одна дама, уже почтенная, вставая и направляясь к пришедшим.

Глаза всех сидевших при этих словах загорелись, и все заговорили разом свои приветствия. Но взор Никодима был привлечен только глазами одной из них, сидевшей у фонтана и глядевшей на него молча. Это была госпожа NN. Никодим понял, что она узнала его, и со страхом ждал, что будет дальше.

Госпожа NN вдруг воскликнула веселым голосом:

— Ах, я знаю, кто это. Это госпожа Ипатьева, из России. Ведь мы встречались, Нина Михайловна, — обратилась она к Никодиму.

Никодим только тогда вспомнил, что он не подумал найти себе новое имя. Но к восклицанию госпожи NN отнесся недоверчиво. Бог знает, может быть, она хочет посмеяться над ним сначала и потом выдаст его, подумал он.

Но она совсем не собиралась поступить так. Напротив, подошла к Никодиму, приняла его из рук той,

которую называли цветочницей, и, крепко пожав ему руку, быстро сказала, но так, чтобы другие не заметили:

— Пожалуйста, твердо ведите вашу роль.

— Да, мы встречались, — ответил он ей.

— Мы скоро будем ужинать. Вы разделите с нами первый ужин, а потом устроитесь здесь, — сказала она и начала знакомить Никодима со всеми остальными.

Никодим не мог запомнить их имен и через минуту уже всех спутал. В голове у него осталось только, что здесь были и француженки, и американки, и англичанки, две или три испанки, две итальянки, одна индуска и одна японка.

Делая реверансы, Никодим все же не переставал думать о том, что его ждет дальше.

Дамы, сидевшие на площадке, вскоре стали собираться, чтобы идти к ужину. Они еще не успели привыкнуть к Никодиму и не знали, как лучше обходиться с ним.

Госпожа NN, уже не оставлявшая Никодима, подхватила его под руку и повела в столовую. Дом, куда они вошли, оказался очень обширным. Столовая, убранная цветами, была в два света, с расписным потолком. Гул шагов и голосов терялся в комнате где-то вверху и в углах.

Но обитательницы этого радующего, богатого дома стали почему-то невеселы и мало разговорчивы. Молча сели они за стол, уставленный различными яствами и напитками в красивой и невиданной Никодимом посуде, и молча принялись кушать.

— Здесь всегда так... тихо и скучно? — робко спросил Никодим.

— Нет, — сказала госпожа NN, стараясь предупредить чей-либо ответ.

Пожилая дама, назвавшая первую женщину, увиденную Никодимом в долине, цветочницей, играла за столом роль хозяйки: угощала, напоминала то одной, то другой из сидевших о различных кушаньях, хвалила их.

Когда подали какое-то мясное блюдо, она сказала, обращаясь к Никодиму:

— Так как вы только сегодня прибыли и, вероятно, никогда не имели, в противоположность нам, возможности отведать этого редчайшего кушанья, я положу первый кусок вам. Через него вы войдете в нашу дружную семью.

— Ну, не очень-то дружную, — заметила госпожа NN вполголоса.

— А... что же это за блюдо?... Это не человеческое мясо? — опять очень робко спросил Никодим, вспомнив, что ему говорил Вексельман о пропавшем слуге. В ту минуту он слова Вексельмана принимал всерьез.

— Зачем вам знать? — сердито ответила ему почтенная госпожа. — Или вы хотите заводить здесь новые порядки?

Госпожа NN дернула Никодима за рукав, но он почувствовал, что если возьмет кусок в рот, кусок этот непременно станет ему поперек горла.

— Я, право, не знаю... я не могу, — трясаясь, как лист, пробормотал Никодим.

— Вы, должно быть, страдаете вегетарианством? — гневно спросила его почтенная госпожа.

— Нет... нет... я не страдаю вегетарианством, — попробовал оправдаться Никодим, но куска все-таки не решился взять.

Его выручила госпожа NN.

— Madame, прошу вас, — сказала она, обращаясь к почтенной даме, — моя знакомая вовсе не вегетарианка, но она очень устала с дороги и не совсем здорова.

— Как хотите, — отвечала почтенная госпожа, — можете не есть; только знайте, что завтра этого блюда я уже не могу вам дать.

И положила приготовленный кусок на другую тарелку.

— Я налью вам вина лучше, — сказала госпожа NN и налила ему красного.

Никодим, отпивая глоток за глотком, успел шепнуть своей собеседнице:

— После ужина мы поговорим?

— Да! — ответила она, но так громко, что многие на нее посмотрели.

Когда ужин кончился и застучали отодвигаемые стулья, госпожа NN отвела Никодима в темный угол.

— Разве можно вам здесь с вашей бородой, — воскликнула она шепотом и провела по его подбородку рукой, как бы желая знать, насколько борода отросла и не представляет ли она уже теперь опасности. — Еще ничего, — сказала госпожа NN, — но ждать безумно. Милый мой, бегите, если знаете дорогу. — И, сжав страстно его руку, добавила: — И меня возьмите с собой, — вкладывая в последние слова все свое очарование.

— Да, я не могу здесь оставаться, — сказал Никодим, — я обещал вернуться к утру. Вексельман и слуга ждут меня. Я должен торопиться. И здесь страшно.

— Торопитесь, торопитесь, — повторила госпожа NN, — если вы не хотите разделить печальную участь попавшего сюда на днях слуги.

— Идем, — сказал Никодим, — я знаю дорогу.

Они вышли из столовой, никем не замеченные. Никодим отыскал знакомую дорожку и быстро, быстро пошел. Госпожа NN едва поспевала за ним. Она сильно волновалась.

В наступившей темноте по звуку падающей воды и сильному запаху роз Никодим отыскал вход в каменный темный коридор и ошупью нашел калитку. Отыскав ее, он стукнул два раза.

Калитка раскрылась и выпустила их на площадку. Но ничего не было в этой площадке похожего с тою, на которой Никодим вечером оставил Вексельмана.

Эта площадка находилась в конце широкой городской улицы, обставленной белыми домами и освещенной большими фонарями с молочным светом. Калитку за Никодимом и госпожой NN запер молодой человек — негр в высоком белом тюрбане, вооруженный холодным богатым оружием.

— Мы не туда вышли, — с досадой сказал Никодим, отступая к калитке, но негр загородил ему дорогу с красноречивым жестом, который говорил одно: нельзя.

— Мы пропали, — сказала госпожа NN упавшим голосом. — Наверное, войдя в долину, вы напились воды из источника у розовых кустов? Зачем вы мне не сказали? Теперь нам нет выхода.

— Не волнуйтесь, я знаю, как спастись, — ответил Никодим твердо, уверенный в ту минуту, что он непременно найдет выход и для себя, и для своей спутницы.

Они пошли вдоль улицы, совершенно пустынной, не встретив ни одного живого существа, и на пути заметили дом, освещенный особенно ярко, и доску, прибитую на нем у подъезда, где золотыми буквами по черному было написано: «Hôtel».

— До утра нам лучше обождать в городе. Я устал, и вы тоже. Остановимся здесь, — сказал Никодим госпоже NN.

Она кивнула головой, соглашаясь. Он раскрыл дверь и, пропустив госпожу NN в вестибюль, прошел за нею следом.

Оба они боялись погони и уговорились, откинув излишнюю стеснительность, ради безопасности переночевать в одной комнате, но Никодим так и не мог заснуть до утра, а госпожа NN немного поспала.

Как только стало вполне светло, Никодим разбудил свою спутницу и сказал ей усталым от бессонной ночи голосом:

— Больше нельзя спать. Одевайтесь. У меня дурные предчувствия: я боюсь опоздать.

Госпожа NN быстро оделась. Позвав слугу, Никодим, уже переодевшийся в мужское платье, которое он ночью достал от слуги, расплатился и через минуту был с госпожой NN опять на улице. Они пошли дальше от отеля, надеясь выйти к городским воротам. Улица была так же пуста, как и ночью, и очень скоро кончилась; конец ее как раз пришелся у ворот. Там стояли двое стражей. Путники весело поспешили к ним в уверенности, что те сейчас же откроют им ворота.

Но, подойдя к воротам, и госпожа NN, и Никодим вскрикнули разом от неожиданности и ужаса: оба сторожа были изуродованы проказой до последней степени безобразия. Гнусавыми голосами закричали они, двинувшись путникам навстречу и размахивая алебардами. Намерения их были ясны: они хотели отогнать путников прочь или схватить их.

Госпожа NN и Никодим побежали от них вдоль городской стены.

— Я не могу. Я упаду! — задыхаясь на бегу, повторяла госпожа NN. — Отсюда нет выхода, я слышала про этот город... в нем только одни ворота, а за стеною еще стена. Остановись... Милый... милый... я больше не могу бежать.

И, заливаясь слезами, прижалась к стене.

Никодим остановился, но в ту же минуту услышал крик людей и увидел, что несколько человек бегут им наперерез. Между бежавшими были европейцы, но большая часть их была похожа на арабов в своих белых одеждах и чалмах. Они размахивали ружьями и палками и кричали все, но что? — нельзя было разобрать.

Никодим с растерянною, блуждающей улыбкой озирался по сторонам и смотрел на плачущую госпожу NN. И вдруг он решился на последнее, но единственное средство спасения. Бежать назад было бессмысленно — там ждали двое прокаженных стражей и ворота были заперты. Но между Никодимом и госпожой NN и приближающейся вдоль стены толпой находилась каменная лестница, ведущая на стену. Следовало достигнуть этой лестницы раньше, чем толпа приблизится к ней.

Схватив госпожу NN за руку и молча указав ей на лестницу, Никодим бросился вперед изо всех сил. Госпожа NN бежала, не отставая — надежда уйти вернула ей силы.

Путники достигли лестницы, может быть, полуминутой раньше бежавшей толпы и, под проклятия преследователей, взбежали на высокую стену. Часовой, расхаживавший по стене, выскочил им навстречу, пытаясь копьем загородить путь, но Никодим, схватив копье за конец, с такою силою откинул его в сторону, что часовой не сдержал равновесия и полетел со стены в город. Никодим же и госпожа NN, взбежав на стену, не раздумывая, бросились с нее в ров с водою. Воды во рву было немного, но она помогла им, так как, падая со столь высокой стены, они могли бы разбиться. Преследователи тоже взбежали на стену, но не решились соскакивать вниз и, побегав по стене, покричавши и помахав своим оружием, побежали обратно, может быть, намереваясь выйти воротами и вновь догнать беглецов.

Выбравшись из рва, Никодим и госпожа NN, совершенно мокрые, но весьма радуясь своему спасению, побежали дальше, правда, уже не так спеша, как прежде. Они оказались в обширном саду, среди зеленых лужаек с посаженными на них пальмами и каштанами. Каштаны были в цвету, и белые шапки их красовались везде и справа, и слева, и у рва, только что оставленного позади, и у садовой ограды, возвышавшейся невдалеке.

Никодиму и госпоже NN так легко было бежать по этому саду, точно они не бежали, а летели. Их сердца наполнило чувство, совсем схожее с тем, какое испытывает человек, когда он летит во сне.

— Как хорошо! — сказал Никодим, крепко пожимая руку своей спутницы.

Она звонко и радостно засмеялась, видимо, очень довольная тем, что Никодиму хорошо. Никодим с любовью поглядел на нее.

Они быстро добежали до садовой ограды. За оградой возвышалась высокая деревянная башня, суживающаяся кверху. Остановившись у ее подножия, госпожа NN сказала:

— Дальше не стоит бежать. Эти арабы не смеют выходить из города — я знаю. Я бежала по саду только потому, что боялась их ружей, но теперь хочу отдохнуть. Пойдемте в башню.

Никодим стоял в нерешительности. На лице его ясно изображалось, что он не доверяет ни здешним постройкам, ни их обитателям. Госпожа NN это увидела, усмехнулась и потянула его за руку. Лестница шла в башне винтом, и было в ней ступеней триста. Признаком жизни в башне никто не подавал.

Верх башни представлял собою открытую площадку с четырьмя столбами по углам для поддержки крыши; между столбами шла резная деревянная решетка, она же огораживала и отверстие на полу, через которое выходила лестница. Тут же стоял длинный расколотый деревянный стол, скамейки — две у решетки и одна у стола, а на столе в стеклянной маленькой вазочке, наполненной водою, были посажены полевые цветы на длинных стеблях.

Все деревянное: стол, скамьи, решетка, половицы, столбы — почернело от дождей, подгнило. Доски мочалились, мочала отдирались с пола длинными полосами. Но, несмотря на запущенность, вид площадки был уютен и приветлив: особенно красили ее простые цветы, поставленные на стол.

— Как я устала и вся мокрая, — сказала госпожа NN, усаживаясь к столу и кладя руки на колени. И взглянула при этом на Никодима веселым и лукавым взглядом.

— А правда это, — спросил Никодим, стоя перед нею, — что слугу, попавшего в долину... замучили и съели?

— Если вы будете спрашивать о таких вещах, я перекушу вам горло, — ответила она.

Нельзя было понять, в шутку или серьезно были сказаны эти слова. Но вслед она засмеялась и, пугая Никодима, оскалила свои зубы.

Никодим тоже засмеялся.

— Мне Вексельман сказал, — начал он, — такое, что я подивился... он мне сказал, что я... женат... и моя жена будто с вами... которая же была моя жена?

Госпожа NN порывисто встала, положила свои руки на плечи Никодима и, приблизив свое лицо к его лицу, сказала полупшепотом:

— Милый! Ты очень глупый человек. Неужели ты до сего времени не догадался, что я... твоя жена. Ты не подумай, что я в любви признаюсь... нет... я правду говорю.

ГЛАВА XXXIV

Черный вечер. — Ключ на горе.

Никодим возвратился в имение только в августе следующего года, а перед тем заехал в Петербург, чтобы получить из градоначальства свой русский паспорт. Когда ему вернули его, он внимательно перелистал все странички, чтобы удостовериться, действительно ли он женат. С одной стороны, было смешно

не помнить об этом, но с другой — Никодим давно перестал верить своей памяти и действительности и недействительности происходящего.

Однако в паспорте не было никаких пометок. Усмехнувшись и не зная, что об этом думать, Никодим отправился на городскую квартиру, где еще не был; он ведь так торопился получить паспорт, что поехал в градоначальство прямо с вокзала, а вещи отослал домой с посыльным. Дома Никодим застал отца и, поздоровавшись с ним наскоро, прошел к себе в кабинет; открыл бюро и достал свое метрическое свидетельство; на обороте свидетельства он прочел:

«Означенный в сем документе Никодим Михайлович Ипатьев сего 191* года июля 5-го дня повенчан первым браком с вдовою полковника английской службы Вильяма — Роберта Уокера графа N графиней NN, вероисповедания англиканского, третьим браком в С.-Петербургской церкви 191* года июля 5 дня. Означенной церкви настоятель Протоиерей (подпись). Псаломщик (подпись)».

Тут же стояли печать церкви и номер бумаги — 348.

Он не всплеснул и не развел руками: госпожа NN говорила ему о свадьбе не раз и смеялась над ним, когда он не хотел верить тому, но, смеясь, вместе с тем не желала и указать времени их венчания. Теперь же Никодиму стало ясно, почему когда-то, очнувшись на своей квартире после долгого беспамятства, он так упорно старался восстановить в памяти, что с ним было между потерей сознания у госпожи NN и приходом в него у себя на квартире. Это что-то, значит, и было венчанием, значит, просто-напросто он болел горячкой дважды и только теперь не мог отдать себе отчета, когда заболел ею вторично. Не мог он вспомнить и обряда венчания и с сожалением думал о том.

Войдя в столовую, он встретился с отцом совсем так, как тогда, после своей болезни. И сходство этих двух встреч очень остро почувствовал. Подойдя к отцу и взяв его за руки, Никодим спросил:

— Папа! Отчего ты мне не сказал о моей свадьбе с госпожой NN?

Отец ответил не сразу, будто он хотел сперва обстоятельно подумать, как следует ответить, и потом сказал:

— Я не люблю госпожу NN. Она очень привлекательна, но я не люблю ее.

— Ты, наверное, не хотел сказать мне о свадьбе, опасаясь, что я опять заболею?

— Нет, несколько, но я не желал и не желаю считаться с нею.

— Почему же? — спросил Никодим с обидой и возмущением.

Отец вспыхнул до корней волос и ответил резко:

— О чем спрашиваешь? Ты еще, пожалуй, спросишь, почему я не люблю твою мать?

Но Никодиму стало жаль отца: он поглядел на старика с болью в сердце и сказал:

— Я знаю твои несчастья и неудачи. Но по отношению к госпоже NN ты ошибаешься.

— Нет, — настойчиво заявил отец, — она тебя не любит и только сводит с ума на свою потеху. Оставим этот разговор. Ну, не сказал и ладно. Значит, так нужно было.

Старик повернулся и пошел к двери.

— Папа! — сказал Никодим. — Я любил и люблю госпожу NN, какая бы она ни была. И тебе, знаешь ли, сейчас не верю. Или ты никогда не любил маму, и она, покинув тебя, поступила правильно. Тогда ты просто не знаешь чувства любви.

Отец, не отвечая и не оборачиваясь, затворил за собою дверь.

— Папа, папа, — закричал Никодим ему вслед, — я знаю, почему — ты просто влюблен в госпожу NN и ревнуешь ее ко мне.

Дверь приоткрылась, отец показался на минуту на пороге, сказал: «Глупец» — и снова захлопнул дверь.

По звуку отцовского голоса Никодим понял, что предположение его было не так уж безосновательно, но тут же вспомнил о госпоже NN, о том, как она покинула его — неожиданно и обманно, и сердцу стало грустно.

С душою, вдруг почувствовавшей свою пустоту, и с пустым взором Никодим стал собираться в имение. Ему было уже известно через Евлалию, что Евгения Александровна вернулась и снова живет в имении.

Выходя под вечер на платформу, он, как бывало и раньше, увидел на платформе кучера Семена, поджидавшего барина. По выражению глаз слуги Никодим понял, что тому и хочется сказать о возвращении Евгении Александровны, и боязно вместе — как бы Никодим не рассердился.

В воздухе было душно и тревожно — перед грозой. Пыльные столбы пробегали по дороге. Мрачная туча тяжело поднималась из-за леса, а навстречу ей шла другая — мрачнее первой...

Дождь настиг Никодима недалеко от дома. Сначала, как и всегда, он капал крупными каплями — по одной, по одной то на поднятый верх экипажа, то на спину Семена и на руку Никодима и в дорожную пыль, а потом, учащаясь, сразу перешел в ливень. Семен, съездившись, принялся погонять лошадей, чтобы как можно скорее доскакать до дому. В это время мелькнула ослепительная молния и раздался первый потрясающий удар грома.

Коляска проезжала по бугру, по тому самому бугру, на котором когда-то Никодим и Марфушин сидели вместе у камня, и еще раньше Трубадур выслеживал проходившие тени.

Молния зигзагом ударила в бугор у камня — и Никодим и Семен явственно видели, как стрела ее уткнулась в землю. Лошади рванули от испуга и понесли; Семен, вскочив на козлах, изо всех сил старался их успокоить, но тщетно. Только доскакав домой и ударившись с разгону в ворота двора, они сразу остановились и присмирели, дрожа от страха всем телом.

— Ну-ну, будет, — сказал им Семен, глядя коренника по морде, боязливо дергавшейся.

Совсем мокрый Никодим пробежал в комнаты. Его первой встретила мать. Никодим сразу заметил в ней несомненную перемену, и эта перемена ему не понравилась. «Старуха!» — сказал он себе, определяя свою мысль о матери.

Мать встретила его просто и радушно, но в своем отношении к ней Никодим почувствовал вдруг необъяснимый холодок, словно он потерял часть уважения к Евгении Александровне.

Как только он прошел к себе наверх, поднялась туда же и она.

— Никодим, — сказала она, — я хочу с тобою поговорить.

И совсем по-старушечьи стала ему рассказывать, что денежные дела их плохи, что она затеяла различные улучшения и нововведения в хозяйстве, начала каменные постройки, но должна все это бросить, так как у нее нет денег, или же придется заложить имение и что об этом следует переговорить с отцом.

— Что вы, мама, беспокоитесь, — усмехнулся Никодим, глядя в сторону, — я дам вам денег сколько угодно — их у меня много. Миллионы.

Мысли его были всецело заняты переменной, происшедшей в Евгении Александровне.

Потом, повернувшись к замолчавшей матери, он спросил:

— Мама! Ты знаешь госпожу NN?

— Как же, — сказала мать возбужденно, — она здесь жила месяц, дожидаясь тебя. А потом ушла к Феокисту Селиверстовичу Лобачеву.

Последние слова были произнесены так, что Никодим пристально заглянул матери в глаза и подумал:

«Что с тобою, голубушка? Почему тебе это так больно?»

Мать поднялась с кресла, в котором сидела, и добавила раздраженно и укоризненно:

— Уходя, она сказала мне, что не может жить без... мужчины.

— Неправда, — спокойно и твердо возразил Никодим, — она не могла так сказать, она иначе сказала — подумайте.

— Да, — виновато поправилась мать, — она сказала «без мужа». Я ошиблась.

— Это совсем другое, — заметил Никодим и добавил: — Бог с нею. Я никому не судья — тем более госпоже NN.

— Ты, может быть, на улицу пойдешь, сад и хозяйство посмотришь. Дождь, кажется, перестал, — сказала мать, желая переменить разговор.

— Пойду, — ответил ей Никодим и, поцеловав ее руку, сошел вниз.

На выходе его встретил Семен и сказал:

— Барин, а знаете, где тогда молния-то ударила? На Бабьей меже, у круглого камня. Говорят, ключ там открылся — девки с грибами бежали, так видели. Не хотите ли посмотреть сходить?

Бабья межа и была та самая на бугре.

— Хочу, — сказал Никодим.

Но тут снова начался ливень и лил-лил без конца, весь вечер. И весь вечер прошел оттого черным и невеселым и в природе, и в душе Никодима.

Только на утро, когда солнце снова ярко и тепло заблестало, Никодим вышел на двор и встретился с Семеном.

— Пойдем, Семен, на Бабью межу, посмотрим ключ, — предложил ему Никодим...

Повсюду сбегали бесчисленные ручейки от вчерашнего дождя и журчали-журчали. Бежал ручеек и по Бабьей меже, по бороздам, но не от дождя: ключ действительно там пробился — прозрачная вода веселой струйкой выходила из-под камня и бежала вниз, размывая землю, чтобы затем потеряться в кустах.

Никодим и Семен постояли, поглядели. «Как бы назвать этот ключ?» — подумал Никодим, но не подыскал названия, хотя оно и вертелось у него на языке.

ГЛАВА XXXV У Праматери.

Прожив до половины сентября в имении, Никодим захотел повидать Феокиста Селиверстовича и в один прекрасный день собрался опять в Петербург. Втайне он надеялся встретить и госпожу NN, хотя наружно даже самому себе показывал, что встречаться с нею ему более незначит. «Все, все исчерпано до конца и без возврата!» — говорил он.

Дверь в квартиру Лобачева за Обводным каналом отворил Никодиму старичок в сильно разношенных, но чистых полосатых панталонах, клетчатом легком пиджачке и с шелковым клетчатым же платочком, обмотанным вокруг шеи, может быть, слуга, а по виду словно и нет. Откуда-то по всей квартире разносился шум — говорило сразу несколько человек, но что, нельзя было разобрать.

— Здравствуйте, здравствуйте, — зашамкал старичок (во рту у него не было многих зубов). — Разденьтесь, позвольте, я вам помогу. — И снял с Никодима пальто. — Почитай уж все собрались — вас, должно быть, ждут? — сказал он еще.

— Как меня ждут? — спросил Никодим. — Да ведь я так...

— Ах! Так, — ответил старичок, — ну, тогда извините: обознался я, да и много сегодня народу.

«А, может быть, и в самом деле ждут — кто знает этого Лобачева? Необъяснимый человек», — подумал Никодим.

— К кому же вы изволите? — спросил старичок.

— А я к Феокисту Селиверстовичу Лобачеву. Что, нет его?

— Батюшки нет еще, нет пока, — ответил старичок, — и не знаю, будет ли. Вам, может быть, сестрицу его повидать?

— А разве у него сестрица есть? Я не знал.

— Как же, как же! Глафирой Селиверстовной величают красавицу нашу, — сказал старичок, берясь за ручку двери, ведущей в следующую комнату.

— Пойдите, — удержал его Никодим, — на что мне, собственно, сестрица Феокиста Селиверстовича? Я его хотел видеть. Вы лучше скажите мне, когда он сегодня может быть. Я еще раз зайду.

— Никак невозможно-с, — ответил старичок, — порядок у нас такой, кому хоть невзначай сказали про Глафиру Селиверстовичу, должен человек ее повидать. Пойду доложу.

И вышел в соседнюю комнату. Шум, ворвавшись в переднюю через растворенную дверь, донес до Никодимовых ушей одну фразу: «Ничего-то вы не знаете, милостивый государь», — и тут же она оборвалась, как только старик дверь захлопнул. Через минуту старичок вернулся и сказал:

— Выйдут сейчас, красавица-то наша. Просили обождать. Да что вам тут стоять, прошли бы в залу.

Залой и оказалась та комната, в которую только что старичок выходил. В ней возвышался у стены громоздкий, очень старый рояль, по внешнему виду совершенно негодный к употреблению; крашенные полы были застланы свежими половиками; в плетеных корзинах-вазах стояли фикусы, латании, виноград, завивавшийся вверх по стене, по направлению к старомодному купеческому трюмо...

Никодим походил немного по комнате и сел на продавленный диван, который все-таки был там единственной мягкой мебелью.

Из залы шум и разговоры были слышны явственнее. Можно было понять, что говорят и мужчины, и женщины, и не в одной комнате. В комнате же рядом двое заговорили вдруг так, что каждое слово их стало слышно Никодиму.

— И совершенно напрасно вы так рассуждаете, — сказал визгливый тенорок, — если Марфушин не мужчина, то кто же вы тогда?

— Меня прошу не рассматривать, — ответил дьяконский хрипящий бас, — вы сами еще не лупа и не фотографический аппарат. Что же касается Марфушина господина, то мнение мое было, есть и будет о нем непреклонно.

— Не понимаю, не изволю понимать, — возразил первый, — говорим с вами мы чуть ли не полчаса, а вы так и не можете мне объяснить. Уперлись на своем: не мужчина да не мужчина.

— Потому что и объяснять нечего. История сия всякому очевидна.

Дальше Никодим ничего не услышал, так как собеседники, должно быть, вышли в другую комнату. Но следом за ними впорхнули двое других; именно впорхнули, судя по шелесту шелковой юбки и сдержанному смеху.

— Хи-хи, — засмеялся женский голосок, — а ты купишь мне, Ванечка, синие шелковые подвязки?

Вместо ответа послышался поцелуй.

— Бесстыдник. Не хапайте, где не следует, — сказала она, — вот я вас по рукам...

И снова:

— Ванечка, а Ванечка, ты купишь мне...

Дальше не было слышно: должно быть, она сказала ему что-то на ушко.

Тут уже захихикал он и сказал:

— Куплю.

Опять прозвучал поцелуй, и затем птички выпорхнули.

Тяжелой поступью вошли снова двое. Один говорил медленно и рассудительно, другой только слушал.

— По зрелом рассуждении, дочери Лота, конечно, греховные девицы. Но посмотрите, как сказано о них в Библии. Нельзя не восхищаться той простотой, с какой писатели сей священной книги решали сложнейшие вопросы. Поэтому...

Двери в зал распахнулись, и на пороге показалась женщина.

Она была очень высока ростом — не ниже Уокера, полная, только не безобразной, а красивой полнотой, белотелая, румяная, с алыми губами, голубыми глазами и русою пышной косой, убранной очень скромно. На ней было серое простое, но шелковое платье и накиннутый на плечи шерстяной платок; грудь на ходу под платком сильно колыхалась, бедра были круты и мощны, а руки она держала скрещенными на груди; пальцы были украшены множеством перстней.

Сколько ей было лет? Трудно было определить. Может быть, 25, может, 40, но возможно, что и 50. Так, вероятно, выглядела Ева в своей долгой жизни.

Она была бесспорно красива — ленивой, положительной красотой. И добра. И нисколько не походила на своего брата, если только она действительно была ему сестрой.

— Здравствуй, сынок, — сказала она Никодиму, немного нараспев, мне Федосеич доложил о твоей милости. Что же, прошу покорно гостем быть. У нас каждому гостю свое место.

— Здравствуйте, Глафира Селиверстовна, — ответил Никодим, припомнив ее имя, — благодарствуйте. Я к Феокисту Селиверстовичу, собственно. Неудобно мне к людям незнакомым.

— Ничего, батюшка, не стесняйся. Я по глазам твоим вижу, что ты хороший человек, а то я не позвала бы. Пойдем уж, не отговаривайся.

— Нет, Глафира Селиверстовна, — возразил Никодим крепко (ему вовсе не хотелось идти, куда она звала, после того, что он слышал за стеной), — я лучше посижу и подожду вашего брата.

Она рассердилась и вместе не хотела показать этого.

— Как знаешь, сынок, — сказала она, — только у русских людей не принято от соли-хлеба уходить. Али не русский ты?

— Почему не русский? Русский, разумеется.

— А если русский, чего ж в преткновение идешь?

— Не знаю, право, — ответил Никодим смущенно, — я посидел бы тут... обождал... Если нельзя — я пойду.

— Можно-то, можно, — сказала она, уже, несомненно, сердясь, — а только неуч ты. Ко мне и не такие люди подходят, чтобы ручку поцеловать, а я их на троне принимаю. Я тебе уважение оказываю. Накось — навстречу вышла. Сиди уж, коли дурень неотпетый.

Повернула и хлопнула в сердцах дверь.

Никодим остался один в преглупом положении: сидеть и ждать Лобачева, не зная, когда он придет и придет ли вообще, — было делом не из особенно приятных. Уйти — казалось еще нелепее. Что же лучше? Разыскать Глафиру Селиверстовну, извиниться перед нею и остаться?

Он направился к той двери, куда она вышла, приотворил дверь и увидел за нею Глафиру Селиверстовну и еще двоих — мужчину и женщину.

Женщина сидела на полу, вполоборота к двери, поджав под себя ноги, немного запрокинув голову и закрыв глаза с очень длинными черными ресницами.

Блузки на ней вовсе не было, а рубашка у нее была спущена до пояса. Мужчина стоял сзади нее, на одном колене, около него были расставлены баночки с разными красками и кистями. Приблизив лицо свое к обнаженной спине женщины почти вплотную (должно быть, по близорукости), он расписывал ей спину сложнейшим цветным узором, весь поглощенный этой работой. Ни он, ни женщина к Никодиму не обернулись.

Глафира Селиверстовна сидела в дальнем конце комнаты, на возвышении, под пурпуровым балдахином, положив кисти рук на ручки кресла с богатою резьбой. Она молчала и глядела перед собою неподвижно. В комнате больше ничего и не было.

— Глафира Селиверстовна! — сказал Никодим.

Она молчала по-прежнему, глядя на него в упор немигающими глазами.

— Глафира Селиверстовна, извините меня великодушно.

Она не шевельнулась, несомненно живая, но будто каменная и не желающая отвечать.

— Глафира Селиверстовна!

Никодим попытался к выходу. Дверь за ним захлопнулась. В досаде и в удивлении, но и с обидой на сердце походил он опять по залу и снова сел на диван.

Вошел Федосеич.

— Красавица-то наша изволят на вас гневаться и говорят, что соли-хлеба водить с вами не желают. Не хорошо-с. Провинились очень, — сказал он.

— Ну и что же! — ответил Никодим раздраженно. — Пойду к себе домой.

— Нет, — заявил Федосеич, — домой вам еще рано. Вы же хотели еще монашков посмотреть.

— Каких монашков?

— Афонских монашков.

— Ничего я не хотел. Кто вам сказал?

— Феоктист Селиверстович сказали. Наш-то батюшка все знает. Уж если сказал — значит, верно... Пойдемте — я проведу вас. Черным ходом нужно.

И провел Никодима через грязную и темную кухню на черную лестницу. Покорно сойдя вниз, Никодим спросил:

— На двор?

— Нет, вот сюда, — указал старик на подвал, зажигая взятый с собою фонарик, свел Никодима еще на десять ступеней вниз, закрутил-закрутил его по разным переходам и коридорчикам и привел, наконец, в большую, без окон, но ярко освещенную комнату. За нею виднелась еще такая же.

По обеим сторонам и той и другой комнат были сделаны двойные широкие нары: проход посередине оставался очень узкий, и на нарах грудями были навалены отдельные части человеческих тел — руки, ноги, головы, туловища, грубо сделанные из дерева, еще грубее раскрашенные. Между ними были и некрашенные — более тонкой работы.

— Вот, — сказал Федосеич, беря из груды две головы и поднося их к самому носу Никодима, — узнаете?

— Узнаю, — прошептал Никодим, бледнея и не двигаясь: эти головы были так похожи на головы монахов, убитых прошлой весной в их имении.

«Ну, конечно! Вот голова отца Арсения с резко очерченным носом, тяжелой складкой губ, пристальными глазами; борода черная, густая, подбородок крупный, говорящий о силе характера; и вторая голова, без сомнения, Мисайлова: о ней ничего не скажешь: все в ней белесо, светловолосо, костляво и невзрачно».

— Да ведь это же головы тех... убитых, — прошептал Никодим, — у него не хватило голоса.

— Ничего не убитых, — рассердился старик, отбрасывая головы обратно в груды. — Нешто мы убивцы? Понадобилось, и сделали.

Потом сменил гнев на милость и сказал:

— Феоктист Селиверстович приказали вам передать, чтобы из всех этих (он указал на части тела) выбрали, что вам понравится, если переменить себя хотите. Сносу вам не будет. Душа прежняя останется, а тело новое.

— Да ведь это же все деревянное? — рассмеялся Никодим.

— Какое деревянное, — вскипел старик, — закрой-те-ка глаза — я вам покажу, деревянное или нет.

— Вот так? — спросил Никодим, закрывая глаза.

— Нет уж, мы вас для верности платочком повяжем, — сказал старик, смотал со своей шеи шелковый платочек и завязал им Никодиму глаза.

— Теперь вашу ручку позвольте, — попросил он, взял Никодима за правую руку и ткнул ею во что-то живое.

Никодим ощупал это и ощутил настоящую человеческую голову, отделенную от туловища.

Никодим в страхе отдернул руку, а старичок в тот же миг стащил с него повязку. Перед Никодимом снова лежали только деревянные части. Он не знал, что думать.

— Выбирайте, — повторил старичок мрачно.

— Выберу, — решил Никодим.

И принялся разрывать груды. Перерыв все, он выбрал самую лучшую голову, очень сильное туловище и хорошие руки и ноги. Выбрав, отложил в сторону и сказал старику:

— Вот это!

Федосеич посмотрел, повертел отобранное и сказал: — Нельзя вам этого брать. Не думал я, что вы такое выберете. Да и Феоктист Селиверстович не позволяет.

— Я другого не хочу, — заявил Никодим.

— Тогда позвольте вас вывести вон, — сказал Федосеич, взял Никодима под руку, закрутил-закрутил его опять по коридорчикам и переходам и вывел в глубокий и обширный погреб с земляным полом. Дверь из погреба во двор была полуотворена, а к двери вела очень шаткая и длинная деревянная лестница. Сверху пробивался свет бледного утра.

Никодим пошел на свет, а старик, исчезая во мраке, сказал:

— Прощенья просим, не обессудьте на угощенье.

ГЛАВА XXXVI

Туман, солнце и автомобиль.

Из дверной щели показалась женская голова и спряталась. Ступеньки под ногами Никодима зашкрипели.

Поднявшись наверх, Никодим оттолкнул дверь и увидел перед собою госпожу NN.

Она стояла у входа в погреб, одетая в черный английский костюм, показывавший стройность ее фигуры; на светлых волосах у нее была темная шляпа с черным пером; в правой руке она держала кожаную сумочку, а левой придерживала юбку, так как было сыро и грязно.

Над двором висел довольно сильный туман.

— Я знала, что вы отсюда выйдете, — сказала она Никодиму, — выводят всегда отсюда. И, я вижу, вы с пустыми руками. Неужели вы отказались выбрать что-либо из предложенного?

— Не отказался, а выбрал самое лучшее, и мне не дали его, — ответил Никодим.

— Самое лучшее — это я, — заявила она, — если же вы думаете, что я убежала от вас, то это неправда. Кто мог не дать?

— К сожалению, правда, — сказал Никодим.

— Не будем спорить. Я сегодня очень настойчива и решительна. Уж не хотите ли вы, чтобы я доказала вам это поцелуем? Евгения Александровна — хоро-

ший человек, но мы с нею никогда не сойдемся и не сможем жить вместе. Она слишком русский человек... А мне очень нравится, что вы отобрали самое лучшее — я знаю вас, — добавила она вдруг.

— Может быть, и так, — согласился Никодим, — но Феоктист Селиверстович влечет ваше внимание больше, чем я.

— Ошибаетесь, — возразила госпожа NN, — вероятно, вы восприняли мнение Евгении Александровны?

Никодим почувствовал, что она говорит не совсем правду, но ничего не ответил.

— Я сегодня очень своя, — сказала она опять, — я вышла сюда затем, чтобы встретить вас и более уже не отпускать никогда. Если вы будете меня гнать, я не уйду. Это потому, что я вас люблю.

Он сощурился, глядя на нее, взял ее за руки, поочередно поднес их к своим губам и поцеловал.

— Что же мы стоим здесь? — спросил он. — Не лучше ли идти?

И они вышли через раскрытые ворота на улицу.

Туман молочно-белый клубился над мостовой, но там, где в улицу входили другие улицы и переулки и лучи восходящего солнца, пробегая вдоль них, врезывались в туман, — молочно-парные его облака превращались в синие и прозрачные. На тротуарах, начинавших уже оттаивать, выступали мокрые пятна. Было свежо, пахло чистым воздухом, и шаги гулко отдавались всюду.

— Идти далеко, — сказал Никодим, — извозчиков тоже нет.

На перекрестке стоял автомобиль.

— Шофер, — крикнул Никодим, — я давно тебя ищу! Нужно скорее ехать.

— Нельзя, — сумрачно ответил шофер, — приказано ждать.

У Никодима явилось непреодолимое желание подшутить над ним и ввести его в заблуждение.

— Кого же ты ждешь? — спросил Никодим.

— Не знаю кого — господин Лобачев приказали.

— Ах! — Воскликание у Никодима вырвалось невольно. — Послушай, да ведь господин Лобачев и приказал тебе ждать именно нас. Это тот Лобачев, что живет на N-ской улице в доме № 13—15?

— Тот самый.

— Ну и подавай.

Шофер подал. Подсадив госпожу NN и усевшись сам, Никодим захлопнул дверцу.

— На Сергиевскую, — сказал Никодим.

Всю дорогу госпожа NN молчала и только жадно прижималась к Никодиму. Молчал и Никодим.

У подъезда второго Ипатьевского дома на Сергиевской они вышли.

Тумана уже не было; солнце светило ярко и радостно, но еще не успело согреть воздух.

Живо взбежали Никодим и госпожа NN наверх. Скинув жакет, госпожа NN проскользнула в кабинет Никодима. Когда Никодим вошел, она уже сидела на греческом ложе, возвышавшемся посередине комнаты и покрытом серо-синим бархатным покрывалом с тяжелыми золотыми кистями.

Одну ногу госпожа NN подобрала под себя; другую, в черном чулке, сквозь который просвечивало тело, она охватила руками и, слегка покачиваясь, улыбалась. Так садиться непринужденно и дерзко-кокетливо было неотъемлемой ее манерой.

— Вот я и дома, — сказала она, — мы будем хорошо жить и не станем больше ссориться друг с другом.

— Разве мы ссорились когда? — спросил Никодим и незаметно отвернулся. Красота и легкость движений этой женщины дразнили его воображение, волновали его, но ему трудно было слушать ее совсем неожиданную и непонятную болтовню, под которой Бог знает что могло таиться — не сознаваемое ею, но страстное и безумное.

Что я могу добавить? Кое-кто говорил в обществе, что Яков Савельич умер, оставив свои богатства Никодиму, и что поэтому у Никодима появились столь крупные средства. Но я не советую верить этому: Яков Савельич весьма выдающаяся личность и не может уйти из жизни незаметно, не сыграв крупной роли в надвигающихся событиях. Думаю, что он еще жив, хотя мне известно, что Никодим действительно получил возможность располагать капиталами чудаковатого старика.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года и в первой половине 1992 года вы прочтете в нашем журнале:

- «Затеси» Виктора АСТАФЬЕВА,
- роман Василия АКСЕНОВА «Московская сага» (вторая книга),
- роман Владимира ВОЙНОВИЧА «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (третья книга),
- новые повести Геннадия ГОЛОВИНА, Сергея ДЫШЕВА, Валерии НАРБИКОВОЙ, Юрия ПОЛЯКОВА, Александра СКОРОБОГАТОВА,
- повесть Льва КОПЕЛЕВА «Святой доктор Федор Петрович»,
- боевик Эльдара РЯЗАНОВА «Предсказание»,
- авантурный исторический роман князя М. М. ВОЛКОНСКОГО «Мальтийская цепь»,
- роман Бориса ЗАЙЦЕВА «Жуковский»,
- рассказы Владимира НАБОКОВА (перевод с англ.),
- роман Ирвинга СТОУНА «Страсти души» (о Зигмунде Фрейде),
- повесть Виктора НЕКРАСОВА «По обе стороны стены»,
- Исследование Николая ТОЛСТОГО «Толстые: 24 поколения в русской истории. 1365 — 1983»,
- повесть Виктора СОСНОРЫ «Летучий голландец»,
- статью Станислава ШАТАЛИНА «Как хоронили 500 дней»,
- монолог Григория ЯВЛИНСКОГО «Отцы и дети»,
- рассказы Михаила ЖВАНЕЦКОГО, Аркадия АРКАНОВА, Григория ГОРИНА, Михаила МИШИНА



«Семья, род, страна, союз народов, творческий союз — каждое объединение стремится к миру, к лучшей жизни. Каждое сотрудничество и сосуществование нуждается в совершенствовании. Никто не может указать предела эволюции. Тем самым, совершенствуясь в менеджменте, ты становишься творцом. И пусть не пугает тебя задача творчества. Найди для науки менеджмента пути преодолимые. Выбери из них кратчайший. Ценно время. У тебя нет права на неповоротливость...»

(Кодекс чести менеджера. Проект)

Слово «менеджер» в переводе с английского означает «управляющий», «руководитель», что, очевидно, известно теперь всякому первокласснику. Рискуя свалиться в этимологическую пропасть, раскроем все же англо-русский словарь.

Manage — I. руководить, управлять; уметь обращаться; справляться; объезжать (лошадь);

II. искусство верховой езды.

Мало вроде бы подходящая здесь по смыслу лошадь оказалась на самом деле очень подходящей. Ведь искусство «управления» лошадью заключается в том, чтобы она не замечала, как ею «управляет» наездник. Этот символ — лошадь — и был изображен на эмблеме созданной в 1988 году Ассоциации менеджеров.

Возникла Ассоциация на базе Центра по подготовке менеджеров при Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Слушатели центра ничуть не походили на вчерашних школяров, поскольку обучались там в основном директора больших предприятий, руководители крупных организаций, то есть люди, наработавшие управленческий опыт не на ученической скамье. Выпускники центра стали дипломированными менеджерами, хотя профессии такой не было в перечне существующих в СССР специальностей. Впрочем, нет ее там и поныне.

Management — I. управление; умение владеть (инструментом); умение справляться (с работой).

«В высшем смысле менеджмент — не профессия. Это образ мышления, деятельности, жизни...»

(Кодекс чести менеджера. Проект)

Из Ассоциации менеджеров вскоре родился Союз менеджеров СССР.

Manager — I. управляющий, заведующий, руководитель, администратор, директор.

«Менеджер — не потребитель ситуации, а ее творец. Он не ждет, когда кто-то создаст ему благоприятные условия для деятельности. Он создает эти условия сам...»

(Кодекс чести менеджера. Проект)

Ассоциация делового сотрудничества организаций и предприятий (АДС) при Союзе менеджеров СССР возникла в начале 1990 года. Парадокс это или закономерность, но среди ее создателей были и основатели Ассоциации менеджеров. Например, Борис Бакунц, заместитель директора АДС:

— АДС была задумана как организация, дающая предприятиям возможность практического сотрудничества. В нашей Ассоциации более трехсот участников. В самом аппарате управления занято 45 человек, они работают в хозрасчетных центрах — маркетинга и внешнеэкономических связей, коммерческом, производственно-информационном, научно-методическом. В структуру Ассоциации входят специализированные малые предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, вопросами приватизации, подготовкой менеджеров. Но это лишь функции Ассоциации, направления, которые мы разрабатываем. Смысл же существования АДС, то, ради чего она вообще создавалась, — творчество. Мы предлагаем начинающему руководителю, предпринимателю, основывающему свое производство, ситуацию, когда он, по сути, становится свободным художником. Он волен заниматься тем, чем хочет, принимать решения, устанавливать размеры окладов, определять приоритетность одних направлений перед другими, распределять прибыль — столько-то на раз-

витие, столько-то на премии — и т. д. Наша задача — помочь ему избежать ошибок, облегчить доступ к информации...

Manager — II. хозяин.

«Аристотель утверждал, что собственность — это ответственность. Менеджер чувствует ответственность за весь мир и потому вправе рассматривать его как собственность. Действуя в частной, конкретной ситуации, менеджер всегда понимает, что это частичка большого мира. Уберегая от зла ситуацию, он оберегает мир.

Всякую материальную собственность менеджер считает взятой взаймы у будущих поколений. Сохранить ее, приумножить или, наоборот, приуменьшить — об этом менеджер спрашивает у потомков».

(Кодекс чести менеджера. Проект)

Как всегда считалось, хозяин — барин. Он действительно может всю прибыль вложить в развитие дела, выплатив минимальную зарплату себе и своим сотрудникам, а может и разделить эту прибыль на количество работающих. И делит. Потому лопаются, будто пузыри, многочисленные кооперативы, малые и совместные предприятия.

Всякий ли способен стать менеджером? На Западе существует супертест, состоящий из шестисот вопросов. Нам пока не до тестов. У нас только начала появляться относительная экономическая свобода, обложенная, правда, со всех сторон постановлениями, указами, законами, руководствоваться которыми и нужно, и чрезвычайно сложно. Где гарантия, что желание создать свое предприятие не означает лишь стремление побыстрее и любым способом набить карман?

Management — II. хитрость, уловка.

«Никакая выгода не стоит того, чтобы добиваться ее любой ценой. Менеджер категорически воздерживается от участия в незаконном или безнравственном деле и предпринимает все возможное, чтобы не допустить его».

(Кодекс чести менеджера. Проект)

— Нет и не может быть пока никаких гарантий, — считает генеральный директор АДС Александр Миронов. — Как известно, существует четыре уровня потребностей. Последний, четвертый, — духовная потребность, творчество. До этого уровня очень трудно дотянуться. Вполне понятно, что человек, получивший возможность прилично заработать, возможности этой не упустит. К нам приходят разные люди. Одни — со своей идеей, которую мы готовы поддержать, другие — с одним только желанием сотрудничать. Но тот, кто приходит без готовой идеи, зато с готовым вопросом: «Сколько я получу?», нам не нужен.

Что может АДС? Оказать юридическую и консультативную помощь уже созданным и создающимся предприятиям, предоставить свой банк данных по различным направлениям — от нормативных актов правительства и экономических ведомств до поиска делового партнера, организовать курсы по менеджменту и рекламе, прорекламировать чью-либо продукцию или деятельность. Но главное, по-видимому, заключается в том, что Ассоциация готова к сотрудничеству, со-творчеству.

То, что когда-то не осуществилось у того же Б. Бакунца и его единомышленников, пытавшихся в начале семидесятых создать подобную структуру, не осуществилось, потому что настоящий взлет социальной активности так и не состоялся, и аппарат экономики остался на посадочной полосе, кажется, начинает получаться сейчас.

Кстати, у слова **management** есть и еще одно значение, с пометкой «устар.»: осторожное, бережное, чуткое отношение (к людям).

«Менеджер не может быть в стороне от традиций отечественного предпринимательства: благотворительности и милосердия. Менеджер готов оказать помощь тому, кто в ней нуждается, используя для этого все имеющиеся у него возможности».

(Кодекс чести менеджера. Проект)

Дойдем ли до четвертого уровня?

Ассоциация делового сотрудничества предприятий и организаций при Союзе менеджеров СССР. 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 2. Тел. 124-05-95.

Выпуск подготовила Майя КОМИССАРОВА.

пишешь без

ОШИБОК

вам поможет

МЕТОДИКА "ВРОЖДЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ"

Это новый оригинальный курс интенсивного обучения. Пройти его необходимо как старшеклассникам, так и абитуриентам. 12 неумолительных занятий - и ваш уровень грамотности повысится в 7-10 раз! Этот результат подтверждает тестирование (до и после обучения). Стоимость курса - 490 рублей.

Для иногородних учащихся мы проводим занятия во время зимних и летних каникул.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НАШИХ ФИЛИАЛОВ

Филиалы работают с 16 до 20 часов, кроме воскресенья.

ст. метро "Тургеневская" 928-51-83
ул.Дзержинского, 17,
шк. №1216

ст. метро "Коломенская" 117-43-00
пр-т. Андропова, 1, 115-34-07
шк. №839

ст. метро "Сокольники" 264-31-47
ул.Старослободская, 8,
шк. №364

СПЕШИТЕ!!!

ДО ЭКЗАМЕНОВ ОСТАЛОСЬ
НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ!

penetultop
объединение



Нина
ИСКРЕНКО

Несколько бесполезных сведений об авторе

Искренко Нина Юрьевна, имею пол, возраст, образование, семейное положение и ряд других признаков, не играющих существенной роли в процессе художественного постижения действительности.

Люблю грозу в начале мая и много других интересных книг. Имею честь принадлежать к московскому клубу «ПОЭЗИЯ». Пишу в жанре Трагической Неразберихи, в том смысле, что ничто постмодернистское мне не чуждо в скромном, но неотвязном стремлении нащупать некоторые предельные точки этого мира, не претендуя на раскрытие в целом его неопределенности. С удовольствием занялась бы каким-нибудь другим, более полезным обществу делом, но, к сожалению, ничто менее скучного, чем Слово, еще не придумано.

Тексты публиковались в Москве, Ленинграде, Сан-Франциско, Париже, Иерусалиме, Одессе и др. В «Советском писателе» в 1991 году вышла книга под названием «ИЛИ». Жертв и разрушений нет.

Сон

Мне приснился Президент
на моей постели
Мы с семьей вокруг сидели
Наблюдали как он там лежит

Он лежал не как-нибудь
а в трусах и в майке
Надо бы белье сменить
пронеслось в моем мозгу
при виде одеяла и простынки

Надо бы белье сменить
Он ведь гость однако
пронеслось в моем мозгу
женственно-далеком
от проблем глобальных и потому невразумительных

в одно окно влетающих
вкруг тела обвиняющих
березово-неольховых

Тут мой муж и говорит
слово Президенту
Как же так (он говорит)
Президент хороший?
Не пойму я (говорит)
Президент хороший
А хороший Президент
ему отвечает

Есть такой поценный больш —
стержнево-задачный.
Есть такие бомбыри —
целесообразные также создать.
тельных актов, арищи, сутствие,
жение, вание мента литического,

ных объеди, осмотри и досты, значить,
лодежного кон!
в том чис лоение ации для и
спечивающего итога.
Гать! добавил веско он
и поспал немного

Тут и дети встали с мест
пожимали руки
Тут и дикторша сказала
симпатичная такая
Не уйти говорит вам далеко
от нашей рекламы

Вот говорит какой у нас пив-квас
сordi-кисельморди
Вот какой приснился сон
Вам Искренко Нина Юрьевна
у плетня заросшая крапива
русская 1951 года рождения
обрядилась ярким перламутром
проживает в Москве
и качаясь шепчет шаловливо
...мммская 10, квартира 154
С ДОБРЫМ УТРОМ!

☆☆☆

И. Шульженко

ПЬЯНЫЕ ЖЕНЩИНЫ с нежностью смотрят
друг другу в глаза
Сдвинув колени осторожно и бережно дают
на слезные железы
Из-под бровей вылетают бесшумно железные
лебеди
Дикие пчелы застыли в полете и медом сочится
вподолыночная роса

Мед, молоко и бензин разливаются вширь
опрокинув пустые канистры
Пьяные женщины (нимфы гортензии кариатиды
столешиницы астры)
ловятзатылкомспасательныйкруг
ежедневныххривычек
белых мышей выпуская из тяжелых
свинцовых кавычек

Белых мышей и гадюк и медянок и ящериц тусклых
собирая в крахмальный нагрудник
резко закинув лицо прикрепив к волосам жернова

и колеса
пьяныеженщинывходятобнявшисьвчужой
виноградник
Вслед им глядят с интересом
профили хищных птенцов лисенята и лисы

Пьяные жены входят и рвут и сосут
и в трясушке терзают ногтями
с воплем утробным впиваются в свежие раны
катятся плотным горячим клубком разбивая преграды
и стены
падая с кручи и путаясь в терне осоке
и мерзостно пахнущей тине
Бросив одежды и гребни и гривны нашейные
и притиранья
Бросив одежды и гребни свои диким псам
не съеденье
в мутном восторге с глубоким и трепетным
чувствомисполненногобоевогозадания

сытые злые нагие гигантские ноздри раздув
каккоралловыепаруса
пьяные женщины молча рыдают в пустой
треугольник любви
честной собственности и высшего
образования
медленно курят и с нежностью смотрят
друг другу в глаза

Праджанати в провинции

Глядящий в облако обедает один
расчесывая бровь скелетом рыбным
И жимолость в прыжке возносится утробном
онилки света отряхнув со стен
Речь сублимируется в стон

Речь походя устраивает путч
в аллейке раскопав секрет стеклянный
и обнажив идеи возраст непреклонный
паяет ей похабщину и китч
Свидетели петунии и Лукич

Но Повелитель предпочел идею
замазав речи черную дыру
отверстую дабы метать икру
и утешаться вхолостую
Чу Жимолость упала на петунию

А речь поддав по речке поплыла
аки Офелия истраченная принцем
всей неподвижностью выеживаясь в принцип
всей тяжестью ложась на лезвие весла
Понстине она дышала как могла

И глядя на нее утратившую суть
мы совершили таинство ошибки
И время треснуло И полетели щепки
Они еще летят развертывая сеть

Сгущается вода выталкивая вес
и скорлупу раздавливая завязь
и божество инертное как газ
проходит поверху
не наклоняясь

Один неумный человек
любил меня весь вечер
Так много говорить нам было не о чем
И он поцеловал мне грудь
через совок

Другой такой же умный человек
Любил меня немного дольше
Он мир изображал немного тоньше
Но тоже напирал на грудь
и на совок

А третий ни на что не напирал
стараясь быть бессмысленно-духовным
Совок он прятал словно крест под балахоном
и сам себя однажды расстрелял

И лишь потом один любезный человек
припомнил мне все чудные мгновенья
Но к счастью он любил меня на расстоянье
не чувствуя где грудь
а где совок

Мы столько раз входили в этот век
нарушив чистоту эксперимента
сторая от любви
юродствуя для понта
и грудью защищая свой
совок

Письмо

ДУША моя, веришь ли, нет слов, чтобы вырази-
ть тебе свою
признательность за оказанную мне в прошлую пятницу
бесценную услугу. Так и хожу с просветленным лицом
невостребованного охотника за чертополохом. Плохо
это — или, напротив, умно необыкновенно — не нам
судить. Детское свое воспоминание, прошу, береги,
в наше время и это — большая редкость. Остерегайся,
ради Христа, светло-зеленого на лиловом фоне и камня
сдорогине не поднимай — медленным будет декабрь, проте-

кающий пылью в подвалы
два из пяти покрывал
вялый задушат рояль
ель-моя-ель уходя улыбнется с бесхитростным
шармом наземной акулы
если не веришь не верь
да и кто же поверит, душа моя, нам
со вчерашнего-то дня,
со вчерашнего дня, утонувшего в бухте
с веселым названием

Вольная Мель.
Мало сказать, что люблю,
мало выпить с тобой в брудершафтной связи
тепловодной воды иорданской
Тихо скулит по ночам
а кто — не пойму, вчера вот тоже ночью
приснилась черемуха,
а наутро в подъезде на первом этаже вонь страшная, окно
разбито, да и позабирали, говорят, кого-то, а куда
куда ты скажи мне на милость отсюда себя
заберешь
тем и хорош человек что веками по правде
тоскует
катится снежным от страха клубком
и брадатое счастье кует
Глобус в искусственно-синих просторах
рыба в коричневом соусе ночи
ноги ушедшие в землю по самые плечи
голос булькающий чисто рефлекторно
в котелке напаянном
кое-как

Какое скажи тебе дело до моего
сахарного тростника
Побрейся наголо и жди звонка
Не раздевайся пока
Кедр переросший железнодорожный шлакбаум
Бурый медведь в зоопарке утративший вкус
к бесконечности жизни
Невод пришедший с одной золотой директивкой
тихо захватить и быстро продать подороже
Рожа моя им, видите ли, не правится.
А по-моему ничего. Рожа как рожа.
А, ДУША МОЯ?

☆☆☆

Он обнимает меня он меня обнимает
Он обнимает меня и обняв засыпает
Он засыпает и спит
И проснувшись опять обнимает
Скажет два слова и спит Мимо комар пролетает
Мимо комар пролетает как будто гуляет
бесцельно
в самое ухо жужжа и к лицу приближаясь
нахально
Он обнимает меня понимая что это фатально
Он и комар возбуждают друг друга предельно
Он и комар возбуждают друг друга
и это нормально
Он и комар и другие явления ума и природы
жажду взаимную крови они утоляют взаимно
одолевают друг друга они и друг друга они
утомляют активно
млеют они от борьбы за свое понимание правды
и за почетное право оставить на мне
на поверхности и в глубине
свои драгоценные пробы
Правое ухо мое обрастает подушкой
как мелкие камешки тиной
Легкое утро приходит щекошет и лезет повсюду
изтоужаснопротивно
Он собирает последние силы пытаясь постичь
бытия необъятность
хотябы науровнителя
Сытый комар к занавеске прилип полагая наивно
что кровопролития
исчерпанаскользкая тема
Мы друг на друга глядим замирая в предчувствии
очередного предела

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

АГЕНТА "ЛИТОВЧЕНКО"

История отношений с КГБ
саратовского депутата
Григория АХТЫРКО



Признание на площади

Такого центральная площадь Саратова еще не слышала. Голос депутата Ахтырко, усиленный мегафоном, накрыл митингующую толпу, прилегающий сквер и окрестные улицы святоотеческим для площади имени Революции признанием: «...Я был завербован КГБ».

Депутат бледнел с каждым медленно произнесенным словом, казалось, жизненная сила вытекает из него вместе с этим признанием. А толпа, оцепенев, молчала. Это было молчание шока. Григория Ахтырко хорошо знали: смелый радиожурналист, известный «неформал», обаятельный человек тридцати с небольшим лет...

Депутат Ахтырко, кончив говорить, вдруг покачнулся. Его пытались подхватить под руки. Он отстранился, неловким движением кинул в толпу пачку листовок с произнесенными только что словами... Зачем?... Чтобы никому не показалось, будто признание на площади — блеф или сон? Чтобы невозможно было отступить, отказаться от своих слов — под натиском могущественной организации?

Депутата все-таки свели вниз. Он был смертельно бледен. Только он один знал, как и чем рискует.

Как? И чем?... Я спрашивал об этом Григория Ахтырко. И о том, что заставило его вначале согласиться на сотрудничество с КГБ, а потом публично от него отречься. Он рассказывал нервно и весело. Торопясь. Слегка заикаясь. То иронизируя над собой, то удивляясь тому, как он «вляпался в историю». Нет, не случайно, конечно. Были причины.

Несколько моих диктофонных кассет хранят его исповедь.

Он помнит — голос у кадровички по телефону был в тот момент не совсем обычным. Каким-то чересчур официальным. И обратилась на «вы». Зайти? На минутку? Пожалуйста. Отодвинул бумаги, поднялся. Коридор, ступени, опять коридор. Упругий шаг. Легкий мотивчик в голове привязался, как уличная собачонка, с утра.

А утро погожее. Влажный ветер с Волги. Шел апрель 1986-го. Ему, Григорию, еще только 27 лет! Или уже 27? Словом, молодой старикан. Долговязый и улыбчивый. Разъездной корреспондент областного радио. Любитель острых репортажей — столько из-за них конфликтов с начальством! Но, хоть и с потерями, пробивал. Конечно, ранили самолюбие приглашенные места, но результат — вот он — звучащий эфир. Знал Григорий — его в селах слышат. На него надеются. Ему верят. Он и сам верил: время перемен пришло.

В кабинете — посторонний. Спортивная выправка. Лет сорока. В костюме, при галстуке. «Это Владимир Иванович, — произносит кадровичка деревянным голосом, — он с вами поговорит». И ушла. Куда? Почему? И что за манера — представлять человека, не называя профессии?! Так недоумевал и возмущался Григорий, а гость тем временем, по-хозяйски шагнув к двери, повернул ключ.

Подходит. В руках — удостоверение. Поднимает на уровень глаз. «Майор КГБ», — читает Григорий. Что он, Ахтырко, натворил, удостоившись такого визита? Где-то что-то сболтнул? В командировке? В застольной компании? Да ведь никогда себя особенно и не стеснял — любил острое словцо. Но не берут же сейчас «за слова». Не то время.

— Сядем.

Гость сел, кивнув Григорию на стул. Какое у него спокойное лицо, отметил Ахтырко. Спокойно-властное. Этот Владимир Иванович не торопясь делал свою работу и, видимо, был стопроцентно уверен в ее исходе. Внимательный взгляд. Располагающая улыбка. Умеет держать паузу. Тут все внутри натянуто, а он молчит. Интересно, их нарочно обучают таким приемам? Или это приходит само, с опытом?... Вот он спрашивает, можно ли к нему, Григорию, на «ты»? Не обидно? Отметил, опять с улыбкой: если не в отцы, то в старшие братья он, Владимир Иванович, ему годится. Так ведь?! Нет, он даже чем-то приятен, есть в нем некая симпатичная респектабельность. Но какая же в каждом слове давящая уверенность!

— Мы у себя с большим интересом слушаем твои репортажи. Хорошая работа, смелая. Ты очень способный журналист.

Так он начал. И то, что было натянуто до последнего предела, вдруг ослабло. Можно было вздохнуть. Можно про себя усмехнуться: надо же, они слушают и свое радио — не только «голоса из-за бугра». А Владимир Иванович продолжал о способности Григория в коротком репортаже задеть нерв проблемы. И Григорий подумал: «Он в нашем деле понимает». Нет, не обольщался — знал, какими репортажами может гордиться, а за какие ему долго еще будет стыдно... И все же... Но, собственно, к чему весь этот разговор?

Просьба есть. Небольшая. И легковыполнимая. Он, Григорий, много ездит по области. Бывает возле оборонных объектов. Там нередко возникают сомнительные личности. У него, Григория, профессионально-острый взгляд, всегда отличит случайного человека. Могут быть и скопления подозрительных. Да мало ли непредвиденного случается в командировках. Нужна информация об этом: приехал — рассказал. И все дела!

— Но почему вы с этой просьбой — именно ко мне?

Снисходительная усмешка. Ах, какой наивный! Ну почему же только к тебе? А может, не только? Это во-первых. И не нужно думать, что за сомнительными личностями будут приглядывать одни твои глаза. Там, разумеется, будут и другие, тоже не менее зоркие! Это во-вторых. Оно ведь не простое — оборонное дело. Тут каждый штрих важен. Бывает, два-три штришка меняют всю картину. Так? Поэтому нам нужны помощники. Ну а что касается именно твоей кандидатуры, то мы изучили твою биографию (ты уж извини!), чтоб не рисковать. Это в-третьих.

И Владимир Иванович стал рассказывать Григорию про его 27-летнюю жизнь. Да, в этой организации знали про Ахтырко все: в какой семье рос; сколько отец-шофер зарабатывал; когда последний раз приходил врач к матери-сердечнице; где работает жена Григория и как себя чувствуют двое его деток... Но если бы только это!.. Там знали и то, о чем

сам Григорий вспоминал как бы с внутренней судорогой. Владимир Иванович коснулся тех эпизодов слегка, почти с протокольной сухостью. И — никакого нажима! «Мы с тобой умные люди, — словно бы говорил его добродушно-пристальный взгляд, — да, были грехи молодости, ну, с кем не бывает... И забудем об этом». А то, что он напоминал, уже саднило занозой, кровоточило.

Случилось же восемь лет назад: ему тогда было девятнадцать; студенческий был у них «выпивон», они явно переборщили. И один из них, трепач и кривляка, со второго этажа кинул в милицмейскую машину бутылку, а когда за ними пришли, прикинулся в углу спящим. Ту ночь они провели в милиции. Потом еще несколько месяцев прожили в ожидании суда. Правда, от их бутылкометания никто не пострадал, и в конце концов их пожалели. Обошлось. За восемь лет ни разу не напоминали ему... Но вот пробил час... Нет, он не забыл — не мог забыть. Но одно дело — самому укорять себя, другое, когда оказывается: все восемь лет некий соглядатай копит против тебя компромат. Чтобы однажды его предъявить.

Соглядатаем оказалась мощная организация. Григорий догадывался, что она способна вести досье на каждого. Теперь он это знал твердо. «Там», в недрах этой организации, над его биографией сидели вот такие, как этот майор, спокойные люди. Прикидывали — годится или нет. Чересчур впечатлителен? Быстрее сломается. Грешки молодости? Есть чем прищемить, чтобы не трепыхался. Двое детишек? Будет за них бояться, а это гарантия от «прыжков в сторону». Читает «Огонек» и «Новый мир»? Ругает партократию? — замечательно! Если умело направлять, станет отличным информатором из оппозиционно-интеллигентских кругов. Грядут большие перемены, и нужно обновлять агентурную сеть. Омолаживать ее. Григорий Ахтырко — неплохой материал, только с ним надо поработать. Судя по эмоциональному состоянию, реакции его предсказуемы.

Ему казалось: его раздают, если он не согласится. Оставят без работы. Без куска хлеба. У кого просить защиты? Смешно! Куда бы ты ни пришел, в отделе кадров будет телефонограмма: такого-то на работу не брать. Ладно, можно устроиться сторожем, истопником. Грузчиком. Но однажды к тебе подойдут двое, предложат скинуться на бутылку, и твой отказ (или согласие) закончится запланированной потасовкой с увечьем. Тебе за строптивость отомстят. Хорошо, если пострадаешь только ты. А если твои дети? Жена? Мать? Господи, каким клубком судеб опутана твоя жизнь! И главную в нем ниточку держит сейчас в своих руках этот майор в штатском.

Он почувствовал себя одиноким и беззащитным. Он испугался. Потом он честно признается — да, струсил. Позорно и гнусно. И добавит, что тут же подумал: ведь не может быть, чтобы он, Григорий Ахтырко, не смог обмануть их. Ну, скажет сейчас майору «да», а сам потом увильнет... Как?.. Этого он еще не представлял, но был уверен: увильнет обязательно. А сейчас пусть они услышат то, что, судя по самоуверенному тону гостя в штатском, собираются услышать: да-да-да! Только оставьте меня в покое. Отомкните дверь. Дайте выйти на улицу. Я хочу глотнуть свежего воздуха.

«Источник сообщает...»

Прошел месяц, прежде чем Владимир Иванович позвонил ему.

— Привет. Как отдохнул? Нужно встретиться. Жду в 18.30 в гостинице «Волга». Этаж... Номер... Мимо швейцара и горничной — с каменным лицом. Уловил?

Нет, в этом все-таки что-то есть. Игра в конспирацию? Но зато как втягиваешься! Несешь свое окаменевшее лицо-маску мимо швейцара, а сам видишь в зеркало, как он скользит по тебе якобы равнодушным взглядом. Вот тот этаж... Номер... Дверь приоткрыта. Входишь без стука. Там — никого. И тут же — вслед за тобой — шаги. Так же подтянут. Бодр. Дверь снова на ключ. Привет. Хорошо выглядишь. Где отдыхал? Неплохое место. Собираешься в командировку? Отлично. Поезжай в город Н., совмести приятное с полезным. Зачем? Там кое-что произойдет. Да, не совсем обычное. Ликвидируют устаревший оборонный объект. Зрелище, я тебе скажу, еще то!.. Наверняка будут всякие личности... Твоя задача пока проста — дать общую картину. Как бы репортаж, но без эмоций. Больше деталей. Предельная объективность.

Поговорили на другие темы. Да, ситуация в стране не-

обычная. Конечно, перемены нужны. Но все так слежалось — быстро не сдвинешь. Постепенность нужна. Наша организация помогает этому процессу. Оберегает от крайностей. А любителей крайностей, разных экстремистов, вон сколько. Это самое опасное — дестабилизация. Тут и правых, и левых притормаживать надо. Так ведь? Как считаешь? У нас, в организации, люди в сердцевине, то есть по сути своей левые. Но категорически против крайностей. Мы ведь больше всех о партократии знаем — об их злоупотреблениях, о саботаже реформ. Работаем. Информация в центр идет регулярно.

Обменялись городскими новостями и свежими анекдотами. Григорий заметил: анекдоты Владимиру Ивановичу понравились. И еще один штрих: когда он говорил сам, то следил за своей интонацией. Так было с теми — Григорий не раз замечал, — чьи голоса он записывал для радиорепортажей. Потом, вспоминая слова, жесты, выражение лица собеседника, Григорий понял: да, конечно, шла запись. Видимо, номер оборудован аппаратурой. Или звук через передатчик-«мушку» уходил на улицу, в одну из стоящих там машин. Зачем? Ну, конечно же, для анализа: искренен он, Григорий, или не совсем? Да и начальству, наверное, нужно было показать, как работают с новым агентом.

А работа шла.

Не успел вернуться из командировки — звонок:

— Нужно увидаться.

Опять гостиница, швейцар, приоткрытая дверь. Рассказывал о впечатлениях. Зрелище действительно незаурядное: в районе городка Н. была выпущена баллистическая ракета устаревшей конструкции. Она медленно поднималась в вечернее небо на огненном столбе, словно сомневаясь: взлетать ли? Затем рванула в стратосферные выси, чтобы навсегда упасть в океан. За этой — секретнейшей! — ликвидацией оборонного объекта наблюдали тысячи вышедших на улицы людей. Были ли среди них агенты ЦРУ? Господи, да зачем им это?! Давно «секретные» шахты зафиксированы спутниками-шпионами. Давно спецслужбами западных стран выявлена мощность наших ракет. Даже, говорят, книги обо всем этом выпущены. Григорий понял: пытаюсь увлечь шпионской романтикой, его элементарно натаскивают. Им важно, чтоб он втянулся. И — увяз. А нужен он им скорее всего не для «оборонки». Но для чего?

Рапорт нужно было «оформить». Григорий не понял, какой рапорт. Устный. Его нужно сделать письменным. Владимир Иванович вынул несколько листков.

— Тебе самому вначале трудно.

И монотонно-усыпляющим голосом продиктовал: «Источник сообщает, что такого-то числа в таком-то месте...» Текст был предельно лаконичен и даже отдаленно не походил на репортаж. В конце вышла заминка. Подписать нужно было псевдонимом. Каким? Григорий никак не мог придумать. Условие: полная обезличенность. Никаких намеков на профессию, пристрастия, внешние признаки. «А если чью-то фамилию?» — спросил. «Валаяй, — разрешил Владимир Иванович, — только не из своего окружения».

Фамилия была из окружения школьного. Девочка, носившая ее, давно вышла замуж и в паспорте была названа по-другому. Он был когда-то влюблен в нее и хорошо помнил свое состояние. Когда ему было трудно, хотелось плюнуть на все, плыть по течению — он вспоминал то время. И вот, еще немного поколебавшись, подписался: «Литовченко».

Он знал: с этой минуты в системе Саратовской госбезопасности появился новый агент, тайно пообещавший себе никогда, ни при каких условиях не подличать, не предавать друзей и свои убеждения.

Он не сразу понял, на что тем самым обрек себя.

А еще месяца через два, в той же гостинице, во время беседы с Владимиром Ивановичем ключ в дверях словно бы сам собой щелкнул — в номер вошел коренастый человек в плаще. Поздоровался, не представившись. Сел, не сняв плаща. В упор разглядывал Григория. Спрашивал о семье и работе. Встал. Еще раз прошелся по комнате. Зачем-то заглянул в шкаф, неуклюже пошутив, что, мол, «удобно баб прятать». По тому, как Владимир Иванович напрягся, было ясно: гость не просто старший по званию. Начальник. Наконец он ушел. Владимир Иванович взглянул на часы, и их прерванная беседа возобновилась. Но что-то уже мешало ей — Григорий чувствовал. У майора было как бы ожидающее лицо. Вот он минут через десять снова взглянул на часы и откинулся в кресле, заулыбавшись.

— Поздравляю, старикан. Смотрины прошли успешно — ты принят.

Он ждал телефонного звонка — догадался Григорий. Отсутствие сигнала, оказывается, тоже знак.

— Но и у нас своя бюрократия, — сказал затем майор, вытаскивая листки. — Пиши.

Он снова стал диктовать: я, такой-то, согласен помогать в сборе материалов по предупреждению диверсий на объектах обороны. Григорий заколебался: может, сейчас прекратить эту комедию? Сказать прямо: ну, что за дела? Какое у меня может быть отношение к оборонным объектам? Хотите сделать политизированного стукача? Не выйдет. Не гожусь я для этого, понимаете? Все те «неформалы», с которыми я общаюсь, близки мне по духу. Это же все равно что на самого себя доносить.

— Хочешь по-другому сформулировать? — заметив заминку, спросил Владимир Иванович. — Эт-то мастерам слова разрешается. Валяй!

Он был в хорошем настроении, по-прежнему стопроцентно веря в исход дела. Он совершенно не понимал, что происходит с его «подопечным», такое открытие сделал Григорий. Но раз так — не надо торопиться. Надо извлечь из этой гнусной ситуации максимум информации. И потом ее обнародовать.

Такую сформулировал он себе задачу, назвав себя мысленно «кротом». «Раз уж вляпался, — думал Григорий, — надо понять, какие они. Неужели все, как этот майор? Или как его начальник?»

Дрюня и другие

Ах, как забавно морочить этих «товарищей»! Отыгрывать за пережитые страхи... Хотя, впрочем, пережиты ли? А может, они, как ночные призраки, лишь отступили на время в тень? И оттуда, издали, стерегут его душу? Пусть, мол, пока потешится — мы подождем... Но Григорий глушил в себе эти предчувствия и всякий раз, услышав в трубке служебного телефона голоса своих опекунов, пускался во все тяжкие.

— Дрюня, это ты, старик? Хорошо, что позвонил...

Дрюней он называл Андрея Росошанского, старшего лейтенанта, к которому его «прикрепили», когда майор ушел на повышение.

— ... Ну что, в покер? Я сегодня без бутылки. У тебя есть? Ну, ты запасливый... Одна? На два кона хватит. Только я смогу не раньше 18.30.

Это был треп, содержащий условную информацию: «покер» — встреча, «бутылка» — новости, «18.30» означало «12.30».

Они встречались в доме на набережной. Там на условный звонок (два длинных, три коротких) им открывала дверь конспиративной квартиры ее хозяйка — бабуля довольно преклонных лет. Ей, видимо, неплохо платили. У нее уже дымился свежесваренный чай. Еще она ставила на стол вазу с печеньем и тут же исчезала.

Дрюня, ровесник Григория, держался строго, видимо, казался себе чуть ли не вдвое старше. Как и майор, хорошо держал паузу. Знал: как бы много лишнего ни тарабанил этот без конца сбивающийся на анекдоты репортер, все равно какую-нибудь нужную фразу выговорит. Знал об этом и сам репортер. Опасался. И все-таки не менял характер бесед. Не то чтобы ему очень нравилось «ходить по краю». В легком трепе, в ерничанье, пересыпанном крепкими словечками, легче было уйти от сути. Дрюня же, устав от бесполезных «дорожных впечатлений», привезенных Григорием из очередной командировки, спрашивал словно бы между прочим:

— А как там твои афганцы? — Тут-то и была суть... Вокруг «Общества реабилитации афганцев», о котором Ахтырко сделал однажды репортаж, концентрировались «неформалы». Правда, Общество вскоре распалось, но вместо него тут же возникло новое образование — «СПОК» — Совет представителей общественных комитетов. Именно там в бесконечных спорах выделялись лидеры первых в Саратове политических группировок: социал-демократов, народно-фронтовцев, анархистов, левых литераторов... Поэтому невинно-нечаянный вопрос Дрюни (а затем и сменившего его «майора Сережи», то есть Сергея Корнилова) со временем стал звучать так:

— Ну, как там твой «СПОК»?

И после расплывчатого ответа уточняли:

— Тебе не кажется, что этот (следовала фамилия одного из лидеров. — И. Г.) слегка с приветом?

Григорию грубо льстили, называя «мастером психологического портрета». Его опекунам «из простого любопытства» было интересно: а какие они, «неформалы»? Среди них, конечно, немало толковых, но есть и фанаты с экстремистскими наклонностями... Ну, например, этот, как его, с такой смешной фамилией — надо же, вылетела из головы... Не помнишь?... Как просты были их уловки, как легко можно «обыграть» их, запутав! А тем временем, всматриваясь, запомнить словечки и жесты, составив тайком на будущее их «психологические портреты».

Не учел «мастер» только одного — своей способности поддаваться азарту. И точного расчета опекунов именно на это его свойство. Ему поддакивали, смеялись над анекдотами. И продолжали «нечаянно» спрашивать. Однажды на слова Дрюни о группе иностранцев, приехавших в Саратов, Григорий откликнулся: «Это те, с которыми моя знакомая переводчица ходит...» Дрюня огорченно посетовал — нечем перед начальством отчитаться, а тут — конец квартала, не сочинишь рапортишко? «Да о чем?» — «А ни о чем. Для проформы...» И Григорий стал сочинять, вспоминая, как переводчица за чаем смешно копировала иностранцев. Спыхватился на следующий день: там, в рапорте, он назвал ее фамилию. Зачем? Как он мог вообще откликнуться на просьбу Дрюни? В беспамятстве, что ли?

Он тут же позвонил своему патрону: «Не распечатал еще бутылку?... Привези». «Что-нибудь случилось?» — «Да». И там же, у бабки, стал убеждать его уничтожить рапорт. «Почему?» — «Переводчица входит в круг моих друзей. А условием моего сотрудничества было — друзей не трогать». — «О чем ты думал вчера?» — «Ни о чем. Мозги дома забыл...» Это Дрюню почему-то убедило. И об условии он тоже помнил. Но досады скрыть не мог: чертыхался все пять минут, пока жгли над унитазом рапорт, смывая пепел. Там, над унитазом, обжигая спичками пальцы, Григорий понял: как бы он ни был хитер и ловок, само общение с опекунами втянет его в их бесовские заботы.

Но почему им-то самим не лихо? Неужели не тошнит от доносов, замешенных на зависти и корысти? Присматривался. Вызывал на откровенность. Они, оказывается, высокого мнения о своей работе. Народ-то у нас — считают они — темный. Присмотр за ним нужен, чтоб сам себе не навредил. Их организация вместе с партией ведет его. Да, конечно, они лучше знают, что народу нужно. А раз такая миссия, то условия жизни и работы нужны соответствующие. У них нет квартирной проблемы — живут в «домах гэ-бэ». Ахтырко был в том микрорайоне, видел: хорошие дома. Есть спецполиклиника. И жены их не стоят в очередях — не положено, получают продукты в спецраспределителе. Они не знают слова «достать», просто едут и «берут», потому что перед ними открываются все двери. Когда один из его опекунов сказал другому между прочим, что «взял» мебельный гарнитур, тот, другой, уточнив, какой именно, оживился: надо тоже «взять». Хотя Григорий знал, что ни в одном мебельном магазине ничего похожего на гарнитуры давно уже нет. Как-то Ахтырко пытался достать московскому приятелю билет на поезд — безуспешно. Сказал опекунам. Ему дали бумажку, с которой он сунулся в кассу, услышав, как одна кассирша, выдавая билет, сообщила другой: «У него чрезвычайка». Отказы Григория их не обескураживали. Считали: не дозрел. Были уверены: дозреет. Однажды объяснили — могли бы организовать ему прибавку к зарплате, но это его «раскроет». И наметили перспективу — через год-полтора, после профессионализации, ему может быть обеспечена еще одна зарплата — в их организации. «Но ведь и с нее надо партвзносы платить», — сказал, смеясь, Григорий, и по их посуровевшим лицам понял — ляпнул лишнее. Шутки, касающиеся партии, они не принимали. Ведь они были, по известному выражению, «вооруженным отрядом партии». Их высокое начальство в основном состояло из партийных выдвиженцев. И, хотя (Ахтырко знал точно) собирали компромат и на партбоссов области, они предпочитали «о партии вообще» не рассуждать.

Но проблемы у них все-таки были: они постоянно «гнали план» по вербовке. Видимо, среди «помощников» была большая текучка. Время от времени по наводящим вопросам Григорий чувствовал, как у них усиливается интерес к людям из его круга. И однажды видел: старый знакомый иначе держится. Чересчур напряжен или оживлен тоже чересчур. Неужели попал в их ловушку? Григорий прикидывал на себя: а как я сам держусь? Может, и мое состояние так же легко прочесть?

Иногда он спохватывался: становлюсь мнительным. Так ведь можно заподозрить всех, кто из-за семейных или служебных неурядиц чувствует себя не в своей тарелке. Правда, «эти» обычно непоследовательны, а «те», как бы ни прыгал разговор, исподволь возвращаются к «своей» теме. Действует программа. Набор же приемов, которым их учат опекуны, невелик.

В конце концов он научился угадывать «тех» с большой долей вероятности. Проверял себя так: в разговорах с опекунами вдруг вворачивал имя. Конечно, они замечательно владеют собой. Профессионально. Только вот лица их в этот момент каменели чуть-чуть сильнее, чем обычно.

Один из тех, кого он вычислил, оказался однажды в «СПОКе». Сидел в углу дивана, слегка откинувшись. Улыбался. Что-то рассказывал. Григорий пришел позже всех и, здороваясь с ним, сказал, задержав его руку:

— И ты здесь?

Этого было достаточно, чтобы рука «того» вздрогнула, будто по ней пропустили ток. Нет, ушел «он» не сразу. Пытаясь участвовать в споре, горячился. «Сейчас посмотрит на часы», — подумал Григорий. «Тот» вскинул руку и удивился — чересчур громко:

— Одиннадцатый час?! Ну, мне пора.

Больше «он» там не появлялся.

А через несколько дней Ахтырко, сняв трубку служебного телефона, услышал знакомый голос:

— Привет. Как здоровье матушки?

Это был «майор Сережа». Он всегда начинал со здоровья матушки, но сегодня в этом вопросе Григорию почудилось что-то зловещее.

«Крот» выходит из подполья

Григорий торопился, но голос в трубке был настойчив. Нужна встреча. Да, немедленно. Нет, ненадолго. Но Григорий собирается в командировку в Москву. В таком случае «майор Сережа» может подъехать сам. Сам? Куда? Диктует адрес — это рядом. Он будет в «Жигулях» песочного цвета.

Пока сбегал по ступеням, пересекал двор, выходил через проходную на улицу — вспоминал: где был в последние дни? С кем виделся? О чем говорил? Был в «СПОКе». Спугнул «новенького». В том, что это агент, уже не сомневался. А иначе с чего бы «майор Сережа» так занервничал?!

Вон его «Жигули». Сел рядом. Разговор неопределенно-вязкий: о командировках по области, о просьбе руководства быть активнее. И — осторожнее. И так, слово сказано: **осторожнее**. «Понимаешь, — говорит Сергей, упершись в него тусклым остановившимся взглядом, — мы все по краю ходим...» Предупреждение? Угроза? Но почему бы прямо не сказать: «Ты мне сорвал агента». Не положено в открытую? Так, допустим. Тогда какой у него для сегодняшней встречи оперативно-формальный повод?

Повод — в духе прежних встреч: на сколько дней в Москву? Ну там наверняка столкнешься с западными журналистами. Не уклоняйся, поговори. Саратов их всегда интересуется. Сделай вид, что готов общаться... И тут Григорий подумал: а ведь «майор Сережа» уже не слишком-то верит, что от него будет толк. И хочет, видимо, одного — хотя бы не мешал. «Осторожнее, — повторил Сергей, — ты понял?» «Я понял», — сказал Ахтырко.

Игра шла к развязке. Григорий сам торопил финал. То, что происходило в «СПОКе», а затем в КСК (Клубе-Семинаре кандидатов в депутаты), то, что звучало на городских митингах, захватывало его уже не только как репортера. Он становился там действующим лицом. И чувствовал, что в общении с такими же «начинающими политиками» обретает подлинного себя. Он осваивал приемы открытой борьбы за жизнь, достойную человека, — в азартной полемике с оппонентами, в подготовке митингов, в трибунных речах. Но стоило ему услышать в телефонной трубке: «Привет, как здоровье матушки?» — и то, что когда-то страшило и увлекало его, сейчас стало угнетать. Эти Сережи и Дрюни его уже не интересовали. Они были скучны только потому, что жили, как во сне, не понимая — система обречена. Привычным враньем: «Мы тоже левые, но без крайностей», — они пытались объяснить свою упорно-рутинную работу по вербовке участников общественных движений, готовясь на самом деле к часу «Икс». То, что такой час может наступить, сомнений не было. Об этом говорили события в Сумгаите, Баку, Фергане, Тбилиси. Везде один сценарий. Провокаторы в толпе действовали по одним рецептам. И режиссер, сидев-

ший в громадном здании на Лубянке, стерег удобную минуту, чтобы дать знак.

Григорий понимал, что надо идти на разрыв с ними. Надо громко сказать, что это за организация. Предупредить. Но как? Он стал уже заметной фигурой в общественных движениях Саратова и знал: организация будет мстить. Разумеется, тайно. У нее везде свои люди. У нее множество способов «достать» человека, куда бы он ни спрятался. Посоветоваться было не с кем. О существовании агента «Литовченко» Григорий не мог сказать даже жене... Именно в этот момент подшивниковый завод и Ассоциация клуба избирателей выдвигают его кандидатом в депутаты.

Была минута, когда он — перед очередной встречей с избирателями — почти решился: расскажу. Но представил, в каком шоке они окажутся. Отложил, решив: потом, после. А сейчас ему нужно прорваться в облсовет. Он чувствовал: нравится избирателям. Своим азартом. Своей программой. Он предлагал устранить монопольную власть партии, создать независимую прессу. Критиковал первого секретаря обкома Муренина, а на это тогда трудно было решиться.

Он победил на выборах, оставив позади восемь соперников. Но радость была мимолетной — комиссия признала выборы в их округе недействительными. Основание? Серьезные нарушения: две бабушки, забыв паспорта, получили бюллетени для голосования... Какие бабушки?.. Где живут?.. «А вам теперь не все равно?» — сказали ему. Он бродил по городским улицам — с Волги тянуло сырым ветром, был апрель 1990 года — и твердил себе: «Они меня достали... Это только начало...» В том, что начало, не сомневался: на работе ему назначили переаттестацию, сняв из выпуска несколько его репортажей. Бросить все? Уехать? Но куда? От «них» не уедешь. У «них» картотека, и ты в ней — на всю жизнь. Да зачем ему она такая — эта подлая рабская жизнь?.. И он решил — начну снова.

На этот раз он баллотировался в том городском районе, где его знали со школьных лет. Шесть соперников. Война листовок. Друзья, помогавшие ему, взяли под контроль все этапы выборов. И на исходе короткой июньской ночи он стал депутатом.

Не было радости. Была усталость. Нервы — на пределе. В мыслях — разброд. Неужели «они» отступились? Или не смогли ничего сделать? Теперь-то они не достанут — помещает депутатский иммунитет. Хотя так ли уж помещает? Мало ли возможностей устроить ему несчастный случай? Надо выйти к людям и все рассказать. Когда именно? Как?

Несколько мучительных дней он обдумывал этот свой шаг. И наконец понял — нужен исповедник. Человек, который бы первым принял его тяжкое откровение. Выбор пал на Сергея Рыженкова. Подружился с ним еще в «СПОКе». Лидер литературной группы «Контрапункт». Умен, внимателен. А главное — терпелив.

Каким же длинным показался Григорию этот вечер... Он рассказывал Сергею все, начиная с того дня, с той минуты, когда майор КГБ Владимир Иванович запер за вышедшей кадровичкой дверь. Впервые за четыре года он говорил о своей второй, тайной жизни, унижившей и измучившей его. Он вытаскивал на свет Божий из потемок души подленький страх, и там — в душе — с каждой минутой становилось светлее.

Только после этого он смог выйти на площадь.

...Его отвели чуть в сторону, в сквер, где стояла брезентовая «Палатка Свободы». Успокаивали. О чем-то спрашивали. Помнит строгий взгляд сквозь очки, шестимесячную завивку и лекторский голос.

— Но разве может существовать государство без службы безопасности? Без секретных агентов, — настаивала собеседница, — и в условиях демократии нельзя. Ведь могут же экстремисты из новых партий однажды превратиться в заговорщиков.

Это были экстремисты — мы видели это в августе — из хорошо известной всем КПСС, чей «вооруженный отряд» — КГБ. КПСС и пришла-то к власти в октябре 1917-го с помощью путча.

...Но видел Григорий, как непримиримо твердеет взгляд его собеседницы. Не верила она этому.

А над главной площадью Саратова, названной в честь октябрьского путча именем Революции, звучали голоса выступавших. Митинг продолжался.

Саратов — Москва
Август 1991.

ВДАЛИ ОТ «МИЛОЙ ДОРОГОЙ РОССИИ»

Письма великой княгини Ольги Александровны к А. И. Куприну



Ольга Александровна. Автопортрет (личный фонд великой княгини в ЦАОР СССР).

Публикация в этом году «Юностью» (№№ 3—4) глав из «Книги воспоминаний» великого князя Александра Михайловича помогла нам установить личность дотоле неизвестной корреспондентки писателя Ольги Куликовской. Многочисленные детали, упоминаемые в ее письмах (работа в киевском госпитале, Гатчина и кирасирские праздники; сыновья Тихон и Гурий; место жительства — Дания, куда императрица-мать Мария Федоровна переехала после эвакуации в 1919 г. из Крыма на английском крейсере), не оставляют сомнений в тождестве Ольги Куликовской и сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны.

В мемуарах великого князя Александра Михайловича, женатого на старшей сестре Ольги — Ксении, рассказывается, как осенью 1916 г. состоялась «почти тайная от всех свадьба» великой княгини Ольги с офицером Кирасирского Ее Императорского Величества полка Н. А. Куликовским. Первый ее брак с герцогом Петром Александровичем Ольденбургским был несчастлив, но отношения они поддерживали и в эмиграции, и в архиве Куприна хранится письмо к нему герцога, датированное маем 1921 года, в котором он сообщает, что «Поединок» высоко ценим Ольгой Александровной, и передает от нее благодарность писателю. С герцогом Ольденбургским, писавшим рассказы под псевдонимом Петр Александров, Куприн был знаком еще по Петербургу, а с великой княгиней, хотя и он, и она жили в Гатчине, судя по всему, познакомился лишь в эмиграции. Монархистом Куприн не был. «Никогда ни к какой партии не принадлежал, не принадлежу и не буду принадлежать», — писал он. Двух изгнанников — прославленного писателя и сестру последнего российского императора — сближали душевная щедрость, искреннее участие в людях, врожденный демократизм и всепоглощающая любовь к «милой и дорогой России».

Два письма Ольги Куликовской к А. И. Куприну хранятся в фондах Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. В музей они поступили от К. А. Куприной, в составе семейного архива, после ее смерти в 1981 г.

Л. РАССКАЗОВА, главный хранитель
Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области

4/17 января 1922.

Многоуважаемый Александр Иванович,

Спасибо вам — во-первых за книгу «Сборник». Ваш рассказ «Пегие кони» — страшно понравился — не только нам — но и малышам. — Причем приходилось читать им и рассказывать бесчисленное число раз! У нас живет — при детях одна сестра милосердия, с которой я работала в госпитале 2½ года, — и она в сущности — монахиня. Она училась в Евгеньевской общине — и была застигнута войной и попала вместе с другими сестрами. Она прелестный человек — сестра Можяева, очень религиозная, — т. е. скорее именно верующая с ровным веселым характером — вот она и уличила вас в неточности; оказывается история (легенда) о пегих конях случилась не с св. Николаем Мирликийским — а св. Спиридоном Тримифудским. Вот какая штука!.. Вероятно, после такого уличения вы больше никогда нам ничего не пришлете, но это было бы слишком жестоко! Мы так обрадовались родному русскому письменному слову.

Затем еще очень благодарю за сегодняшнее письмо ваше к Новому году. Я верю и надеюсь, что этот год принесет луч света всем разбросанным русским людям — и тем более всем томлящимся в исстрадавшейся милой и дорогой России. Так туда тянет иногда — это ужас...

Мы потеряли любимую нашу собачку — как раз в день Рождества православного — его убил проезжий мотор. Ужасно грустим и так недостает маленького жизнерадостного существа, любящего и привязанного... Тихон даже — понять не может «Как Лочка — который так любил Маму может теперь лежать совсем один в могилке в саду — ему, наверное, так скучно...» Желаю вам всего лучшего на новый год — главное — здоровья.

Ольга Куликовская

Copenhagen

20 янв. 1922 г.
3 февр.

Вот опять вы мне много радости дали. Не успела я поблагодарить вас за «Жар-Птицу», как получила хорошее ваше письмо. Бедный, бедный ваш «Сапсан» — так стало грустно, читая о нем: такой ужасно трагичный конец. Так живо себе представила улицы милой Гатчины зимою — и весь путь до старых ворот за артиллерийскими казармами, где ничего не могли найти из-за снега... Я начала было читать Тихону о Сапсане, но он со слезами на глазах — и закрывая уши ручками — отбежал от меня, крича: «Не хочу слушать! Это слишком грустно — мне жаль собачки...» Он очень добрый — и всегда плачет, если что-нибудь ему покажется грустным. Сестра же Можяева очень смущена и просит прощения у вас — но... все-таки стоит на своем, она женщина упрямая! Вот уже 3-ий день что больна инфлюенцией и лежу, заразившись у моей матери, за которой ухаживала только три дня. Ломит спину и все такое, но сегодня самочувствие лучше гораздо. Самое грустное для меня — разлука с моими маленькими! Засыпая вчера, Тихон вспомнил это «Маму не поцеловал и не перекрестил» — и обратился к сестре Можяевой с вопросом, как быть — «а то мама спать не будет, если я ее не перекрещу». Она разрешила вопрос — и Тихон, успокоенный, перекрестил дверь в мою спальню — и заснул. Я очень-очень радуюсь вашими хорошими письмами — так и знайте; и люблю вам писать, но только моя дикая безграмотность меня смущает. Я пишу лучше по-английски, как это ни досадно и противно. У меня была любимая старая англичанка-няня, жившая у меня 32 года, и умерла она в 1913 году у меня в доме на Сергиевской, 46. Это был самый любимый и близкий мне человек, который всегда и везде со мною живет в душе. Вот когда я болею — ее недостает мне страшно — при ней все было всегда уютно — такая была вера и уверенность — во все ее поступки. Умерла она 77 лет, не увидав моих маленьких и наше счастливое маленькое семейство. Я рада, что она очень любила моего Ник. Алек. и знала его — он как сын родной за ней ходил во время ее последней болезни, т. к. тоже ее любил очень.

Мне страшно понравился рисунок в самом начале журнала «Жар-Пт.» вид церкви в Киеве — так аппетитно сделано — и так тянет туда ко всему родному. Так сильно туда тянет — и так живешь сильно в прошлом — что иногда я пугаюсь: не пропускаю ли я свою теперешнюю жизнь зря — между пальцами. Это я считаю очень грешно делать, но невольно всегда думаешь: Вот когда вернемся, то-то и то-то будем делать. А жизнь идет, день за днем... Из этой мысли



Портрет Н. А. Куликовского, будущего мужа (личный фонд...).

истекает столько других мыслей, а я устала писать, имея жар, что придется извиняться, что зря вы потратите время, разбирая мой почерк. Вы очень четко пишете, и мне легко читать — и большое удовольствие — повторяю.

Хочу вам нарисовать картинку (акварелью), но не знаю, какой бы сюжет вас порадовал?

Всего лучшего желаю вам и еще раз благодарю.

Ольга Куликовская

В ЦГАОР СССР хранится личный фонд великой княгини Ольги Александровны: дневники, письма, рисунки, фотографии. Старший научный сотрудник этого архива Федор ФЕДОРОВ сообщает:

«Даже злейшие враги монархии не смогли сказать ни одного дурного слова о младшей сестре императора Николая II, великой княгине Ольге Александровне. Ее жизнь — пример беззаветного служения России и русскому человеку.

Все современники отмечали ее удивительную внутреннюю красоту, открытый характер, необычайную простоту и скромность, религиозность, постоянное доброжелательство. «Я никогда не относился к Ольге, как к моей невестке, — писал великий князь Александр Михайлович, — она была моим дорогим другом, верным товарищем и советчиком, на которого можно было положиться». Великая княгиня была очень религиозна, много читала и много думала. Она была одаренным художником. В имении «Ольгино» в Воронежской губернии ею была построена школа и больница, где она работала, помогая врачам. Но особенно ярко душевные качества Ольги Александровны раскрылись в годы I мировой войны и революции.

Она начала войну как простая сестра милосердия и, лишь приобретя необходимый опыт, возглавила военный госпиталь в Киеве, продолжая при этом работать наравне с другими. Великая княгиня жила в скромной комнатке при госпитале, деля ее с сестрой милосердия Т. А. Громовой. Рабочий день Ольги Александровны начинался в 7 часов утра, и нередко, во время дежурств, она не ложилась всю ночь. «У нас сейчас так много работы, — писала она в июле 1916 года брату, императору Николаю II, — что уже больше месяца я не выходила и не выезжала на прогулку, так много у нас раненых — почти 500 коек...» В каждом письме брату и племянницам великая княгиня подробно писала о своей работе в госпитале, с неизменной любовью отзывалась о раненых солдатах и офицерах, сестрах милосердия и врачах. «Только что была в военном госпитале, — писала она племяннице, великой княжне Марии Николаевне, — где провела утро, разговаривая с больными и ранеными, и были там два твоих казанца¹ — такие милые, один легко ранен в руку и ногу,

а другой умирает с тяжелой раной в живот, от которой уже запах есть; этот умирающий такой прелестный. Он рассказал мне о бое 28 июля, когда они атаковали пехоту австрийскую и попали под пулемет! От 1-го эскадрона и от его 3-го взвода осталось только двое... Он уже дышал с трудом! Так жаль его — с большими страдающими голубыми глазами...» «Сию часто на кровати прелестного урядника Оренбургского 2-го полка Николая Суворова, — писала Ольга Александровна в другом письме. — Мы очень любим друг друга — и поэтому, может быть, он ужасно конфузится в перевязочной и отворачивает лицо и краснеет. Такие все милые и любимые солдатики». Солдаты и офицеры отказывались верить, что эта скромная женщина, одетая всегда как простая сестра милосердия, столь заботливо и беззаветно ухаживающая за ними, — родная сестра императора. «Меня доктор зовет всегда поласкать больного во время трудных перевязок, — не без гордости писала она великой княжне Марии Николаевне, — ибо во время сильной боли я их обнимаю, глажу и ласкаю, так что им совестно, вероятно, кричать, и ему легче перевязывать в это время!»

Личная жизнь великой княгини складывалась несчастливо. Ее первый брак с герцогом Петром Александровичем Ольденбургским был неудачным. Великая княгиня искренне и глубоко любила офицера лейб-гвардии Ее Императорского Величества Кирасирского полка Николая Александровича Куликовского. Эта любовь выдержала 8-летнее испытание, и в 1916 году Николай II не только дал наконец сестре согласие на развод, но и благословил этот неравный брак.

4 ноября 1916 года великая княгиня Ольга Александровна обвенчалась с ротмистром Н. А. Куликовским в старой и тихой Киево-Васильевской церкви. На свадьбе присутствовали: вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Александр Михайлович и несколько офицеров Ахтырского гусарского полка, шефом которого была великая княгиня. Обряд венчания совершил старенький священник, а единственный случайно зашедший в церковь посторонний, когда услышал слова «Венчается раба Божья благоверная великая княгиня Ольга Александровна с рабом Божиим Николаем — во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», в испуге выбежал из церкви. «В дверях госпиталя, — писала великая княгиня Ольга Александровна брату, — нас встречали все сестры и врачи, которые бросали хмель и овес. На лестнице стояли все раненые, которые могли ходить. Мама и Сандро остались на ужин, и все было ужасно мило и уютно. Заведующий хозяйством Андреевский и аптекарь сделали какую-то невозможную «наливку», и очень скоро вся компания была навеселе! Около 8 часов Мама, Сандро и ахтырцы уехали, после чего вся компания буквально сошла с ума! Один из докторов играл на пианино, а остальные танцевали (и я тоже)...»

В дни тяжелейших испытаний, выпавших на долю России и царской семьи, огромным утешением для Ольги Александровны стал ее первенец Тихон, родившийся 25 августа 1917 г. в Крыму. «Ужас как хочется вас видеть всех! — писала

Детский рисунок великой княгини: император, императрица и вдовствующая императрица — мать Ольги — провожают солдат на русско-японскую войну (личный фонд...).



¹ Великая княжна Мария Николаевна была шефом Казанского драгунского полка.

великая княгиня брату, Николаю II, в Тобольск 13 октября 1917 года. — Показать Тихона во всех видах. Он милее всего в ванне кажется и утром, когда просыпается и всегда бывает радостный и улыбается. Больше всего улыбок получает потолок, с которым он в очень хороших отношениях и много с ним разговаривает на понятном для них одних языке. Мы с Николаем Александровичем поем ему разные солдатские и казачьи песни — и очень он доволен — только что заснул под старо-егерский марш!»

Великая княгиня Ольга Александровна прошла через все ужасы большевистского заключения в Крыму, когда каждый день мог стать для нее и ее ближайших родственников последним, но все же не захотела покинуть Россию вместе с матерью на английском военном корабле «Мальборо». С семьей она перебралась на Кубань, где в 1919 году у нее родился второй сын — Гурий. Ольга Александровна была последней представительницей Дома Романовых, оставшейся в России. Ее демократизм был широко известен в стране, и в определенных кругах появилась мысль провозгласить великую княгиню императрицей, но она категорически отвергла это предложение. Лишь после окончательно-го крушения Белого дела Ольга Александровна вместе с мужем и детьми покинула Россию.

В эмиграции, в Дании, великая княгиня вела в высшей степени скромный образ жизни. Ее сыновья служили в датской армии. Большая часть ее состояния была истрачена на благотворительные нужды. Помимо благотворительности Ольга Александровна много занималась одним из своих главных увлечений — живописью. Здесь раскрылся ее самобытный талант. Картины великой княгини выставлялись в Копенгагене и в Париже, в Лондоне и в Берлине. К сожалению, в отечественных архивах и музеях сохранилось незначительное количество работ великой княгини, в основном это рисунки, относящиеся к начальным этапам ее творчества.

С Александром Ивановичем Куприным великая княгиня Ольга Александровна, по всей видимости, познакомилась через своего первого мужа, герцога П. А. Ольденбургского, с которым и после развода она сохранила сердечные отношения. После 1917 года много толков вызвало не только стремление герцога к опрощению, своего рода «хождению в народ», но и неоднократно высказывавшееся им желание вступить в одну из социалистических партий. В конце жизни он выпустил небольшую книжку рассказов, которую критика сочла несколько наивной, но чистосердечной. После его кончины, в 1924 году, в печати появилось несколько статей о нем, написанных Буниным, Алдановым, Куприным.

Куприн считал себя человеком, стоящим вне партий. Но он по достоинству оценил высокие духовные качества, проявленные членами императорской фамилии в годы крушения монархии в России. В 1918 году в газете «Молва» он выступил в защиту великого князя Михаила Александровича, за что был арестован. И уже в эмиграции, в 1923 году, в «Русской газете» он писал об императрице Александре Федоровне: «...в эти-то прискорбные, жуткие дни и месяцы мы и видим из немногих писем Государыни, какими прекрасными предсмертными белыми цветами вдруг расцветает ее человеческая, женская, материнская душа. Каким глубоким тихим христианским светом светит из ее последних писем к Вырубовой... Но мы не чувствуем в словах Государыни ни робости, ни тревоги. Только готовность встретить кончину безропотно, только христианское прощение врагам, только благословение заблудшей России и молитва о ее выздоровлении».

Великую княгиню Ольгу Александровну и Александра Ивановича Куприна связывала прежде всего любовь к России. Их переписка полна воспоминаний о дорогой их сердцам Гатчине, где прошли детство и юность великой княгини и где в течение долгого времени жил Куприн. Незадолго до смерти А. И. Куприн, как известно, вернулся на родину, а для великой княгини путь в Россию был заказан.

В годы II мировой войны и после ее окончания великая княгиня много сделала, спасая русских казаков и беженцев от выдачи советским властям. Эта деятельность великой княгини вызвала официальную ноту протеста со стороны советского правительства. И Ольга Александровна была вынуждена переехать из Дании в Канаду. Она умерла 24 ноября 1960 года в Торонто».

«ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЙ: О ЖИЗНИ И О СЕБЕ»



Продолжаем наш конкурс писем.

Сегодня мы предлагаем обсудить **проблему человеческих отношений, поговорить о верности и предательстве, дружбе и любви**. Ведь какое бы ни было «тысячелетие на дворе», жизнь неотделима от острых переживаний, эмоциональных потрясений, от обретений и потерь в отношениях людей с миром и друг с другом.

Ждем от Вас новых размышлений, рассказов о Вашей жизни и жизни Ваших сверстников. Напоминаем, что в проведении конкурса участвует независимая Служба изучения общественного мнения ВР (руководитель — проф. Б. А. Грушин). Чтобы помочь социологам в анализе писем, просим Вас каждый раз указывать номер того вопроса, на который Вы будете отвечать.

1. В разные времена людей сближали и объединяли разные вещи. Похоже, сейчас молодежные компании складываются очень легко.

Как это происходит, что сближает молодых людей, собирает их вместе? И, главное, насколько прочными оказываются эти отношения, можно ли таким образом обрести друга на всю жизнь? Что говорит об этом Ваш опыт?

2. Расскажите, были ли в Вашей жизни, жизни близких, знакомых Вам людей случаи, когда требовалась поддержка друзей и те самоотверженно, не жалея себя, приходили на помощь, проявляя бескорыстие, преданность, возможно, жертвуя собой?

Как часто, по-Вашему, такое можно наблюдать в наши дни?

3. Приходилось ли Вам сталкиваться со случаями, когда люди обманывали доверие своих товарищей, любимых, предавали их ради собственной выгоды, карьеры, из страха за свое благополучие и т. д.?

Как Вы полагаете, какие обстоятельства и причины толкают на это людей в первую очередь?

4. Часто утверждают, что любовь в ее традиционном, так сказать, романтическом смысле осталась в прошлом, где-то в XIX веке. А в наше время, полное потрясений и жестокости, и особенно в нашем обществе, где столько разобщенности, озлобленности, разочарованности во всем и вся, такое вообще уже почти не встретишь.

Согласны ли Вы с этим утверждением? Сейчас и впрямь любить нелегко?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:

- 5. Сколько Вам лет?**
- 6. Ваше образование?**
- 7. Если Вы учитесь, то где? Если работаете, то кем?**
- 8. Где Вы живете (город, поселок, село)?**
- 9. С кем Вы проживаете? Имеете ли собственную семью?**

Заранее благодарим за Ваши письма-ответы!



Константин
ВАНШЕНКИН

☆☆☆

Сидели за столиком три беспартийных поэта:
Один из них в партию никогда не вступал,
Второй исключен был в начале пятидесятых,
А третий сам вышел из партии месяц назад.
Они пили водку и говорили совсем о другом.

☆☆☆

Дождь идет, и землю режет лемех.
Жизнь разделит нас в полях и хатах
Вовсе не на правых и на левых,
А на правых и на виноватых.

Злоба

Необъяснимая злоба
Вдруг разбирает его.
Как ядовитая сдоба —
Вмиг распирает его.

Вместо покоя и света
Тысяча лишних забот.
Интоксикация эта
Так самого и добьет.

Смеяков на фадеевской даче

Смеяков на фадеевской даче
Пишет стих на втором этаже,
Получив ее в виде удачи
После Сашиной смерти уже.

(Так его называл лишь заглазно,
Да и то если гордости вал
Поднимал Смеякова, — а гласно
«Александр Александрович» звал.)

Тень Фадеева бродит по дому,
И возможно ль поставить в вину
Ярославу, почти что седому,
Что опять его тянет к вину.

Путь Фадеева будет в анналах...
Что ж касается смутных шагов,
На тюремных и лагерных нарах
Не такое слышал Смеяков.

Ветер в соснах шумит по разверстке,
В тьме стекла отражается блик,
И на жизненном том перекрестке
Две изломанных жизни былых.

☆☆☆

Писатель выходит на рынок,
Но книгу его не берут.
Пылится среди прочих новинок
Его неопознанный труд.

Валяется здесь, на развале,
А рядом толкучка и гам.
И критики наши раздали
Уже всем сестрам по серьгам.

Себе ожидая прибавки,
Вы знали б — какие миры
Таятся на бедном прилавке
Средь пестрой базарной мур.

Испытание

Что ж, попробуй, выстой!..
Средь лесных палат

Прорастал твой чистый
Молодой талант.

Но уже дурили
Голову порой,
Но уже дарили
Высшей похвалой.

Восклицали в раже:
— Ты для нас, как хлеб!..
А твой голос даже
Просто не окреп.

Не моргнувши глазом,
Парень золотой
Оказался разом
С этой сволотой.

☆☆☆

Женщина с огромным животом, —
Там, наверно, двойня или тройня, —
В этом положение непростом
Выглядит естественно и стройно.

Так таскают бабоньки мешки,
Полные картошки и муки,
Правда, на плече и на загривке,
Или в ведрах воду для поливки.

И когда родимая родит,
На руках потащит милых деток.
...У природы взятая в кредит,
Жизнь течет вдоль рош, листвою одетых.

☆☆☆

О Господи, в немолчном гуде
Ты поднимаешь долгий взгляд,
Когда безправственные люди
О нравственности говорят.

☆☆☆

Мы тоже канем,
Уйдем из глаз.
Могильный камень
Придавит нас.

Второго сорта
Былая рать...
И надпись стерта —
Не разобрать.

☆☆☆

Мать кричала дочке: «Проститутка!»
А той было ровно девять лет.
Дочь в пределах здравого рассудка —
То же слово матери в ответ.

Объясните — что нам делать с этим?
Почему сшибаются они
На потеху выпившим соседям,
К ужасу приехавшей родни?

Говорят: да это же стихия!..
Говорят: на них находит стих!..
Чем же ты, несчастная Россия,
Воспитаешь деточек своих?

Пророк

Без конца унижали,
Измывались в пути,
Прежде чем на скрижали
Мысль его занести.

Шел по смерзшимся комьям,
Выбивался из сил.
Все, что нужно, запомнил.
Кого можно, простил.

Стена

Зубцы высокие, а ниже
Те замурованные ниши,
Где спят бойцы былых времен
В сусальном золоте имен.

Цветков подсохнувших гербарий.
Правительственный колумбарий.

Здесь всё: и их посмертный прах,
И их последующий крах.



Тимур
КИБИРОВ

Из цикла
«Романсы Черемушкинского района»

1.

О доблести, о подвигах, о славе
КПСС на горестной земле,
о Лигачеве иль об Окуджаве,
о тополе, лепечущем во мгле,

о тополе в окне моем, о теле,
тепле твоём, о тополе в окне,
о том, что мы едва не с колыбели,
и в гроб сходя, и непонятно мне.

О чем еще? О бурных днях Афгана,
о Шиллере, о Фильке, о любви,
о тополе, о шутках Петросяна,
о люберах, о Спасе-на-Крови.

О тополе, о тополе, о боли,
о валидоле, о юдоли слез,
о перебоях с сахаром и соли
земной, о полной гибели всерьез.

О чем еще? О Левке Рубинштейне,
о Нэнси Рейган, о чужих морях,
о юности, о вышитом портвейне,
да, о портвейне, о пивных ларьках,

исчезнувших, как исчезает память,
как все, клубясь, идет в небытие...
О тополе, о БАМе, о Программе
КПСС, о тополе в окне,

о тополе, о тополе, о синем
вечернем тополе в оставленном окне,
в забытой комнате, в распахнутых гардинах.
О времени. И непонятно мне.

2.

Под пение сестер Лисициан
на волнах «Маяка» мы закрываем
дверь в комнату твою и приступаем
под пение сестер Лисициан.

Соседка за стеною. А диван
скрипит, как черт, скрипит, как угорелый...
Мы тыкались друг в друга неумело
под пение сестер Лисициан.

9-й «А». И я от счастья пьян,
хоть ничего у нас не получилось.
А ты боялась так и торопилась
под пение сестер Лисициан.

Когда я уйду, сосед-болван
выходит в коридор и наблюдает.
Рука никак в рукав не попадает
под пение сестер Лисициан.

3.

Ух, какая зима! Как на Гитлера с Наполеоном
наседает она на невинного, в общем, меня.
Индевеют усы. Не спасают кашне и кальсоны.
Только ты, только ты! Поцелуй твой так полон огня!

Поцелуй, обними! Только долгим и тщательным треньем
мы добудем тепло. Еще раз поцелуй горячей!
Все теплей и теплее. Колготки, носки и колени,
жар гриппозный и слезы, мимозы на кухне твоей.

Чаю мне испитого! Не надо заваривать, лишь бы
кипяток да варенье. И лишь бы сидеть за твоей
чистой-чистой клеенкой и слышать, как где-то в Париже
говорит комментатор о нуждах французских детей...

Ух, какая зима! Просто Гитлер какой-то! В такую
ночку темную ехать и ехать в Коньково к тебе.
На морозном стекле я твой вензель чертить не рискую —
пассажиры меня не поймут, дорогая Е. Б.

Русская песня

Нелепо ли, братцы? — Конечно.
Еще как нелепо, мой свет.
Нет слаще тебя и крошечней,
тебя несуразнее нет!

Твои это песни блатные
сливаются с музыкой сфер,
Россия, Россия, Россия,
Российская СФСР!

И льется под сводом осанна,
и шухер в подъезде шмыгнул.
Женой Александр Алексанч
назвал тебя — ну сказанул!

Тут Фрейду вмешаться бы впору,
тут бром прописать бы ему!
Получше нашла ухажера
Россия, и лишь одному

верна наша родная мама,
нам всем Джугашвили отец.
Эдипова комплекса драму
пора доиграть наконец...

А мне пятый пункт не позволит
и сыном назваться твоим.
Нацменская вольная воля.
Развейся Отечества дым!

Не ты ль мою душу мотала?
Не я ль твою душу мотал?
В трамвае жидом обзывала,
в казарме тюрьмою назвал.

И все ж от Москвы до окраин
шагал я, кругом виноват,
и слышал, очки протирая,
великий, могучий твой мат!

И побоку злость и обида,
ведь в этой великой стране
хорошая девочка Лида
дала после танцев и мне!

Ведь вправду страны я не знаю,
где так было б вольно писать,
где слово, в потемках сгорая,
способно еще убивать...

О Господи, как это просто,
как стыдно тебе угодить,
наколки, и гной, и коросту
лазурью и златом покрыть!

Хоругви, кресты да шеломы,
да очи твои в пол-лица!
Для этой картинки искомой
ищи побойчее певца!

Позируй Илье Глазунову,
Белову рассказ закажи
и слушай с улыбкой фартовой,
на парах казенных лежи.

Пусть ласковый Сахар Медович,
Буй-тур Стоеросов пускай,
трепещущий пусть Рабинович
кричат, что не нужен им рай —

дай Русь им!.. Про это не знаю.
Но слыша твой оклик: Айда! —
манатки свои собираю,
с тобой на этап выходя.

И русский — не русский — не знаю,
но я буду здесь умирать.
Поэтому этому краю
имею я право сказать:

Стихия, Мессия, какие
еще тебе рифмы найти?
В парижских кафе ностальгия,
в тайге дистрофия почти,

и — Боже ж ты мой! — литургия,
и Дева Мария, и вдруг —
петлички блестят голубые,
сулят, ухмыляясь, каюк!

Ведь с четырехтомником Даля
в тебе не понять ни хрена!
Ты вправду и ленью, и сталью,
и сталью, и ленью полна!

Ты собственных можешь Платонов,
Невтонов плодить и гноить,
и кровью залитые троны
умеешь ты кровью багрить!

Умеешь последний целковый
отдать, и отнять, и пропить,
и правнуков внука Багрова
в волне черноморской топить!

Ты можешь плясать до упаду,
стихи сочинять до зари,
и тут же из той же тетради
ты вырвешь листок, и, смотри —

ты пишешь донос на соседа,
скандалишь с помойным ведром,
французов катаешь в ракете,
кемаришь в вечернем метро,

дерешься саперной лопаткой,
строптивых эстонцев коришь,
и душу, ушедшую в пятки,
Высокой Духовностью мнишь!

Дотла раскулачена, плачешь,
расхристана — красишь яйцо,
на стройках и трассах ишачишь,
чтоб справиться к зиме пальтецо.

Пусть блохи английские пляшут,
нам их подковать недосуг,
в субботу мы черную пашем,
отбившись от собственных рук.

Последний кабак у заставы,
последний пятак в кулаке,
последний глоток на халяву
и Ленин последний в башке.

С тоской отвернувшись от петель,
сам Пушкин прикрыл тебе срам.
Но что же нам всё же ответить
презрительным клеветникам?

Вот этого только не надо!
Не надо бубнить про татар,

про немцев, баронов, про НАТО,
про жидомасонский кагал!

Смешно ведь... Из Афганистана
вернулись... И времени нет...
Когда ж ты дрожать перестанешь
от крика: «На стол партбилет!»?

Когда же, когда же, Россия?
Вернее всего никогда.
И падают слезы пустые
без смысла, стыда и следа.

И как наплевать бы, послать бы,
скипнуть бы в Европу свою...
Но лучше сыграем мы свадьбу,
но лучше я снова спою!

Ведь в городе Глупове детство
и юность прошли, и теперь
мне тополь достался в наследство,
асфальт, черепица, фланель,

и фантик от «Раковой шейки»,
и страшный поход в мавзолей,
снежинки на рыжей цигейке,
герань у хозяйки моей,

и шарик от старой кровати,
и Блок, и Васек Трубачев,
крахмальная тещина скатерть,
убитый тобой Башлачев,

досталась Борисова Лена,
и песня про ванинский порт,
мешочек от обуви сменной,
автоновка, шпанка, апорт,

закат, озаривший каптерку,
за Шильковым синяя даль,
защитна твоя гимнастерка,
и темно-вишневая шаль,

и версты твои полосаты,
жена Хаз-Булата в крови,
и зеки твои, и солдаты,
начальнички злые твои!

Поэтому я продолжаю
надеяться черт-те на что,
любить черт-те что, подыхая,
и верить, и веровать в то,

что Лазарь воскреснет по Слову
Предвечному, вспрянет от сна,
и тихо к Престолу Христову
потянемся мы с бодуна!

Потянемся мы, просыпаясь,
с тяжелой, пустой головой,
и щурясь, и преображаясь
от света Отчизны иной —

невиданной нашей России,
чахоточной нашей мечты,
воочью увидев впервые
ее дорогие черты!

И, бросив на стол партбилеты,
в сиянии радужных слез
навстречу Фаворскому Свету
пойдет обалдевший колхоз!

Я верую — ибо абсурдно,
абсурдно, постыдно, смешно,
бессмысленно и безрассудно,
и, может быть, даже грешно.

Нелепо ли, братцы? — Нелепо.
Молись, Рататуй дорогой!
Горбушкой канадского хлеба
занохай стакан роковой.

Константин ЛЕОНТЬЕВ: «ЖЕЛАТЬ ОТЕЧЕСТВУ ПОЭЗИИ»

Из письма священнику
Иосифу Фуделю
об эстетике жизни *



Трагическая судьба русского писателя и мыслителя Константина Николаевича Леонтьева (1831—1891) — словно цепь туго затянутых узлов, которые он рубил беспощадно, едва что-либо в его жизни или творчестве вступало в противоречие с истиной, к которой он постоянно стремился. А истина, которую он искал до последнего дня, жила в мире его религиозных переживаний. Прежде всего это вера в Провидение, которая была для него выше идейных направлений и течений. Он близок, с одной стороны, к западникам, Герцену, а с другой — к славянофилам, Данилевскому, но беспощадно расправляется с либерализмом тех и других, даже Достоевского считая «розовым». Но жесток и беспощаден он прежде всего к среднему, уравнительному, пошло-буржуазному. Леонтьев — ясный враг благих намерений в политике, жизни и творчестве. Любой намек на утопизм он последовательно отвергает: «О, ненавистное равенство, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами, — и из страдальческих недр твоих выползает мышь!»

Мы помним со школьной скамьи: «неистовый Виссарион». Леонтьев на противоположном берегу — «реакционер». Врач, дипломат, писатель, философ... И последняя точка в биографии — тайный постриг в монахи за год до смерти...

«Настоящий культурно-славянский идеал должен быть скорее эстетического, чем нравственного характера. Ибо если рассматривать дело с реалистической точки зрения, не увлекаясь какою-нибудь добродушною верой в осуществление того, чего мы сердцем желаем, то придется согласиться, что эстетические требования осуществимее в жизни, чем моральные. Надо и для своего народа ждать чего-то такого, чему примеры бывали, а не такого, чего никто не видывал. Можно предполагать, например, что найдется еще где-нибудь такое оригинальное млекопитающее животное, которое не будет похоже ни на одно из ныне известных, но можно ли воображать, что у него не будет мозга, печени, сердца и т. д. Нет — нельзя, как нельзя вообразить себе будущее только моральным, — если же мы скажем — эстетическим, то этим мы сказали все; и слово только совсем тут и приставить нельзя. {...}

«Как же вы будете хотя бы с Оптинской точки зрения судить, например, знакомого вам турка или буддиста? Что вам грешно, то ему не грешно, и наоборот. Только в самых общих рассуждениях можно к чужим религиям относиться со своею религиозною меркою, — например, насколько в этих религиях, которые я обязан считать ложными (даже и тогда, когда они мне объективно нравятся), есть проблески того, что я должен считать истинным (в мусульманстве — вечная жизнь, в буддизме — аскетизм и милосердие). О своей религии я думаю и должен думать прежде всего с точки зрения спасения моей души (а все остальное и польза ближних «приложится»); о чужой религии я могу только судить с точки зрения исторической, политической, моральной и эстетической. Считаю и турка и буддиста (китайца, положим) одинаково не назначенными для того вечного блаженства, которое мне обещано, если я последую за Христом, я могу разбирать

* Это письмо было писано 6 июня 1888 г., в первый год знакомства моего с К. Леонтьевым. Вызванное моими соображениями о нашем национальном идеале, оно раскрывает собственный эстетический идеал К. Леонтьева так ярко и определенно, как ни одна из его печатных статей. Кстати, оно дает ответ на заключительную мысль предыдущего письма — «исходите всегда мыслью из идеи развития, осложнения и смешения»... И. Ф.

К. Леонтьев. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни. Москва, «Творческая мысль», 1912 г.

с успехом все остальное и в этих людях и судить о самом воплощении их учения в нравственной, государственной и эстетической жизни. Нельзя, например, уверить себя насильно, что болгарин (особенно *объевропеченный*) нравственнее и поэтичнее турка, потому что он нам единоведец. Пробовали у нас, и выходило — противная ложь, натяжка грубая и разочарование одним и стыд другим. Есть истины реальные, от которых не надо притворно и без пользы отворачиваться, раз они открылись уму. Можно сказать, что самый очаровательный мусульманин не получит вечного блаженства, а самый противный серб и болгарин, покаявшись и помолясь, могут его получить, и только. Религии разнообразны и потому исключительны. Практическая мораль одна и ко всем приложима. Это ничуть не может колебать наших духовных верований, если они у нас тверды и ясны. Естественная (то есть, тоже Богом данная) мораль одна без таинств религии — не душеспасительна; она очень приятна для сношений земных; она иногда эстетична, она удобна, уважительна; она может служить даже средством *устыдить* плохого христианина — указанием, например, на доброго турка и т. д. Но как не-христианина будет судить Бог, мы не знаем. А для нас есть хоть общие правила.

«Итак, мораль есть критерий для всего человечества; то же самое можно сказать и о государственных делах, о политике. Она — для всего человечества. Вы можете, как христианин, знать, что митрополит Филипп святее, я не говорю уж Иоанна Грозного, а хотя бы доброго Алексея Михайловича; но можете ли вы, оставаясь христианином, разоблачить: кто больше угоден Богу (нашему) или дьяволу — Будда или Магомет? Конечно: нет. А их моральную и политическую (историческую) ценность вам не возбранено разбирать.

«Биология еще шире. Питается (по-своему), дышит и растет всякая былинка, и умирает всякая инфузория; и самый святой человек имеет подобные же с ними общие процессы. Иметь эти общие биологические процессы удостоил и Сам воплотившийся Господь: Он кушал, дышал, жаждал, уставал, отдыхал, страдал и т. д.

«Еще шире два последних критерия — общефизический и эстетический. И тот и другой приложимы ко всему, начиная от минерала и до самого всесвятейшего человека. Минерал — весит, разбивается, плавится, уничтожается и т. д. И великий человек тоже имеет вес, одарен механическими органами, в теле его происходят, как и в неорганических веществах, химические процессы и т. д. Это физика. И с другой стороны, с эстетической, то же самое: красивы, прекрасны, привлекательны и т. п. могут быть одинаково: какой-нибудь кристалл и Александр Македонский, дерево и сидящий под ним аскет и т. д. Разница между физикою и эстетикою, при всех их одинаково всеобъемлющей экстенсивности, та, что как ни премудры и ни удивительны законы физики, но они нам кажутся как бы на своем месте и в уме нашем не приходят в столкновение с законами морали. А в явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное и как бы досадное потому, что человек, не желающий себя обманывать, видит ясно, до чего часто эстетика с моралью и с видимой житейской пользой обречена вступать в антагонизм и борьбу. Тот, кто старается уверить себя и других, что все неморальное — непрекрасно, и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича, и даже Скобелев был несравненно развратнее многих современных нам «честных тружеников», и если у вспомнившего эти факты есть эстетическое чувство, то что же ему делать — коли невозможно отвергнуть, что в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из тех самых сельских учителей, которых вы нам в вашей брошюрке рекомендуете*... Как быть? Возненавидеть эстетику? Притвориться из нравственных мотивов, что не видишь ее? Презирать мораль? Невозможно ни то, ни другое, ни третье... Вот тут-то положительная религия вступает снова в свои всепобеждающие права. Она не нуждается во лжи и притворстве; «Да, это изящно, сильно, эстетично, но это не душеспасительно». Рыцарская дуэль — благородна, эстетична, но она не душеспасительна. Человек, отказавшийся от поединка, видимо, не по страху Божию, а лишь по страху телесному (предполагаю, что мы знаем его характер и обстоятельства дела) производит на нас некрасивое впечатление, хоть по собственной доброте мы

* Письма о современной молодежи. Москва. 1888 г. — И. Ф.

и пожалели его в его унижении. И, с другой стороны, кажется, трудно вообразить себе борьбу более высокую и трогательную, как и в подобном случае борьба человека храброго и самолюбивого и в то же время религиозного. И если желание «угодить Богу» победит чувство чести, если смирение перед Церковью поборет гордость перед людьми, если «святое» и «душеспасительное» подчинит в нем *благородное* и *эстетическое*, и он, ничуть не робея, откажется от поединка, — то это истинный уже *герой христианства*... Видать я таких еще не видал, но вообразить можно, и, конечно, в старину на Западе такие люди бывали. Ну, а когда в одной из грубых и топорных повестей (60-х годов) нигилиста Помяловского его грубо-серьезный герой Молотов говорит (*басит*, небось): «меня если кто ударит, я стреляться с ним не стану, а *поташу* в полицию!...», то я, признаюсь, желаю только одного, чтобы и в полиции этой кто-нибудь догадался ему расквасить его *утилитарную* и *практически-моральную морду*. (Грешен — каюсь, но еще каюсь, что не могу даже и грехом большим подобное мое чувство к таким людям считать!)

«Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю; когда эту таинственную, необходимую для полноты жизненного развития поэзию побеждает утилитарная этика — я негодую и от того общества, где последнее случается слишком часто, уже не жду ничего! и т. д. и т. д.

«Эстетика, как критерий, приложима *ко всему*, начиная от минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам и к социологическим, историческим задачам. Где много поэзии — непременно будет много веры, много религиозности и даже много *живой* морали. Надо поэтому ждать, чтобы в будущей России (и во всеславянстве) было побольше поэзии, не в смысле писания хороших стихов и романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь была достойна хорошего изображения. Эстетика *жизни* гораздо важнее отраженной эстетики искусства. Вообразим хоть графа Вронского или Евгения Онегина, с одной стороны, а с другой, Каратаева («Война и мир») или Питерщика (у Писемского); все четверо стихов и романов не пишут; Вронский пробует писать картины, но неудачно. Но в них во всех *личной*, объективной (со стороны глядя) поэзии несравненно больше, чем в чахоточном еврее Надсоне и (по всем вероятностям) в этом несчастном Гаршине, который бросился так глупо с лестницы, написавши несколько недурных, но все-таки ничем особенно не поражающих повестей. Будет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна борьбою сил божественных (религиозных) с силами страстно-эстетическими (демоническими), *придут* и гениальные *отражения* в искусстве. Понизится в жизни уровень всех мистических сил, как божественных, так и сатанинских — понизится и художественная ценность *отражения*, о котором нынче так много любят толковать (гораздо больше толкуют, чем о жизни). Франция — превосходный пример; все в ней, в ее жизни, стало бледнее, даже на *наших* глазах (на глазах людей уже немолодых, как я). Религию гонят и презирают, и верующие люди уже не находят в себе сил для кровавого в пользу веры восстания; пышности настоящей, аристократической нет; есть капиталистическая фальсификация барства. Монархия прочная, серьезная, требующая подчинения любви, уже не осуществима и т. д. И вот хоть и признаю большой талант и у Золя, и у Доде, но *жизнь* не возносит их дарований на ту высоту, на которую возносила прежняя жизнь Франции дух Ж. Санда, В. Гюго, Бальзака, Беранже, Шатобриана, А. де Мюссе и столько других. На это есть прямо духовное, мистическое объяснение. Однажды я спросил у одного весьма начитанного духовника-монаха, отчего государственно-религиозное падение Рима, при всех ужасах Колизея, царевбийств, самоубийств и при утонченно-сатанинском половом разврате, имело в себе, однако, так много неотразимой поэзии, а современное демократическое разложение Европы так некрасиво, сухо, прозаично? — Никогда не забуду, как он восхитил и порастил меня своим ответом! — «Бог это *свет*, и духовный и вещественный; свет чистейший и неизобразимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов, существ, Богом же созданных, но уклонившихся, как вам известно. Классический мир и во время падения своего поклонялся хотя и *ложному* свету языческих божеств, но *все-таки свету*... А современная Европа даже и демонов не знает. Ее жизнь даже и ложным светом не освещается!» — Вот что сказал этот начитанный и мыслящий старец! (Кстати напомнить, — вам, вероятно, известно, что святоотеческое христианство признает *реальное существование* языческих

богов; но оно считает их *демонами*, постоянно увлекавшими человечество на свой ложный путь! Боже, до чего совершенно, до чего ясно, до чего умно, идеально и в то же время практично — это учение!... Чем больше его узнаешь, тем больше дивишься!)

«Итак — желать для своего отечества существования только мирного, только морально-полезного, только средне-утилитарного — значит желать сперва отвратительной прозы, а потом ослабления «света», духа, поэзии и, наконец, разрушения. Желать для него поэзии, искать идеала эстетического, хотя бы с большими неизбежными пороками, страданиями, даже волей-неволей и с грехами, значит желать не только более высокого и более прочного (чем идеал утилитарно-моральный), но и даже более *душеспасительного*. Ибо, раз прилагая это общее правило в частности, например, к России, мы должны признать, что для приблизительного достижения такого культурно-эстетического идеала необходимо значительное усиление *мистических* чувств, естественно-исторически присущих нашему культурному типу, то есть *усиление Православия*. Если при этом будет по греховному несовершенству нашему и много выразительных пороков и, может быть, много и сект, то с этим мирится не только поэзия и национальное чувство, но и до некоторой степени и чувство религиозное. Если я — верующий человек, я буду стараться *сам жить* понепорочнее и верить как можно *правильнее*; но я, во-первых, не буду торопиться слишком сурово судить тех из моих соотечичей, которые, не отвергая ни Бога, ни Церкви, увлечены страстями — кто блудом, кто честолубием, кто гневной борьбой за существование и обогащение свое... ибо я смиренно знаю, что, быть может, я сам завтра сорвусь еще хуже и непростительнее их, они же могут внезапно исправиться; а во-вторых, я за Православную родину меньше буду бояться с такими в некоторых (а не во всех) отношениях безнравственными людьми, как Скобелев, Лермонтов, Потемкин-Таврический, чем с такими, пожалуй, и более нравственными, как Сади-Карно, Акакий Акакиевич и даже Максим Максимыч (в «Герое нашего времени»). Также и секты; лучше борьба с упорными и возрождающимися *мистическими* сектами (вроде скопцов, хлыстов, мормонов, спиритов), чем мирная с виду (надолго ли?) жизнь слабо верующих, но довольно честных граждан с другими, тоже морально сносными, но уже *вовсе неверующими*. Вообразим себе нынешнюю Швейцарию и нынешнюю же одну русскую губернию или две, хоть Калужскую и Тульскую вместе. В этих двух русских губерниях еще возможны и в наше время и отец Амвросий Оптинский, и какой-нибудь блестящий воин, вроде хоть того же Скобелева, и такой романист, как Лев Толстой; и пороков и страстей очень много во всех классах. Мужики очень развратны, хотя и религиозны. В Швейцарии же на такое почти население морали средней наверное больше, но зато ни о. Амвросий, ни Скобелев, ни Толстой уже невозможны...

«В третьем дополненном издании «России и Европы» Данилевского есть прекрасное и глубокое замечание о том, что «красота есть духовная сторона материи». Прочтите. Хотя и «культура», и «государство» суть понятия как бы отвлеченные, но в действительности отвлечением этим соответствует известная совокупность весьма реальных явлений, доступных нашим чувствам: очень большое общество людей, города, села, здания, семейные картины, придворные обычаи, богослужение, междоусобия, войны, литературные произведения, одежды, изречения, замечательные людские характеры, подвиги, страдания, добродетели и низости и т. д. Все эти явления более или менее *вещественны*, и культура тогда высока и влиятельна, когда в этой развешивающейся перед нами исторической картине — много *красоты, поэзии*. Основной же общий закон красоты есть, как известно, *разнообразие в единстве* (добровольно или более или менее насильственно — это при подобном взгляде вопрос второстепенный); будет разнообразие — будет и *мораль*; конечно, не всепоглощающая, как нынче хотят, а *восполняющая*, коррективная, а не сплошная, которая и невозможна. Ибо даже всеобщее равноправное и равномерное благоденствие, если бы и осуществилось, на короткое время, то убило бы всякую мораль. Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение, все это только тогда и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обиды, жестокость и т. д. ...»

ВОЗВРАЩЕННАЯ КНИГА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА



Цитата первая:

«Комплекс неполноценности, вызванный Игом, заявил о себе в работах первых же русских историков, начиная с Татищева. Неистово исправляя несправедливую правду, они ваяли из ее грубого живого тела прекрасный труп. Научная истина или просто Истина без эпитетов? Такого вопроса в имперской историографии не возникало.

Татищев изымал из обращения подлинные факты, заменяя их своим изложением. Рубил головы словам. А легко ли это? Рубанешь со злобой, думая — чужое, а оно, корявое, раско-
сое, вдруг закричит по-русски — мама!..

Погладишь по лыняной головке свое, исконное из конца в конец, а оно растает от нежности, прильнет к твоему слуху и лепечет, волнуясь, что-то гортанное...

Смешны попытки иных блюстителей чистоты культуры избавиться от «варварских наносов» — вырубить все частицы меди из бронзы.

Мы говорили, что история любого народа по сути своей интернациональна. И рассматривать ее с псевдопатриотических позиций — значит попросту проявить некомпетентность. Нарушая природные связи культуры, лишая ее животворящего космоса, мы обрекаем ее на затхлость и вымирание».

— Олжас, в 1975 году в Алма-Ате вышла ваша книга «АЗиЯ». В подзаголовке — «Книга благонамеренного читателя». Она тут же получила прекрасный отклик в «Комсомолке», ничто грозы не предвещало, и вдруг у «АЗиЯ», да

и лично у вас начались крупные неприятности, которые закончились тем, что книга ваша, не успев попасть в библиотеки, была изъята. Что же произошло?

— Начальная часть «АЗиЯ» посвящена «Слову о полку Игореве». Первый отклик — письмо Константина Симонова. Доброе, большое письмо. Он предвидел предстоящие бои и был готов принять участие на моей стороне.

— И что же почувствовал Константин Михайлович?

— Ее направленность против лжеистории, которой нас кормили все эти годы. Ведь в «благонамеренном прочтении» затрагивались крупные имена, руководители школ по изучению и переводов текстов «Слова». В это время уже писалась статья доктора исторических наук Кузьмина, вышла она в 12-м номере журнала «Молодая гвардия», с нее и началась травля книги.

— Что же отличало ваш взгляд на «Слово»?

— Я взглянул на атмосферу «Слова», на космос его, на историю толкования темных мест. За два века изучения многие из них стали еще темнее. «Учение — свет, но ученых — тьма». «Слово» появилось на границе двух этнических миров — славянского и тюркского, и в нем отразились реалии двух этносов, двух культур, оно писалось как бы для двуязычного читателя XII века, а изучали его и поправляли текст одноязычные ученые. Статья же, вышедшая в «Молодой гвардии», называлась «Пятна на солнце» или что-то подобное...

— Надо отметить большой исторический опыт у «Молодой гвардии» по борьбе с мыслью, наклеиванию ярлыков-меток для политической травли...

— Да, сразу начались оргвыводы, книгу хотели обсудить тремя отделами ЦК КПСС — науки, культуры и пропаганды. Хотели даже вставить строку в доклад Брежнева на XXV съезде, после чего должно было появиться постановление ЦК по книге, что, конечно же, ударило бы по Казахстану вообще, и республиканские руководители начали принимать меры, спасая отношения республики и Москвы. Тогда так «внимательно» относились к литературе, что позволяли критиковать только «своих» авторов, а вот с московской пропиской — это было все равно, что посягать на братскую дружбу народов. Словом, им удалось перенести обсуждение книги в ЦК и перевести его на академический уровень. 13 февраля 1976 года оно состоялось.

— И что же, 47 академиков и членкоры участвовали в обсуждении одной книги одного поэта?

— Это было не обсуждение, а откровенное осуждение... Было это на Волхонке, людей пропускали по строгому списку. Здесь собрались ведущие деятели наших общественных наук, историки, философы, тюркологи, лингвисты-слависты, представители московской и ленинградской школ...

— Что же их всех так задело в книге благонамеренного читателя?

— Начал обсуждение Борис Рыбаков, академик: «Товарищи, в Алма-Ате вышла самая антирусская книга, которая когда-либо выходила в советское время и вообще. Книга о «Слове о полку Игореве». Названа «АЗиЯ»... Книга Рыбакова о «Слове» в тот год была выдвинута на Ленинскую премию. А в «АЗиЯ» многие положения его книги критиковались. Может быть, этим объясняется пафос академического заявления. Но антирыбаковская вовсе не означает антирусская. Премию он все же получил. «АЗиЯ» помогла. И цивилихинская «Память», написанная как ответ на мою работу, тоже удостоена была премии.

— В книге вы часто спорите и с Д. С. Лихачевым, главным специалистом по «Слову». Как у вас сложились отношения с академиком после выхода «АЗиЯ»? Знаю, что и он опубликовал критические статьи против...

— Я всегда с большим уважением относился к Дмитрию Сергеевичу. Его человеческая и научная позиции мне близки. Но согласен я у него не со всем. И считаю это нормальным.

— Понимаю, что больше всего раздражало обсуждавших. Это то, что книга была написана «против течения»...

— Эта была самая главная крамола — своя оценка устоявшихся взглядов.

— Многие поверили, что книга была антирусская. Как можно было доказать, что она таковой не была и не является?

— Очень просто — прочитать книгу благонамеренно. В официальной нашей историографии отношения исторической Руси с ее соседями виделись совершенно определенно сквозь призму имперского мировоззрения. В реальности соотношения, вероятно, были иные, но в источниках выискивались примеры, соответствующие такому подходу, и перетол-

В это кресло больше никто никогда не сядет, и гантель брошена не случайно — в нем сидел и давал свое последнее интервью А. Д. Сахаров незадолго до смерти.

Фото Леонида Шимановича

ковывались в угоду существующему в науке пониманию. И, что самое интересное, наибольшую поддержку имперский взгляд получил в XX веке, когда уже не осталось ученых, которые позволяли себе рассматривать предмет объективно.

Моя попытка — попытка независимого исследования. При этом, как видите, оказались правила игры, мне дотоле не ведомые.

— *Повлияло ли, на ваш взгляд, ваше геологическое образование, знание кристаллографии или, может быть, школа структурного анализа Лотмана?*

— Мне казалось, что главное — увидеть правду в «Слове» и изложить ее. История по прошлому воспитывала шовинизм, этническое высокомерие, чувство национальной исключительности. Такая история доказывала, что великая культура упала готовой с неба без всякого развития, прямо золотым брусом, а я думаю, что культура — это результат бесконечных перекрещиваний, контактов, разрывов, взаимодействия. И это все отразилось в «Слове». Но псевдоученные намеренно закрывали те места, которые отрицали их идеологический подход, и открывали, высвечивали то, что укрепляло их концепции. Таким образом, из науки они делали чистую идеологию, прислужницу национализма, как точно определил французский историк Марк Блок. Такие воззрения исповедовали многие поколения ученых. Таков был «академический подход», а можно представить, как деформировала материал «Слова» масса неспециалистов.

— *Таким образом, развился монополизм мышления, и никакого инакомыслия не только не терпели, но и яростно не хотели. Но как все же дело дошло до уничтожения книги? Те времена знают истории и похлестче, когда людей высылали самолетами, поездами — одних за кордон, других в психушку и лагеря, но так же страшно, когда книгу, как живой организм, рубят на мелкие кусочки. Вы видели своими глазами когда-нибудь, как это происходит?*

— Нет, я только в германской хронике видел, когда сжигали на кострах...

— *Кто же все-таки принимал решение?*

— Сулов выступал очень резко, раскритиковал книгу. Думаю, что это было его распоряжение. А в одной статье ее сравнивали с «Майн Кампф», просто-напросто обвиняя в пантюркизме и даже в сионизме. Однажды в «доверительной» беседе в ЦК КПСС меня спросили: «Скажи, только честно, Олжас, это правда, что у тебя мама — бухарская еврейка?» Я ответил, что не заглядывал в паспорт матери, вот прилечу в Алма-Ату, узнаю и дам вам телеграмму из одного слова — да или нет... Видите, как все просто — любое инакомыслие объясняется составом крови.

— *«Остров Крым», написанный В. Аксеновым примерно в то же время, стал «предсказательным» романом. «Крым» в нем еще тогда сделался островом. В чем, на ваш взгляд, современность книги «АЗиЯ»?*

— Современность хотя бы в том, что книгу до сих пор не пускают в Россию, к русскоязычному читателю. Можно, оказывается, издать дневники Колчака, Деникина, а чтоб издать снова «АЗиЯ», хотя бы в Алма-Ате, необходимо было постановление целой комиссии бюро ЦК Казахстана, разрешающее ее издание. Книгу не купишь ни в Киеве, ни в Москве, ни в Минске...

— *И кто же сейчас постарался?*

— Кто его знает... Вероятно, система еще работает, дает сбои, но работает. Однажды в разговоре с одним из этномарксистов меня еще раз спросили о происхождении. Тогда я поинтересовался генезисом этого вопроса. «Понимаешь, — сказали мне, — мы знаем издавна казахов, казахи очень скромный народ, а почему ты такой нескромный?» Вот так... Я-то считал, что народ — это мозаичное понятие, и одним эпитетом его не охватишь. Не бывает хороших народов, ибо тогда надо предполагать и плохой народ, если говорить о скромных, то где-то есть и нескромные нации. Для понятия «народ» и тысячи эпитетов не хватит. Скромность — это ограниченность, она хороша, мне кажется, в быту, не в работе, не во взглядах.

— *Отчего вы придаете такое большое значение, как поэт, корням слов, расчлняя их порой до буквы, до звука? Что выходит из этого? Ведь дробление вызывает энергию распада.*

— Поэт, на мой взгляд, это физик слова, он стремится докопаться до электрона, выявить скрытые возможности. Частица каждого созвучия для меня еще кладезь исторических знаний. Самая большая и древняя хроника заключена в слове. Я сейчас работаю над книгой «Тысяча и одно слово». Я смотрю на слово как на результат многовековой работы.

В нем отразились контакты народов, перемещения. Слово напиталось отблеском и громом и шепотом веков.

— *Вы заговорили о физике слова, о силе его, о какой силе?*

— Я хочу сказать о той силе слова, которая озаряет сознание человека светом древности. Слово доказывает, что мы — наследники прошлого, всех мировых перемен в нем. Человек, владеющий словом, владеет историей. Грек, который живет в Афинах, не может быть в большей степени представителем цивилизации Аристотеля, Платона, чем воркутянин, читающий эллинские тексты. Мир принадлежит знающему. Египтянин, торгующий сувенирами у пирамиды Хеопса, не может быть наследником древнеегипетской культуры только потому, что у него «прописка» египетская. Мол, здесь мой род со времен неандерталья, здесь я живу и все — мое. Остальные — чужаки. И мир остальной — чужой. В невежестве причина любого национализма и имперских амбиций обывателя. Завоевывать мир можно только знанием. Быть человеком — это плыть, как говорили древние китайцы, против течения. Остановился, и тебя отнесло. Если мы не просвещаем себя, нам трудно говорить с другими, продвинувшимися. Вот здесь и начинается замыкание в собственной культуре.

— *Когда русский язык внедрялся в национальные культуры, как он на деле мешал другим?*

— Русский язык приходил на окраины с Пушкиным и с пушками, не как культурное явление в чистом виде, но вместе с имперской, колониальной системой. Естественно, что он и подминал и подавлял местные языки, местные культуры, которые принимали положение приобретающих, но теряющих свое. Сейчас можно осваивать более справедливую модель — приобретать, не теряя. При этом происходит обогащение своего и появляется нечто третье. Японцы восприняли западную цивилизацию, не утратив свою. Результат работы на стыке культур — мировая цивилизация. Этим обогатили и мировую культуру.

— *И никого это не возмущает...*

— Потому что это произошло органично, без насилия и сознательно. Книга «АЗиЯ» посвящена не только темным местам «Слова о полку Игореве». Она в целом — о генезисе слова как такового. К сожалению, критики так увлеклись первой частью, что вместе с водой раздражения выплеснули то, на что следовало обратить спокойное внимание. Это взаимоотношение восточных и западных культур в широком контексте. Академическое «инакомыслие» превращало университеты в замшелые монастыри науки — научные заведения, выпускавшие наученных работников, но истинной науке присуще инакомыслие. И сегодня я вижу, как оно утверждается, например, в тюркологии. Шумерскую тему, заявленную в «АЗиЯ», развивал Айдын Мамедов, талантливый бакинский лингвист, который не дописал докторскую диссертацию. Погиб, пытаясь погасить войну, распаленную невеждами в академических мантиях. Моему другу Айдыну Мамедову я посвятил будущую книгу, которую пишу в клятвенной уверенности, что одна, только одна война допустима: война поэзии с лжеисторией.

Цитата вторая, заключительная:

«Я отдаю себе отчет в том, что поэтический подход к сугубо научным проблемам может и должен раздражать.

Задача этих заметок — вместе с раздражением чувств читателя вызвать и раздражение мысли. Они написаны в полном убеждении, что языкотворцы были художниками, понять их произведения можно лишь тогда, когда проникнешь в механику их образного мышления, освоишь их язык — поэтический.

Языкотворчество было искусством, и поэтому языковедение должно, хотя бы в начале своей настоящей истории, быть наукой поэтической, чтобы когда-нибудь стать поэтической наукой...

Я прочел рукопись, и у меня возникло чувство виновности и перед теми, с кем спорил, и перед темами, которые на ходу задел. Я увидел, что сам не избежал того, против чего воюю: ратуя за объективность в оценке Времени, преувеличил Момент.

Мысль обгоняет перо, и написанное вчера уже похоже на старую топографическую карту: там, где обозначил кустарник, уже шумит лес, там, где пунктиром провел тропинку догадки, сегодня гудят бульдозеры, прорубая ложе для бетонированного тракта сознания».

Беседу вел Александр ТКАЧЕНКО

Николай
АНАСТАСЬЕВ

ПОРАЖЕНИЕ КАК УСПЕХ



(Уильям Фолкнер)

В отличие от Джойса, путь к которому у нас только начинается, Уильяма Фолкнера мы знаем давно и достаточно полно. Стотысячными тиражами вышли почти все его романы, новеллы, эссеистика. Популярным писателем вроде Ремарка или даже Хемингуэя он, положим, не стал, однако же духовно сроднилось с ним уже не одно читательское поколение.

Это может показаться несколько странным.

Во-первых, Фолкнер по всем признакам — типичный провинциал, почвенник, что называется. Почвенников у нас, правда, многие любят, но — своих. А Фолкнер писал о далеком и малопонятном — о людях и событиях американского Юга. На страницах романа «Авессалом, Авессалом!» Квентин Компсон, один из любимейших героев писателя, рассказывает своему университетскому приятелю, канадцу Шриву Маккеннону жуткую историю, случившуюся в этих краях много лет назад. Тот жадно вслушивается, но понять ничего не может. Квентин повторяет раз, другой, третий. Все равно ничего не выходит. И тогда он уныло заключает: «Тебе и не понять. Там надо родиться». В некотором роде все мы такие же Шривы.

Так герой хотя бы старается быть понятным. А писатель и пальцем о палец не ударит, чтобы как-то сократить расстояние, увлечь читателя романтикой, что ли, острым сюжетом, как, например, это делает его известная (теперь и у нас) землячка Маргарет Митчелл, автор романа «Унесенные ветром». Читать Фолкнера необыкновенно сложно: сюжет едва намечен, композиция раздергана, фразы-монстры дребезжат, обрушиваются с оглушительным грохотом, разлетаются на осколки, и автор не предпринимает ни малейшего усилия собрать их. С гигантским трудом мы восстанавливаем событийную цепь, допустим, того же «Авессалома». Четырнадцатилетнего белого подростка по имени Томас Сатпен, сына бедняка-издольщика, оскорбил, не пустив его на порог господского особняка, привратник-негр; дав себе слово сравняться с самыми сильными и самыми гордыми, Сатпен убегает из дома, сколачивает состояние, возвращается, женится, рождаются дети, он выстраивает роскошную усадьбу. Но оказывается, Сатпен был уже женат на мулатке, есть сын, в него влюбляется дочь от второго брака, и чтобы предотвратить инцест, да еще смешение белой и черной крови, Генри Сатпен, сын Томаса, убивает сводного брата. Семейные драмы разыгрываются на фоне Гражданской войны, уничтожающей все нажитое; — от царственного поместья остается одна зола. Сатпен начинает все сначала. Он вступает в связь с внучкой своего работника Уолла Джонса, но родится не сын — наследник имени и Дела, а дочь; Сатпен прогоняет девочку-любовницу, и старый Уолл, мстя за бесчестье, закалывает хозяина ржавой косой.

Путь проделан, но тут нас ждет неприятное открытие: соединив кое-как расплывающиеся нити, мы, оказывается, ничуть не приблизились к смыслу романа. Ибо сосредоточен он не в событиях как таковых, а как раз в разрывах, в зазубринах фраз, которые обрываются, чтобы продолжиться через десять или двадцать страниц.

Но и это еще не все. Скособоженная, все правила презирающая стилистика зеркально отражает внутреннее содержание мира под переплетом.

Люди XX века, сами видевшие, либо наслышанные об истребительных войнах, концлагерях, геноциде, мы и в литературе привыкли ко всякому, натуральным обликом зла нас не удивишь. Но Фолкнер особенно беспощаден. Йокнапатофа — местечко, где происходит действие основных его произведений, в переводе с языка индейцев чикесо означает «тихо течет вода по равнине». Только какая там тишина! — все здесь разворочено, растерзано, вырвано с корнем. Как будто свирепый смерч промчался. У Фолкнера норма — убийство, насилие, принимающее порой самые извращенные формы, кровосмешение, словом, действительно шум и ярость, не зря автор вынес эти макбетовские слова в заглавие любимейшей своей книги. Возникает ощущение, что Фолкнер нарочно отгораживает себя от посторонней жизни, в которой, что ни говори, и свету, и добру есть место.

И все-таки что-то неудержимо притягивает нас, заставляя преодолевать все барьеры.

Что же?

Огромное эмоциональное напряжение — это бесспорно. Причем вовсе не обязательно оно обеспечивается сюжетом, как в «Авессаломе». Чаще как раз наоборот.

Юная девица согрешила — подумаешь, великое дело. Но это грехопадение вызывает у брата ее, Квентина Компсона, такой обвал переживаний, что сам же он не выдерживает их тяжести и кончает жизнь самоубийством («Шум и ярость»).

Семейство перевозит гроб с телом матери в близлежащий городок, где та завещала похоронить себя. По дороге встречается река. Да что там река — ручей, правда, разлившийся. Но Бандрены ведут себя наподобие мифологических героев, вступивших в смертельную схватку с самим роком («Когда я умирала»).

Или вовсе ерунда — подросток, сев, не спросившись, в отцовский автомобиль, пустился в путешествие по здешним местам. Однако в собственном его — и окружающих — сознании шалость вырастает до размеров Вины, Преступления, Искупления («Похитители»).

Грандиозность постройки — это тоже сразу становится видно и, конечно, впечатляет. Любая из фолкнеровских книг — законченное произведение, но любая же связана десятками видимых или невидимых нитей с другими книгами. Как у Бальзака. Как у Золя. Так образуется подвижный, текучий мир, не имеющий концов и начал. Недаром все написанное Фолкнером называют сагой.

Но главное — полнота, стремление воплотить всю бесконечность человеческого опыта. «Мне хотелось бы думать, — говорил Фолкнер, — что мир, созданный мной, — это нечто вроде краеугольного камня целой вселенной, что, сколь ни мал этот камень, уберечь его — и вселенная рухнет». Этот провинциал, упорно именовавший себя не писателем, а фермером, деревенским парнем и т. д., покушался решать задачи, которые ставили перед собой лишь немногие — Шекспир, Сервантес, Гете, Бальзак, Толстой, Достоевский, Джойс.

Фолкнер только начинается на Юге, а затем устремляется в бесконечность, располагаясь в координатах космического времени и пространства.

Но глобальные вопросы, как известно, имеют склонность обостряться в те или иные эпохи, вечность всегда влюблена в современность.

Писательский опыт Фолкнера, как и других крупнейших художников нынешнего столетия, лишний раз в этом убеждает. Они пишут по-разному и о разном, но постоянно упираются в один и тот же поистине роковой для новейшей истории вопрос: положение личности в мире, природном и гражданском.

И что же видим мы? Человек отторгнут от окружения, он плавает в незаполненном пространстве, ничто его ни к кому и ни к чему не привязывает, а если привязывает, то насильственным, а часто убийственным для него образом. Спасти можно только в одиночку, заключив сепаратный, как сказал бы Хемингуэй, мир, став, как сказал бы Герман Гессе, степным волком.

На этом фоне Фолкнер резко выделяется. Заведомо ставя

человека в положение наименьшего благоприятствования, обрушивая на него страшные удары, заставляя испытывать катастрофические мучения (бедой становится, как сказано в «Шуме и ярости», само Время — ревущая громада тысячелетий), писатель упрямо стремится пробить стену одиночества, вернуть героя в среду людского обитания. Ибо иначе — не выжить. А человек, любил повторять Фолкнер, не только выживет, но победит.

Каковы любимые его герои, что в них прежде всего бросается в глаза? Пожалуй, черты яркой, можно сказать, страстной индивидуальности. Квентин Компсон, Томас Сатпен, Баярд Сарторис — все люди «поперечные», менее всего готовые склониться перед принятым порядком, перед любым авторитетом, все чрезвычайно этой своей индивидуальностью дорожащие. Да автор и сам повторял неустанно: «Что важно, так это одинокий голос человека. Когда перед нами двое, все еще имеешь дело с двумя; когда трое — начинается толпа». В пору обесценения личности именно как личности, в пору мощного напора массовой культуры эти слова звучали выстраданно и весомо. Но их по совести мог бы произнести — и произносили, только в другой форме — любой значительный писатель, любой значительный мыслитель XX века. А у Фолкнера не только единица, но и нечто большее, чем единица. Ему, этому человеку, есть на что опереться, кроме самого себя, кроме собственного мужества и стойкости. У него есть корни, за ним выстраивается невидимая вереница людей, преданий, норм поведения. Я снова прошу читателя припомнить роман «Авессалом, Авессалом!», самое начало. Приступая к расследованию давней кровавой истории, Квентин догадывается, в какие бездны придется ему заглянуть, сколь запутанные узлы, психологические и социальные, придется распутать. Но понимает он и то, что в путь отправляется не налегке. Ибо «это была частица его собственного наследия, нажитого им за свои двадцать лет, — ведь он дышал тем же воздухом и слышал, как его отец говорил о человеке по имени Сатпен; это была часть наследия города Джефферсона, который восемьдесят лет дышал тем же воздухом, которым человек этот дышал между нынешним сентябрьским днем в 1909 году и тем воскресным утром в июне 1833 года, когда он впервые въехал в город из туманного прошлого... Квентин с этим вырос; даже самые эти имена были взаимозаменяемы и почти что неисчислимы. Его детство было полно ими; в самом его теле, как в пустом коридоре, гулким эхом отдавались имена побежденных: он был не реальным существом, не отдельным организмом, а целым сообществом».

Можно взглянуть на дело с другой стороны.

Кто несчастлив в фолкнеровском мире? То есть счастливых у него вообще нет, на всех валятся беды, но кому все-таки тяжелее всех?

Мне кажется — Джо Кристмасу, центральному лицу романа «Свет в августе». Он гибнет в конце, причем гибнет страшно. Но опять-таки насильственной смертью умирают у Фолкнера многие. Прямо-таки горы трупов, как в финалах шекспировских трагедий. Тут вся суть в причинах гибели. По сюжету, Кристмас, у которого в жилах течет и черная кровь, становится жертвой расовых предрассудков. Но сюжету, как мы уже знаем, особенно доверять нельзя, он часто не разъясняет, а только запутывает и без того сложное дело.

Несчастье, беда, катастрофа Кристмаса, его изначальная обреченность гибели заключаются в его безродности. Он срединный, никакой расе не принадлежащий, промежуточный человек. Ниоткуда он явился в этот мир — просто нашли у дверей приюта спеленутый комочек в рождественскую ночь (отсюда и прозвание). Никуда уходит, отчаявшись пробить скорлупу анонимности, в которой пребывает все время. Недаром ни разу не попадает лицо героя в фокус, черты расплываются, вся фигура словно составлена из отдельных частей, которые непонятно что удерживает вместе. «Похож он был на бродягу — и вместе с тем не похож. Ботинки у него были пыльные, брюки тоже в грязи. Но сшиты из приличной диагонали и отутюжены, а рубашка его, хоть и грязная, была белой рубашкой; на нем был галстук и соломенная шляпа, новая, с твердыми полями, заломленная нагло и зловеще над неподвижным лицом. Он не был похож на босняка в босняцком рубище, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли».

Безымянность — трагедия.

Имя, то есть индивидуальность, — тоже далеко еще не залог спасения и торжества человечности. Ибо индивидуальность легко может перейти в крайний, страшный своими

последствиями индивидуализм, эгоистические высокомерие, презрение к нормам этики. Вот как отзывался сам Фолкнер о герое романа «Авессалом, Авессалом!»: «Он достоин жалости, как достоин жалости каждый, кто попирает чувства людей, кто не понимает того, что сам принадлежит человеческому роду. Сатпен этого не понимал. Он был Сатпенем. Он намеревался получить то, что хотел, только потому, что он большой и сильный. Мне кажется, такие люди рано или поздно терпят поражение, потому что не осознают себя частью рода человеческого, в семье человеческой не выполняют свой долг».

Стало быть, абсолютная ценность — «семья человеческая», и стоит принять ее закон, как и сам приобщиться святости? В высоком, надмирном смысле это, разумеется, так. Но Фолкнер не философ, он художник (а когда попытался написать философский, правоучительный роман «Притчу», — потерпел жестокое поражение). Он имеет дело с живыми людьми и живой историей. Потому род, корни, прошлое — это корни и прошлое общины, как она сложилась на глубоком Юге Америки.

Потомственный аристократ, внук рабовладельца, Фолкнер любил это прошлое. Но чувство художника страшно расколото — любовь отравлена ненавистью. Чем дальше, тем глубже осознавал он традицию не только как дар и благо, но и как немыслимо тяжелое бремя, от которого хочется — и невозможно — освободиться. Община сложилась как тесное братство людей, давших друг другу слово уважать и хранить законы свободы и совести. Однако постепенно она, не утрачивая лучших качеств, обрастала хламом ветшающих ритуалов, следование которым как раз и лишает личность свободы волеизъявления. А главное — позади не только гордость и честь; позади и страшное проклятие — рабовладение. Да нет, не позади — в том-то все и дело. Ничто не исчезает, не забывается, не остается в туманной дали — так уж устроен фолкнеровский мир. «Время, — говорил писатель, — текучее состояние, осуществляющееся исключительно в мгновенных проявлениях индивидуальных лиц. Нет никакого «было» — только «есть». Если бы «было» существовало, исчезли бы горе и страдание».

Да, именно потому столь сильны и одновременно столь несчастны фолкнеровские герои, что постоянно ощущают себя наследниками вечно живого и длящегося прошлого. Им тяжело, им гораздо тяжелее, чем, скажем, героям Хемингуэя. На тех наваливается чужой мир, убивающий самых лучших и самых честных, эти испытывают неимоверное давление своего, родного мира, ему бросают вызов, его стремятся преодолеть — и вместе с тем остаться частицей этого же мира.

Йокнапатофа — это взорванный мир, это хаос. И с упорством Сизифа Фолкнер стремится сотворить из этого хаоса космос, восстановить утраченную гармонию. Он высоко ценит индивидуальное достоинство личности, но мало ему одного этого достоинства, и потому он с редким бесстрашием развенчивает любимых своих героев. Он предан общине, или, как у нас бы сказали, собору, но как же далека эта преданность от слепого поклонения.

Тогда как же из такой раздвоенности сотворить цельность, как решить поставленную задачу?

А Фолкнер ее и не решил. И сам знал, что не решил. Только это его ничуть не смущало, и нас, я думаю, не должно смущать. Ибо поражение, не уставал повторять писатель, — это лучшее в писательском труде. Высоких слов он избегал, изъяснялся по поводу собственного творчества чаще всего неуклюже и тяжеловесно, и все-таки применительно к следующему его высказыванию рискну употребить ответственное слово «кредо». Вот оно: «Попытаться сделать то, чего сделать не можешь, даже надеяться не можешь, что получится, и все-таки попытаться и потерпеть поражение, а потом снова попытаться. Вот это и есть для меня успех».



Константин МЕЛИХАН В РАЗНЫХ ЖАНРАХ

В этом выпуске «Зеленый портфель» организовал своеобразный бенефис Санкт-Петербургского сатирика. Подборку мы предваряем эксклюзивным интервью с К. Мелиханом, которое он с присущей ему эксклюзивностью взял у самого себя.

* * *

- Когда вы родились?
- Я родился в первой четверти второй половины двадцатого века, а умер позже.
- Назовите три лучших города в мире.
- Три лучших города в мире — это Ленинград, Петроград и Петербург. Потому что я родился в Ленинграде, моя мать — в Петрограде, а отец — в Петербурге. Имя мое — греческое, фамилия — персидская, а сам я — русский, как это нередко бывает. Вы видите, что я отвечаю и на то, о чем вы не спрашиваете, потому что боюсь, что вы меня об этом не спросите.
- Вы женаты?
- К счастью для моей жены — да.
- Всегда ли ваша жена соглашается с вами?
- Моя жена согласилась со мной только один раз — когда я ее спросил: «Согласна ли ты выйти за меня замуж?»
- Есть ли у вас дети?
- Да, по материнской линии.
- Кто вы по натуре — оптимист или пессимист?
- Ни то, ни другое, потому что это две крайности. Оптимист считает, что жизнь есть и на Марсе. А пессимист считает, что жизни нет и на Земле.

— Мы знаем, что вы еще и редактор отдела юмора журнала «Аврора». Что вы можете сказать об этой своей должности?

— Редактор не может улучшить произведение писателя. Но может сделать так, чтобы читатель не мутился долго.

ЧТО В СТРАНЕ ДЕЛАЕТСЯ!

(Фельетон)

Что в стране делается!

7-летний пассажир троллейбуса, угрожая пеналом, потребовал у водителя изменить маршрут и отвезти его в деревню к бабушке.

Житель Урюпинска во время просмотра в местном кинотеатре итальянского фильма зашел за экран и попросил политического убежища.

Работники мясокомбината в знак протеста против ревизии объявили трехминутную голодовку. Один не выдержал и скончался.

Что в стране делается! Все куда-то пишут, чего-то требуют.

Таксисты требуют, чтобы им платили инвалидными рублями, а не инвалидными.

Школьники требуют избирать учителей из числа школьников.

Проститутки требуют ввести им пенсии по старости с 25 лет и открыть свой орган печати, который так и будет называться — «Открытый орган».

Ничего не требуют только пенсионеры. Только пенсионеры у нас счастливые. Потому что отработали до перестройки, отпили до Указа и отлюбили до СПИДа.

Теперь вот талоны ввели.

А я вам скажу, талоны — это еще не страшно. Хуже — когда все будет отпускаться по рецептам. Или по уважительной причине.

К примеру:

Мыло — только шахтерам.

Водку — только потомственным алкоголикам.

Туалетную бумагу — только тем, у кого есть талоны на мясо.

Кстати, заметили? — туалетной бумаги становится все меньше, а денег все больше. Я думаю, деньги на ней и печатают. В связи с этим предлагаю деньги печатать отрывные в виде рулонов, а туалетную бумагу выпускать многоразовую.

А то у нас все одноразовое, кроме шприцев. И трактора одноразовые, и табуретки.

А обувь — ваще! Такое ощущение, что нашу обувь выпускает не легкая промышленность, а тяжелая.

Недалеко от обуви и наше нижнее белье. Ниже не бывает. А потом удивляются, почему наша женщина раздевается быстрее француженки! Да потому, что ей стыдно показаться в этом белье перед мужем. Не говоря уже о товарищах по работе.

И последнее. Народ спрашивает: что будет дальше? Не волнуйтесь, товарищи: дальше будет лучше, потому что хуже некуда!

ТАНКИ

(Подражания японской поэзии)

* * *

По дороге ползет
Зеленая гусеница.

Осторожно!
Смотри — раздавить
Может она тебя!

* * *

Так мне грустно,
Что хочется в башню забраться
И оттуда
В кого-нибудь
Метко стрельнуть.

* * *

Укроюсь в листе,
Затаюсь,
Чтобы не видел меня
Сверху
Чужой вертолет.

* * *

Сколько раз он мне жизнь спасал!
К своему верному другу
Подойду
И похлопаю его
По броне.

* * *

Помню,
Дуло из люка.
Захлопнул я люк —
И дуло
Исчезло!

* * *

Как увижу —
Секс-бомба
Падает,
Сразу
Ложусь.

ГВОЗДИК

(Сказка)

У одного человека водопровод испортился. Пришел к нему водопроводчик. А у человека дочка была. Красавица. Вот она водопроводчику и шепнула:

— Будет батя вина дорогие наливать — не пей. Деньги сулить — не бери. А проси ты у него гвоздик ржавый.

Так водопроводчик и сделал. Починил водопровод. Взял гвоздик ржавый. И домой пошел.

А отец дочку обнял, по головке гладит и приговаривает:

— Молодец, Анечка! Здорово мы его надули!

ВРАЧ И БОЛЬНОЙ

(Драма)

- СПИДом болеете?
- Нет.
- Почему?
- Стеснительный очень.
- А в детстве СПИДом болели?
- Нет.
- Почему?
- Иностранных языков не знал.
- А в старости СПИДом будете болеть?
- Нет.
- Почему?
- Пенсии, боюсь, не хватит.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

(Ни то ни се)

Дама покупает в магазине тридцать килограммов конфет.

— Только не сладких, — говорит она. — Мне для поминок.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМА: «Получили тысячу голов крупнорогатого скота. Просим теперь прислать и туловища».

Любовь — как звезда: ярче всего она ночью.

Школа — место, где учителя требуют с ученика знаний по всем предметам, в то время как сами знают только по одному.

Сатира поднимает людей на борьбу: только одних против недостатков, а других против сатириков.

ЛОЗУНГ: «Политику правительства удобряем!»

— Слыхали, какой-то парень нашел за городом мину?

— Да, слышно было очень хорошо!

ИЗ СТЕНГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ПИОНЕР». Пионер Слава Сундуков потушил пожар. Если бы не Слава, пожар не только бы не погас, но и не вспыхнул.

Рабинович женится на Ивановой:
— Ты возьмешь мою фамилию, чтобы она не пропала. А я возьму твою, чтобы я не пропал.

ИЗ ЛЕКЦИИ: «Иисус Христос был первым иудейским руководителем».

г. Санкт-Петербург

Алексей ДЕКЕЛЬБАУМ

УГОН

Дверь приоткрылась, и в пилотскую кабину с любопытством заглянул ствол пулемета. Помаячил немного, осматривая экипаж и как бы интересуясь: извините, а кто тут за старшего?

— Куда лететь? — спросил командир.

— Налево, шеф, через две границы и после третьей — направо, — попросил традиционно небритый детина, появившийся следом за пулеметом.

— Ну-у, в пустыню... — разочарованно протянул штурман.

— Советский самолет! За три границы! В пустыню! — возмутился бортинженер. — За импортной верблюжьей колючкой?! Это варварство, молодой человек!

— Но-но, полегче! — обиделся детина. — Перестреляю всех к едреной фене!

— Стреляй, гад! Всех не перестреляешь! — заспорил второй пилот. — Я обещал дочке с первого же угона «Панасоник» привезти, а тебе в пустыню приспичило! Стреляй, гад! Мне все равно назад дороги нет!

Заглянула стюардесса.

— Ой, это что, пулемет? Нас что — угоняют? С ума сойти! Ой мальчики, а Париж принимает?

— Принимает, — успокоил штурман. — Но мы летим в Рио-де-Жанейро. Чудный город: барханы, саксаулы и двугорбые «мерседесы»...

— Ну все — стреляю! — объявил террорист. — Считаю до трех. Раз, два, два с половиной...

— Нет, хотя бы в арабские эмираты! — продолжал возмущаться бортинженер. — Это я еще могу понять.

— Смотря на какой эмират нарвешься, — заметил командир. — Приземляемся, а там «Панасоники» только по прописке, а компьютеры — по талонам.

— Где вы видели эмираты с талонами?! — закричал второй пилот. — Я лично таких эмиратов не видел.



Рисунок Константина Седова.

Остальной экипаж тоже не видел плохих эмиратов, но много слышал о хороших.

— В Рио-де-Жанейро саксаулы не растут, — сказала стюардесса и заплакала, подрагивая худенькими плечиками. — Господи, ну почему я такая несчастная! В кои-то веки...

— ...двадцать четыре, двадцать пять, — монотонно считал небритый пулеметчик, — все, уже стреляю... двадцать шесть, двадцать семь...

Дверь дернулась.

— Разрешите.

— Совещание! — отрезал командир. — Ну что, куда лететь-то?

Бортинженер с осторожной фамильярностью похлопал пулемет по стволу.

— Товарищ террорист, как бы вам объяснить... Я с детства мечтал увидеть Пизанскую башню. Я старый бортинженер, невыездной, двадцать лет мотаюсь на линии Кубытинск — Укушанск, у сына первый взнос в кооператив, у жены радикулит...

— А в Пизе «Панасоники» есть? — настороженно спросил второй пилот.

У стюардессы мигом высохли слезы.

— Есть, есть! Мне говорили, что Пиза набита «Панасониками». Там

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

ТРИДЦАТЬ
СТРОК

Как ни нескромно признаваться, «Зеленый портфель» получил много одобрительных отзывов по поводу подборок «Вечер короткого рассказа» в июньском и сентябрьском номерах. Пользуясь методом индукции, мы пришли к выводу, что лапидарные произведения по душе читателям. Видать, излишнее многословие сидит уже в печенках. В связи с этим, идя навстречу пожеланиям трудящихся, «Зеленый портфель» объявляет конкурс на лучший рассказ размером не более одной страницы машинописного текста. Говоря точнее, максимум — тридцать строк на машинке. Поэтому конкурс получил такое название, и мы просим авторов указывать на конвертах — «ТРИДЦАТЬ СТРОК».

Лауреаты будут названы редакцией в первом номере 1993 года. Меньше слов — больше дела! Желаем успехов!

у каждого безработного по «Панасонику». По два. — Она очаровательно всхлипнула напоследок и добавила застенчиво: — А все-таки в Париже «Панасоники» дешевле.

Дверь дернулась.

— Разрешите.

— Сказано — совещание! — огрызнулся штурман. Прихлопнул дверь и усмехнулся: — А говорят, что в Греции опять хитоны в моду входят. Может, проверим? У меня, кстати, в школе пятерка была по Древней Греции.

Раздался чей-то громкий смех. Все вздрогнули, в том числе и пулемет.

— А я, — смеялся командир, — всю жизнь не мог себе представить: Монако — и все говорят по-монакски.

С грохотом упало оружие убийства.

— А-а, век свободы не видать! — рванул рубаху террорист. — Нашли себе шестерку — развозить вас по границам. Гоните парашют, космополиты! А я остаю-юся с тобо-ою, р-р-родная навек стор-р-рона...

Он сполз на свободный квадратик пола и задергался, подставляя белу свету татуированный портрет Сталина. Густой волосяной покров на груди создавал впечатление, что Генералиссимус сидит в засаде.

Самолет плыл над облаками. Солнце безумствовало на девственном, первобытном небе.

— Вставай, гад! — Второй пилот наклонился и сгреб террориста за разодранную рубаху. — Взялся уго-нять — так уго-няй.

Парня сообщца поставили на ноги. Вручили пулемет.

— У тебя будут и пустыни, и Лувр, и кокосовые острова с промтоварами. А о других ты подумал?!

— Мы только поглядим — и назад.

— Больно нужны нам их каменные джунгли.

— И социальное неравенство.

— И бесправие трудящихся.

— Не будь эгоистом, старик! Уго-няй в Афины!

— Через Париж!

— Пизу!

— И Монако!

Дверь распахнулась.

— Совещание! — дружно рявкнул экипаж.

— Хватит совещаться! Довольно решать за народ, куда ему лететь. Митинг двух салонов постановил: подчиняемся насилию и летим в Японию.

Стюардесса сказала:

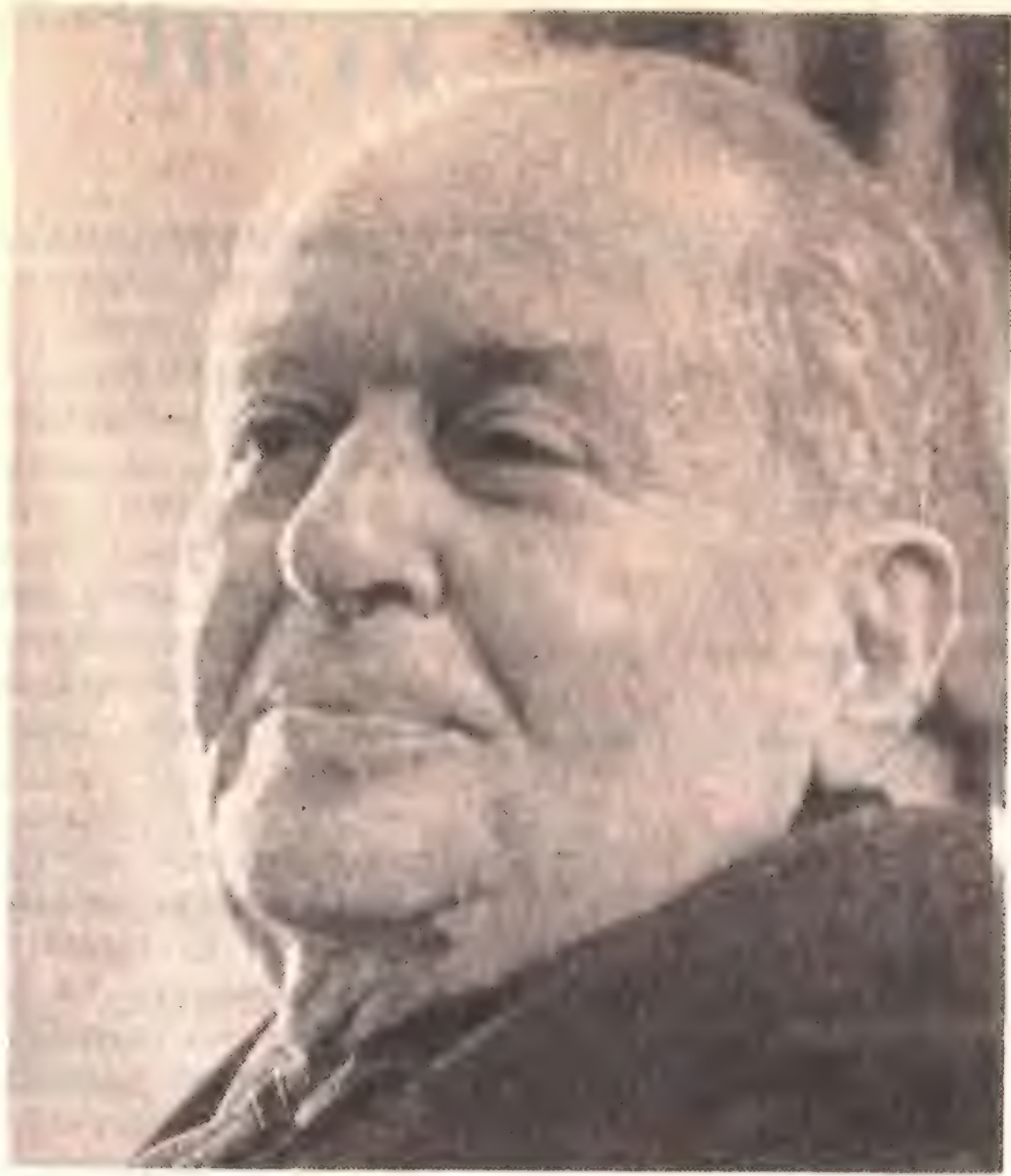
— А мы-то удивлялись — обычный рейс на Кубытинск, билеты же расхватили еще месяц назад.

Под вечер в степях Забайкалья устало плюхнулся на поле самолет. Когда лайнер остановился, из пилотской кабины выглянул седой летчик и подмигнул подбежавшим комбайнерам:

— Братцы, выручайте! За всеми спорами забыли о горячем. Сакура отцветает — можем не поспеть!

Но самую высокую сознательность проявил простой советский автопилот. В полночь самолет с экипажем, террористом, пассажирами и комбайнерами приземлился в аэропорту города Кубытинска.

г. Омск.



Умер Эммануил Борисович Вишняков.

И в стенах родной для него редакции уже никто и никогда не услышит его негромкого и доброго голоса, его отрудненных нездоровьем шагов.

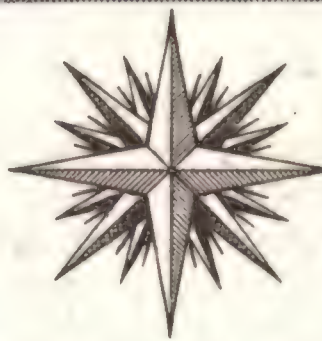
В годы гражданской войны он совсем юным приехал в Москву. Бродил по огромному и еще незнакомому городу босиком в поисках заработка, надеясь, что успеет обуться к зиме. Случаю было угодно привести его в типографию «Известий», куда был принят он учеником наборщика, и это предопределило всю его жизнь. Разумеется, вместе с большинством современников он разделял и обольщения, и заблуждения тех лет. И все же, перечитывая сегодня в бывших «Известиях» его корреспонденции о конфликте на КВЖД, о строительстве Сталинградского тракторного и Электростали, убеждаешься, что написаны они честным, совестливым журналистом. Послужной список Э. Б. Вишнякова весьма богат — был он главным редактором газеты «Постройка», работал в ТАСС, прошел всю войну с самых начальных тяжелых боев на Волховском фронте, потом стал одним из руководителей газеты «Советский спорт». Но отнюдь не безоблачной складывалась его жизнь: в середине тридцатых был исключен из партии и лишь чудом не угодил под молох репрессий, а позднее стал жертвой пресловутой кампании против «безродных космополитов»...

Когда В. П. Катаев, приступая к изданию «Юности», собирал, как теперь говорят, команду, то совсем не случайно остановил свой выбор на Э. Б. Вишнякове — знал, кто способен не только организовать работу, но и сделать ее увлекательной, привлечь молодые таланты. Эммануил Борисович вел отделы публицистики и науки. Публицистика журнала в полном смысле этого слова обязана ему своим рождением. Найдя очень точный, естественный и доверительный тон, он сделал живым стержнем ее диалог, общение с читателем на равных. Это было совершенно новым для тогдашней партийно-кулирной периодики. И кто знает, сколько зерен сегодняшнего свободомыслия было посеяно тогда на страницах нашего журнала.

Он любил журнал, наши будни и праздники, любил людей и время, доставшееся нам, с надеждой всматривался в то время, которое нам предстоит узнать без него.



21 КОМНАТА



**РУССКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ**

**Совместный выпуск
Владимир БЕЛЯКОВ**

Вот он — друг, рядом, толкает шестом плот в верховьях Лены, а может быть, Леты?..

Плот тупо идет по плесам и перекатам к Мертвой Деревне. Мы совсем разные. Он — взрывной холерик, я — уравновешенный сангвиник. Я — горожанин, он — таежник, вездеходчик геологии. Мы с ним замерзали в тайге, рубили себе дома, пили водку, творили добро и зло. Затем надолго расстались, но он немедленно вогнал топор в сруб нового дома на Байкале, отшвырнул верхонки и вылетел в Москву, прочитав мое письмо о том, что пора начинать задуманное.

Большая река даже в верховьях солидна. Таймень пушечным ударом хвоста отметил прибытие ковчега. Громадный филин — главный хранитель нежити — в упор нас не видел и не хотел замечать. Река плавно и бесшумно, словно гладкая лента из детского сна, уносила в Ледяной океан останки изб, поветей, сказок, саму память о крестьянском народе, хотившем некогда этот край тайги.



Года три тому случилась в Останкинском пивбаре маленькая конференция. Участвовали: поэт из Устюжны, художник из Самары, киносценарист из Москвы и поэт из Мирного. Всем надоел треп о гибнущей России, а потому ткнули пальцем в карту и полетели в верховья Лены искать Мертвую Деревню.

С тех пор убрали два урожая, подлатали дома и мастерские, родился маленький сибиряк, вернулась в родную деревню первая бабушка, начали выпускать домашний журнал...

Но осталась Россия; и мы — один на один с Мертвой Деревней, где бездомные домовые палат маленькие костерки среди мусора и дряни заустения, сгорают, вроде бы сами собой, баньки, — а это Баннушки, устав от одиночества и безделья, творят последние огненные омовения. Треногами марсиан Уэллса торчат среди разграбленных дворов старинные чугунные точила. Уцелевшие добротные дома стаскиваются в еще живые села и райцентры. Там из них кроют убогие школы и культурные дома. Так нищие в случайном ночлеге стаскивают каждый на себя дырявое одеяло.

Мы шагали по растерзанным подворьям, словно пришельцы из космоса, разглядывая неведомые штуковины погибшей цивилизации. Жестянки из-под «ландринов», ящички красного дерева с полустертыми ярлыками забытых итальянских фирм, пыжерубки невероятного калибра, приспособления и инструмент вовсе неведомого назначения, чугуны, чай-

ники, ухваты, книги, фотографии молодоженов...

Я поднял темную монетку, потер пальцами. Проявился вензель «А» — денежка царствования Александра II. В куче заскорузлых сапог янтарно блеснула спинка альта. Кто и кому играл в этом медвежьем углу на столь изысканном инструменте? Купец? Ссылный? Пленный?

Скрипели ставни, орали вороны — черные птицы беды и разора. Впереди, над рекой, особняком стояли две избы. Там шумели на ветру береза и две лиственницы.

— Когда-то там родились девочка и два пацана, — сказал Саня Никифоров. — Условный код исчезнувшей жизни.

Дрогнуло нутро. Оно! То, что искали! Жить на берегу реки или океана в безлюдье и чистоте простых дел земли и воды — это ли не осуществление мечты, выношенной, вышуганной с друзьями по заплыванному асфальту городов, обговоренной до хрипоты за липкими столами пивбаров?

В чаще вспархивали рябчики. Ветер ворочался в распадах, крутился по хребтам, задувая со всех сторон сразу. Что-то происходило в природе. Очевидно, это наши души сговаривались с местными духами о праве на жительство. Рядом крутнулся вихрь — братец леший нагрянул любопытствовать? Ветер стих. Солнце выкатилось на закат румяное, словно шаньга из печи. Что-то произошло и закончилось умиротворенно. Мы глянули в глаза друг другу и кивнули враз.

Будем обживаться!

Директор совхоза — грузный, седой хитрован — улыбался скептически, но крепкие плечи городских придурков, а в большей степени механический диплом друга, навел его на кое-какие мысли, впрочем, весьма далекие от наших планов. Потом нам пересказали его пламенную речь на совете трудового коллектива:

— Эти будут пахать и за гроши. С ними надо заключить договор. И трактор дохлый дать. Починят!

Т-40, благодаря беспрестанному льяльканью с ним Никифорова. Пустили в облака дым трубы, повеселели, заимев новые имена и заботы, домовые Валям и Петруша. Черный котяра Гарасий изучает жизнь птиц в высокой траве. В деревне пошли тихие шевеления. Старый филин откочевал на опушку и только поздними вечерами совершал дежурные облеты владений.

Вернулась в деревню бабка Шура. Так и заявила всей родне:

— Топереча тама мужики есть — помирать у себя в дому буду.

Зачастил к ней на постой благообразный белесый старичок, страстный рыбак, бывший районный уполномоченный — старательный уничтожитель этих деревень, до приторности вежливый. Хотел бы я знать его мысли, когда он идет со снастями по заросшей чертополохом и голохасом улице уничтоженной и его тщанием деревни...

Год проковыляла утицей веселая старушка и отошла в рай на женский праздник. Тихо, счастливая, что спо-



Мечта о творческой деревне, где поэты и художники добывают хлеб насущный не унижительными «халтурами», а приносящим съедобные плоды трудом.

Некий Скит для тех, у кого духовное возрождение личности идет не через религиозную экзальтацию, поскольку восторженное поклонение Творцу некорректно, а через глубокое уважение к силе и мудрости создавшего столь совершенный мир. Не умерщвлением плоти, а разумным аскетизмом быта.

Дома мечты имели вид неприглядный. На бревенчатом фронтоне сильно осевшей на северный угол хоромины вырезана дата завершения постройки — 1878. Русская печь справно держала вертикаль, только дымоход развалился. На толстенных, выпертых землей кедровых плахах пола бродячие олухи выжгли кострами черные язвы. Ни дверей, ни оконных рам. В красном углу — ласточкины гнезда. Второй дом справней, но повесть обрушена. Рубленый курятник — очевидно, первородное зимовье — без крыши. Кондовые заплоты увезены на дрова.

Мы молча сели на лавку вековых посиделок, закурили и долго смотрели на мощный, ровный сбег реки. В вершинах елей скандалили кукши.

А вот тем, кто прикатил с юристом и много хотят, мы откажем.

Но уговорить вступить нас в совхоз не удалось. Очень нам не хотелось поддерживать своими плечами дурь, а потому бычков нам так и не дали.

И зажили мы вольными фермерами без реальных гарантированных доходов. Что и спасло нас от разрушительной зависти окрестного населения — далеких потомков казаков Хабарова и Дежнева, сибирских варнаков, золотодобытчиков и охотников. Атрибуты их профессий сохранились в названиях истлевающих деревень: Кистенево, Пуляево... Наше Козлово получило свое имечко от обилия диких коз. Раздраженные чужеродным вмешательством, гордые красавицы выходили из тайги, недовольно орали и баякали, и топтали огород, посаженный двумя мужиками, никогда доселе не задумывавшимися о происхождении укропа и редьки. Кажется, там что-то выросло, но в этом не наша заслуга. В отдохнувшей плодородной земле пышно зеленели даже свежие колья забора. Да и свалили мы вскоре это щекотливое дело на хрупкие плечи наших женщин, привезенных под едва залатанные крыши.

Заверещали дети. Ожил списанный

добилась в родном доме, на земле предков.

Светлым утром подкатали из-за реки на розвальнях к недавно отстроенной нами мастерне старый коваль с неотделимыми сыновьями — вечными холостяками. Его не трогают власти. Бойся кузнеца — это очень древнее поверье. Сам верховный бог славян Сварог был кузнецом. Его работы первый плуг. Тайные космические обереги хранят старого коваля. Много черного мы слышали о нем, а он оказался добрейшей и нежнейшей души человеком. Гости потоптались маленько и бухнули, как бы извиняясь:

— Померла Шура. Надо могилку править.

Тяжелое это дело — рубить в мерзлоте последнее пристанище. Думали, с пожаром едва за сутки управимся, но земля легко приняла Шуру-добродю. Едва сняли дерн, пошел сухой чистый песок, и... гробик высунулся изголовьем на малой глубине, не по православному, поперек, с юга на север.

Насупились мужики:

— Нехорошо! Не справно. — Закурили «Беломор» и стали решать, откуда да почему. Согласились на том, что в войну хоронили бабы не местные, оттого мелко и неправильно.

ТКА ПОЧВЫ ПОПЫТКА ПОЧВЫ ПОПЫТКА ПОЧВЫ ПОПЫТКА ПОЧВ

А Шура веселее будет с робеночком. Не править же новую могилу. Не дело!

Любили бабу Шуру окрестные мужики. Злючую брагу варила на бруснике — розовую, как богородский цветок, терпкую, словно краденый поцелуй, а уж крепкую! Кружка зелья валила с ног пулей карабинной. А на закуску — солёный елец! Материца была корчаги плести и ставить. Налимила на крючья почти до самого конца.

Справно поработали братья. С ханьем и кряканьем, хлестко вгоняя сталь в мерзлоту. Три брата. Четвертый — младшой — повесился прошлым летом от общей несуразицы и непросветности. Слишком часто захлестываются молодые окрест.

За век варварства крестьяне привыкли скрывать религиозность. И до «исторического материализма» православие в глубинке полнилось темными и светлыми языческими поверьями. У охотников пантеизм стихийный. Им лесный ближе и понятнее Христа. У любой же деревенской

повинности, вникая в тайны тайги и реки, трактора, лодочного мотора, мольберта и пишущей машинки с пеленок.

Их старшие сестры, естественно, занимаются кладоискательством. Это, очевидно, возрастное, но бывают и рецидивы. Внимательно усвоив историю о запойном купце, сплававшем карбасы с товарами от Качуга до Якутска, по пьяни закопавшем золотишко так старательно, что, отрезав, так и не нашел его, девицы с туманными от радужных надежд глазами перекопали все укромные уголки. Впрочем, деньги они нашли. Горстку медяков с двуглавыми орлами, за окосячкой двери разрушенной избы, — монетки, положенные на счастье.

Основательно все взвесив, мы решили не отправлять дочь в школу-интернат. Выучим сами. Издревле дети принимали родительское умение — в этом великая преемственность и накопление духовного опыта. Ежевечернее чтение Библии, Гомера и русских сказок даст девчонке, несомненно, больше.

щины — мужиком дельным, хорошим охотником и поэтом. Нравственный закон, сохраненный деревенскими жителями, столкнулся с извращенными городскими принципами, и ушел человек, едва начав.

Много сделано, еще больше даже не начато. Совхоз грозит отобрать им же списанный трактор. На прямое предложение директору: «Продайте!» — категорическое: «Нет».

— Почему?

— Вы не приносите пользы совхозу.

Вот и вся страусиная логика. Смущают директора свободные граждане. Кроме кнута и пряника, способов управления не знает.

Множество людей прошли деревней. Кого привлекала возможность порвать с пьянством, кому хотелось отдохнуть от суеты повседневной, поглазеть на картины и странный быт чудаков. Много было желающих остаться жить, да мало кто решился порвать с привычным, как это сделали две Иринки — хрупкие городские девчонки.



колдуньи припрятан укромно образок Николы Угодника.

Бабка Шура икону не прятала. В светлой ее избе в красном углу ярким поздним письмом цвел большой иконостасный образ последнего царя в силах, со всеми причиндалами власти.

— Уж не монархистка ли ты? — спросил я как-то.

— Дядька очень красивый, — хитро вывернулась старушка.

Под отрешенным взглядом красивого императора мы и надрались тем вечером, как и положено могильщикам, мертвецки.

Ночью стихии взбеленились. Задудли ветры. Примчались неведомо откуда черная кобыла с белым жеребенком, настырно тыкались оскаленными мордами в затянутые полиэтиленовой пленкой окна нашей избы (пленка прекрасно заменяет дефицитное стекло даже в лютые сибирские морозы), жутко выло в трубе, но к утру тихий снег умиротворил природу...

Все восполняется. Умерла бабка Шура — родился Афоня, маленький верхоленец. Немного старше его Иван Никифоров. Растут будущие козловские мужики, не ведая городской истерии и ранней детсадовской

Жизнь маленькой общины, из восьми человек, вдали от людей предполагает или бесконечную ругань по поводу и без, что ведет к неминуемому распаду, или постепенное, терпеливое притирание друг к другу на основе безусловного уважения к праву на личную придурь и обособленность. Благо пространства необъятны, и побыть в одиночестве не проблема. Все встало на свои места. Весьма помогла этому идея Иринки Репиной о собственном журнале, издаваемом не на продажу, а для друзей и единомышленников, — «Скит».

Пошел уже третий год жития в Мертвой Деревне. Впрочем, не такой уж и мертвой была она при пристальном рассмотрении. Силовые линии человеческих отношений сплетаются в ней сложнейшим узлом. Охотничьи и сенокосные уголья издавна поделены, каждая развалюха или просто участок имеют наследственных хозяев, ревностен и совхоз к своим заброшенным полям — все это требует большого такта, чтобы не нарушить сложившегося равновесия, чтобы не случилось взрыва злобы и зависти, способного выкинуть неугодного человека за пределы сложившегося.

Так случилось с новым членом об-



Покинули деревню черные вороны. Сгинул в ночь старый филин. Вещает время, почему-то московское, осанистый петух Аристотель, купленный как бройлер, но оказавшийся, на наше счастье, плимутроком.

Козлово,
Иркутская область

Фото Владимира Павленко

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Идея нации, сказал Владимир Соловьев, есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в Вечности. То есть народ, как человек, может ошибаться на свой счет, менять со временем взгляд на себя, предаваться спорам. Говорить стоит только о мысли Вечной. Но... что ж тут скажешь?

Каков контраст между зрелищем «черного чуда», случившегося с нами, «черного откровения» о нас — и сокровенностью замыслов Света! Как удавались нашим авторам черные пророчества и как ходульно выглядят идеальные построения!

Можно ли ведать мысль Вечную о нас? Вот, в сущности, вопрос, иначе называемый русским. Избранным она открыта; но между избранным и народом, как между избранным и источником откровения, возможно только одно отношение — веры, доверия. Поверяемых «всего лишь» личным мистическим опытом. Не слишком ли тонкая нить, когда на нее подвесишь всю весомо-грубо-зримую, завораживающую эмпирику нашей чернухи?!

Михаил Талалай. Но откуда взялась эта чернуха, которую мы на танках разнесли по земному шару? Мне кажется, из той веры, что мы-де призваны и избраны сказать какое-то особое слово, которое потрясет мир. Эта вера, как ты знаешь, имеет крепкие и древние корни. «Третий Рим», «народ-Богоносец», «всемирная душа»... На самом деле во всех этих мессианских чаяниях видна неприкрытая национальная гордыня, что, как известно, есть самый страшный грех. Еще в XVII веке старообрядцы утверждали: выпросил у Бога светлую Россию сатана. Не Бог, так сатана! Не самая светлая, так самая черная! Вот, оказывается, о чем спорят там, вот главный предмет их заботы — наша Россия! Отсюда действительно впору самосжигаться, но не изменить «русской идее». Или, наоборот, залить страну кровью, но первыми в мире построить коммунизм.

Национальной гордыней мы пропитаны с детства. Помню, будучи пионером, я уже страдал от мысли: какой ужас, если бы я родился не в этой, единственно возможной, стране — СССР, то есть России! Мне кажется, что смысл избранности в том, чтобы указать, познать Божию волю о себе — в нашем случае «русскую идею» — и жить по ней, а не вопреки ей!

Р. Р. Но познать — попробуй! Но познать и жить — попытайся! Это путь — не путь даже, а распутье — между дарами необыкновенными и безмерным падением. Потому что замысел о нас осуществляется (или нет), видимо, только через нас, силой нашего выбора, сделанного свободно. А выбор осложняется соблазнами.

Не по воле ли, о себе, познанной, жила Ассоль? Но проделаем грубый эксперимент: введем в действие книги лже-Грэя. Человека, имеющего на счет девушки одно и совершенно недвусмысленное намерение. Что ему нужно, чтобы достичь цели? Да

повесить себе, извиняюсь, красную тряпку на мачту и приплыть вперед Грэя.

Выходит, что путь Ассоль исключает среднюю линию жизни, воплощаемую жителями Каперны. Ассоль попадет или в феерию, или в анекдот. Надо быть на высоте дара — различать алый парус и красную тряпку, лик принца и личину обезьяны. Обладала ли Ассоль таким зрением, мы не знаем: никакой профанатор, на ее счастье, не опередил Грэя. Но Ассоль-Россия таким зрением не обладала, а выбежала навстречу красной тряпке.

И что же делать с нею подлинному Грэю? Насколько крепки ее вера и сердце, чтобы выдержать зрелище второго корабля? И Грэй стоит на рейде в Лиссе, ни на что не решаясь, и только изредка ходит в Каперну и заглядывает в ее окно...

РУССКАЯ ИДЕЯ в отсуствии КАПИТАНА ГРЭЯ

К обсуждению
старинных вопросов
приглашают питерский журналист
Михаил ТАЛАЛАЙ
и наш корреспондент
Рустам РАХМАТУЛЛИН

М. Т. Но позволь спросить, кто же такой этот насильник и обманщик лже-Грэй? Не кажется ли тебе, что, например, для Польши (не говоря уже о Литве) именно Россия — вся — с ее радикальной и консервативной интеллигенцией, с рабочими и крестьянством, даже со святыми своими — лже-Грэй, порочный соблазнитель, орудие дьявола?

Р. Р. Литву брали грубее, как берут в темном подъезде. Лже-Грэй — если уж употреблять эту фигуру — эксплуататор веры, растлитель сначала души, а потом лишь тела.

Как видишь, я крепко усвоил себе тот взгляд, что «если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней». Что у сил тьмы нет никакого плана, пока его нет у Сил Света. План же Света тьма присваивает и, сохранив форму, выхолащивает дух до наоборот. Не бывает злого творчества, но иной благой жест бросает тень. Бросает даже впереди себя.

И вот теперь я должен признаться в собственном соблазне умпостижения Высшего плана. Как опосредованно, по объему вытесненной воды, Архимед исчислил объем венца, так по резкости «русского негатива» определить бы резкость позитива!

М. Т. Но если довести эту твою идею до крайности — той самой крайности, которой мы гордимся, то ты хочешь утвердить некую равнозначность, равновеликость и равно-

избранность (хотя и у противоположных мировых начал) двух образов России: «Святой Руси» и «империи зла».

Можно ли?

Р. Р. Нельзя. Но исключительная привязчивость зла к нашим пенатам была бы объяснима, если бы мы были приуготовлены сказать миру... особое слово.

М. Т. Я спросил, можно ли утверждать свою избранность на том, что ты **продался сатане**, пусть даже он и «обезьяна Бога»? Ты, конечно, вправе задавать вопрос, почему зло выбрало именно нас. Почему, следовательно, Бог отвернулся от нас (и чем же тут гордиться)? Я предложу простой ответ, данный задолго до меня, — за наши грехи. И первый из них, извини за занудство, как раз гордыня. А гордиться тем, что мы горделивы, — это уж совсем недальновидно. Я соглашусь, что святые получались и из «хороших» грешников — блудниц, мытарей, даже разбойников и убийц. Но вовсе не потому, что они много грешили, а потому, что глубоко покалялись и смирились. Но ты предлагаешь из «империи зла» безболезненно и даже с чувством выполненного долга перейти в Святую Русь! Мне кажется, что так просто это не получится. Кто-то должен сказать (а кто-то услышать): «Смирись, гордая Россия»!..

И то самое «особое слово» (оборот, который ты употребляешь вместо других мессианских понятий), его же мир услышит, то это, собственно, не слово, а стон. Тяжкий стон народа, от которого отвернулся Бог, стон под тяжестью оседлавшего нас зла. Хотя прозвучало это «русское слово» и более членораздельно, но, так сказать, с кавказским акцентом. И та мощь, с которой мы разлили по миру эту азиатскую версию коммунизма, произошла именно от убежденности, что мы призваны (как ты говоришь, «приуготовлены») к «особому слову». На самом деле мы попались на крючок. Указывает ли этот факт на нашу исключительность — это уже и впрямь вопрос веры.

Р. Р. Только ли веры? Нельзя ли и здесь «умом понять» да измерить «по Архимеду»? Откуда взялась сила «разлить по миру коммунизм»? Не была ли она уже собрана и «приуготовлена», чтобы разлить совсем иной, не черный, а вот именно светлый свет? Для меня разлив нашей танковой брони — лишь обезьянья профанация экспансии нашего духа, то есть еще один соблазн. А экспансия духа народного в мир не обязательно слово религиозного откровения, какого ждали в начале века, какого ждут с обретением мощей св. Серафима, но «просто» особое слово Чехова, Константина Мельникова или Сахарова. Я говорю лишь об «обычных» культурных обязанностях народа перед другими народами, о миссии, а не мессианизме. Это различение проводил, скажем, князь Е. Н. Трубецкой.

М. Т. Поверь, мне тяжела роль очернителя, некой буки, «обламывающей» тебя в твоих светлых меч-

тах. Единственное, что меня утешает,— что ты используешь самые «чернушные» доводы так, что они ложатся послушными кирпичами в красивую постройку в русском стиле. Но тебе стократ сильнее «обломится», когда Россия станет третьим миром, а не «Третьим Римом» (О Третьем интернационале речи уже нет).

Р. Р. Мне это уже больно. Но возможно ли, чтобы ты не отличал духовного сияния от державного блеска? Третий мир дал Ганди, дал плеяду латиноамериканцев, дал неизвестных мною, к стыду моему, людей — в залог грядущего цветения этих стран. Да и Россия, «мощно разлившая по миру коммунизм», дала миру

Здравствуй, «Юность»!

В «Школе для дураков» Саши Соколова я прочитала строчки (там идет ссыла на старинную книгу, может, всем она известна, но я ничего о ней не знаю) о том, что испросил дьявол у Бога Светлую Русь, залил ее кровью, обрек на муки. Я поразились тогда — ведь каждый, наверное, задумывался, почему, за что мы так живем. А тут сразу вспомнился Иисус Христос. Бог Сам отдал Своего единственного Сына на мученичество, заранее зная, что ждет любимое дитя.

тогда же... только подставляй имена. И этот сонм от земли Российской просиявших, это сияние, тьма же его не объяла, лишь доля того, что могло просиять в «стране недопетых стихов, ненаписанных книг», что было приуготовлено воссиять.

М. Т. А может быть, мы уже спасли мир? И русским коммунизмом будет пугаться человечество до своего конца...

Пожалуй, да, критикуя русскую действительность, сам невольно работаешь на «русскую идею». Вот и я «скатился» к тому же: именно мы, мы, мы спасли человечество — сперва от коричневой чумы, а потом и от красной!

Р. Р. «О недостойная избранья, Ты

Наверное, и Россия — любимое дитя Бога. Россия — это наша планета, уменьшенная до размеров одной страны. Мы — пример, взятый Богом для урока землянам.

Иосиф Бродский в «Юности» очень верно считает, что довести зло до абсурда — победить его. Видимо, вся нереально жестокая история советской России — это и есть доведение зла до абсурда, то есть борьба с ним. Ведь у нас все поставлено с ног на голову, все доведено до крайности, причем страдает не только человек, но и лес, земля, твари.

избрана!» — обращался Хомяков к России в своем классическом «очернительском» стихотворении. Будучи последовательным, он признал себя мессианистом. Не здесь ли могли бы примириться наши запад и почва, во всяком случае, в религиозных своих крыльях? Ибо те и другие, утверждая один из членов хомяковской формулы, невольно утверждают и другой!

М. Т. И все-таки надо остерегаться чувства гордости. Все хорошие люди говорили, что до добра оно не доведет.

Р. С. И уже после разговора в редакцию пришло письмо — как недостающее многоточие... Или как еще одно начало нескончаемого разговора:

И так хочется верить, что осталось совсем немного, что уже выстрадала Россия Возрождение, что вот-вот откроется миру какая-то истина, явится новое сознание, наступит новый виток эволюции. Иначе жертва бессмысленна, а я верю: бессмысленного во Вселенной нет.

Может, поближе к Москве эти проблемы легкоразрешимы, но мы живем на куличках...

Маргарита СТАРЦЕВА
Тында

«Камень тебе говорит, кто они» — гласит надпись, выбитая на надгробии Трифонида, жены Филотероса, жившей в столице Боспорского царства около двух с половиной тысяч лет назад. В пору моего детства, в годы гражданской войны, кем-то были привезены во двор Керченского музея несколько таких надгробий...

Изучение памятников Боспорского царства археологи начали в XIX веке. Когда стала известна ценность археологических находок, занялись раскопками коллекционеры, коммерсанты, ремесленники и прочие «любители древностей». По всей степи вокруг Керчи и в самом городе копали — «на счастье» — «счастливчики». Среди них были настоящие специалисты своего дела, их нанимали помещики, аптекари, врачи — новые гунны, разрушавшие то, что не успели разрушить гунны древности.

Перед вами запись — точнее, фрагменты — воспоминаний «счастливчика» Николая Федоровича Божченко, сделанная мною уже полвека назад. Полный текст хранится в музее Керчи.

Анна ГАРФ

Я начал копать

Я родился в 1884 году в Керчи, на Глинке. Когда я был мальчиком, у нас шла раскопка кругом. Начали копать еще со времени француза Дебрюкса. Он первый догадался искать в земле старинные гробницы.

«СЧАСТЛИВЧИКИ ПАНТИКАПЬЯ»

Правдивая история
Коли БОЖЧЕНКО,
паренька из Керчи,
сначала грабителя могил,
а потом матроса
нескольких кораблей,
рассказанная им самим



Дебрюкс заставлял рабочих бить в земле небольшие ямки, а сам рассматривал добытую в этих ямках землю. В одном месте посмотрит и бросит. В другом посмотрит и велит копать глубже, пока не найдут гробницу. Народ начал присматриваться до этого дела: «Почему здесь копаете, а здесь бросаете?»

А потом поняли. Когда, например, картофель копаешь и видишь, какая земля плугом тронута была, а какая нет, так и тут — земля если копалась, то хоть тысячи лет прошли с тех пор, но обрез — так мы называем копаную землю — всегда виден: верхний слой перемешался с глубинным. И народ догадался: материк копать не следует, а как попадется смешанная земля, тут можно работать.

Массой черной копали на счастье. Дирекция музея тоже копала и счастливчикам копать на городской земле запрещала. По горе Митридат днем и ночью ходили обходчики с револьверами, и если застанут людей на раскопках, то звали полицию. Я как был мальчиком, тут ходили два таких надсмотрщика от музея. Один — высокий блондин, мы его дразнили Каштан, а другой — мелкий, чернявый, прозывался у нас Жук. И вот, как стали на Глинище счастливчики появляться, они заставляли нас, мальчиков, за этими сторожами следить. У каждой партии, кто копал, был свой мальчик. Если Каштан и Жук поворачивают к Собачьему кургану, а тут моя партия, то я обходчиков обгоняю и даю знак,

леты медные, а может, серебряные». Гвоздевич-пристав взял у Шкорпила коробку, раскрыл и спрашивает: «Эти вещи?» Я вижу, что Пекерев подменил, как и обещал. «Эти», — говорю. «За сколько вы их продали?» — «За двадцать пять рублей». Пристав обернулся до Шкорпила: «Что еще спросите, господин директор?» А тот плечами сдвинул и ничего не сказал. А пристав меня спрашивает: «А все-таки, Божченко, выкапываете что-нибудь?» — «Копаем, — говорю, — да мало, господин пристав, выкапываем». И когда уже пристав сидел в экипаже со всеми своими городскими, он еще раз обернулся: «А ты все-таки, Божченко, постарайся, выкопай, чтобы моему тестю хату достроить». А я говорю: «Да, может, и выкопал бы, да барин директор нам не даст». Директор усмехнулся. А пристав: «А ты ночью, ночью добывай».

Я этого не ожидал. У Пекерева болезнь — моргать, так, может, при-

в Ленинграде. Но не сразу они туда попали. Ведь куда это нести? Ну, решили — доктору Терлецкому. Он был врач пограничной службы и покупал в Керчи, а потом перепродавал за границу древние монеты и золото. Мешками перетаскали всю катакомбу Терлецкому — за 12 тысяч. Две тысячи деньгами, а на десять тысяч — вексель. Ну, счастливики давай гулять. Один нанял четыре экипажа, в первый сапоги, в другой шляпу, в третьем сам ехал, а четвертый за ним водку вез. А следом друг за дружкой остальные ребята. Все экипажи взяли, какие были в городе, и вот катают по Воронцовской улице вверх и вниз, а господа по панели пешком идут. Ну, и забрали их.

Допрос сняли. Вещи эти тотчас музей отобрал у Терleckого. Все или нет, не знаю, но то, что забрано было, то немедленно повезли в Петербург. А вексель полиция ликвидировала.

Я потом за эти вещи с доктором

поддерживали. Вещь стоит пять рублей, а они дают десять. Только, говорят, копай! Еще нападешь на богатую гробницу. И кто больше нас поддерживал, тому же в случае удачи мы несли ценные вещи.

...Представьте себе венец толстого кованого золота. На нем было пять сердоликовых камней. На большом камне была резьба: по груди изображение женщины, а четыре камня были небольшие, и какие-то звери на них были вырезаны, не то бизоны, не то носороги. Васька Соппин этот венец отряхнул, надел на голову да так и работал, только прикрыл шапкой. Васька в японскую войну воевал, развитой был человек. Пошли к Терлецкому.

Терлецкий был рослый, с порядочным брюхом, носил очки. Сам блондин, румяный скуластый поляк. «Что вам?» Васька как поднял шапку — Терлецкий так и охнул. И сейчас же вывел нас в другую комнату, и сейчас же угостил водкой. Мы хотели пять тысяч. «Много, ребятки, скиньте. Я, знаете, хочу вас показать одним людям. Меня давно просят. Вы не такие уж пьющие, приходите на второй день пасхи в гости. Я очень рад буду». Ну, я немножко выпивши, вижу — человек этот действительно культурный, и говорю: «Ну, нехай, барин, будет три тысячи!» Васька выпил больше, не хочет отставать. «Ладно, — говорит, — двух тысяч хватит». Дальше — меньше. На тысяче сошлись.

Через четыре дня взяли экипаж и поехали в гости. Мы шли смело, а как вошли — братец ты мой! — аж оторопели. Генералы, офицеры, погоны с большими кистями, погоны с полосками... пуговицы у всех золотые да серебряные! Генералы почти все уже «на взводе». Терлецкий объясняет: «Имею честь, господа, познакомиться вас, господа, с керченскими счастливицами, господа».

Особенно донимали нас дамы. Как обсели кругом, так они просто задушили нас: «Как вы копаете? Как вы находите? Откуда вы знаете?» И все с тонкими бокалами подходили: «Ваше здоровье!» — и чокались.

Я выбрал момент и сказал Терлецкому: «Знаете, барин, если хотите угостить нас, так и угощайте отдельно, а нам эта публика неподходящая».

Директор Шкорпил

Мы не только копали от себя на городской земле, но некоторые помещики нас звали к себе: «Моя земля. Копай. Половина денег за то, что выкопашь, будет моя, половина твоя». Ну, нам найти нетрудно. Еще летом на глаз определишь, где будешь осенью биться. Батрак, он из двадцати копеек в день работает, а мы получаем два с половиной рубля. И с большим почетом. Да еще с каждых ста рублей — если мы на сто рублей выкопаем — мы получали 25 процентов. Например, в Эльтигене, где теперь, после революции, откопан Нимфей — древний курорт, прежде была земля директора банка Новикова, и он нас нанимал копать.



став подумал, что он ему взятку примаргивает?

Знаменитый случай

В этом деле я сам не участвовал, но о нем писали не только в керченских, но даже в столичных газетах. Зашли наши счастливицы в одну катакомбу, которую открыл музей, и стали просить сторожа: «Дозвольте эту стенку прощупать».

Наше Глинище все на катакомбах стоит. Если знать ходы и выходы, можно из конца в конец под землей пройти и обратно вылезти. Я там лазил, будь они неладны, чуть не заблудился в них. В каждом помещении пять-шесть ходов-дыр. В одну влезешь и не знаешь, будет у тебя под ногами пол или яма, а комнат подземных бывает до пятидесяти и больше.

Значит, те счастливицы нащупали катакомбу и разрезали в подземной стене дыру, чтобы человек мог пролезть. Полез человек с огнем. И ему дух перехватило, так много золотых и серебряных блюд лежало прямо посверху. Там была бронзовая каска с золотой разделкой, оружие... Теперь эти вещи стоят в Эрмитаже

Терлецким беседовал: «Что, доктор, ваши деньги пропали?» — «Нет, я ничем не пострадал. Эрмитаж заплатит. Только мне неинтересно, что я отдал деньги сразу, а Петербург выплачивает мне грошами».

Доктор Терлецкий

Настоящим счастливицом я стал годам к пятнадцати. А какой у счастливицы заработок? Самый неверный. Вот мои братья и говорят: «Коля, учиться надо к чему-нибудь». Но я хотел стать археологом¹ и все только копал. И хотя я уже два раза был под судом — не один я, все копали. И человека почти не было у нас, которого бы не судили.

Братья отдали меня на табачную фабрику Месаксуду клейщиком папирос. Но каждое воскресенье я раскопки делал. Так проработал несколько лет... Лет в 20 я фабрику бросил: захотелось мне воли. И я пошел на море рыбалить. Лето, осень рыбалил, а зимой, в безработное время, занимался раскопками. Находил мелочь — на три, четыре, на пять рублей. Но покупатели нас всегда

¹ Так! — А. Г.

И все ждали, что мы им откопаем золотого царя Митридата статую или льва какого.

Я выкопал барана черепяного, как живого, стоит на ногах, красный, кучерявый такой. Сверху на спине горлышко и ушко, за которое его брать надо. А рот раскрытый, чтобы, когда нальешь в горлышко, изо рта бы вытекало.

Этого барана купил у нас Хлебников. От Хлебникова он попал к Терлецкому, а оттуда в Ялту, а потом, конечно, за границу.

Когда Шкорпил, директор, узнал про этого барана, приехал сам ко мне на Глинка. «Вы,— говорит,— очень прошу вас, для науки прошу, скажите, где выкопали этого барана?» А мне надо было сидеть за четыре дела: «Если, барин, мне эти четыре дела простите,— покажу». — «Показывай». Я его повел, даже помог яму измерить.

«С какого это, барин, века баран?» — «Видите, Божченко, этот баран большие деньги стоит, а вы продали его глупо и дешево». — «Что ж, барин, вы сами виноваты, потому что когда интересную дылду в Камыш-Буруне счастливчики нашли, вы эту дылду отняли, а людей отдали под суд!»

...Как-то работал я на земле у богатого крестьянина Марченко. Достали мы там маску бородатого Пана, серьги и две посуды вроде пепельниц, и две слезнички, прямо как ягодки, маленькие, хорошенькие. Оценили мы эти вещи в 30—40 рублей. Ребята хотели прямо нести к Терлецкому, а я им говорю: «Давайте пойдем до директора».

Директору слезничка, видать, так понравилась, что он ее поцеловал, эту слезничку. «Сколько хотите? Остальное можете взять себе».

После этого я всегда сначала ходил к Шкорпилу. И когда началась империалистическая война и я был призван в крепость и уже больше не копал, я все равно не забывал своего дела. И когда видел какую плиту с надписью или еще что, доставлял в музей. Но об этом я рассказывать не буду...

Главное. В старое время было покупателей кругом — тьма. Прямо по ступу¹, как ястребы, вились. Теперь нет частных покупателей, и счастливчики сами по себе отпали. Но, по правде говоря, я бы и теперь с дорогой душой по древностям работал. Но теперь позволяют копать только ученому. А я и сам другому археологу науку преподавал бы...

Р. С. Как недавно узналось, часть коллекции Терлецкого осталась в России. Главный хранитель Керченского музея Виктория Боровкова обнаружила ее — почти случайно — в собрании древностей Пермского университета. Университет, открывшийся в 1916 году, приобрел сокровище тогда же, накануне революции, у вдовы Терлецкого и на средства уральского миллионера Мешкова.

А. Г.

¹ Так! — А. Г.



МАКСИМ ЧАЙКА. Иллюстрации к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя.





ВМЕСТЕ НАМ 28

Лепим, рисуем и красим, как себя помним. Счастье, когда воплощаются твои замыслы. Тем более если живешь среди любимых, прекрасных книг, аромата, плоти и цвета масляных красок, таинства гравюрной печати. Хочется попробовать, испытать, воплотить. Ведь все кажется легко и просто, когда есть такие единомышленники и вдохновители, как мама и папа.

Ирония Брейгеля, фантазия Босха, неистовость Ван Гога, зримость образов Гоголя и Толстого теснят и переполняют душу и сознание.

Мир искусства — воплощенное воображение, и нет предела удивлению и открытиям, если любимое занятие — бродить с рюкзаком и этюдником по дорогам.

История Смоленской дороги, архитектура Владимира, этнография Тверской земли, ежегодный день Бородин... И все охвачено единственной страстью, страстью к рисованию: прочувствовать, ритмовать, воплотить.

Но когда в дорогу берется книга, все преображается, и естество походной действительности пропитывается духом книги. И тогда на окружающее ты смотришь глазами любимого героя.

Вот Пантократор из полуразрушенной придорожной церкви («Русь. Русь!»), и живность деревни Семлево («Двор Коробочки»), и кимрская резная изба, в окне которой промелькнула бричка Чичикова («Птица-тройка»). А образы знаменитого «Холстомера» Л. Н. Толстого живут на Алексинском коннозаводе, что около Дорогобужа...

Максим ЧАЙКА, Владимир ЧАЙКА

Вязьма



ВЛАДИМИР ЧАЙКА. Иллюстрации к «Холстомеру» Л. Н. Толстого.



думайте СЕГОДНЯ

ЗАВТРА
о вашем

Фирма "ДАКВИН" - это:
КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ с банком данных десятков тысяч абонентов всех возрастных категорий.

98,7% женщин и 97,1% мужчин находят более пяти вариантов после первого компьютерного поиска. На следующий день после обработки ваших анкет и результатов психологического теста на компьютерах - мы вышлем вам адреса и анкетные данные претендентов. Все варианты, кроме первых пяти, высылаются наложенным платежом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГОРОСКОПЫ, составленные известными астрологами. Древнеиндийские секреты астрологии и современная компьютерная техника - позволят заглянуть в ваше ближайшее будущее.

БАНК ДАННЫХ ЛИЦ, ИЩУЩИХ РАБОТУ ПО КОНТРАКТУ ЗА РУБЕЖОМ (Европа, Южная Америка, Канада, Австралия, ЮАР, США, ряд стран Персидского залива). Зарплаток от 250-500 долларов США (для неквалифицированных рабочих) до 3000-6000 долларов в месяц (при заключении контрактов от 2 до 5 лет в экономически развитых странах).

Желающим самостоятельно найти работу фирма "Даквин" предлагает более тысячи адресов фирм-работодателей и бюро по найму рабочей силы во всем мире, несколько сот адресов и телефонов представительств инофирм в Москве.

Заявку с пометкой "ЗНАКОМСТВО", "ГОРОСКОП", "РАБОТА" или "АДРЕСА"; конверт с обратным адресом (в нем мы вышлем более подробную информацию о наших услугах и анкеты) направляйте: 144012, Московская обл., г. Электросталь, "ДАКВИН".

Убедительная просьба присылать запросы по каждому направлению нашей службы в отдельном конверте.

 **фирма
ДАКВИН**

144012, Московская обл., г. Электросталь

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
консультант главной редакции
Олег КОКИН — главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмилия ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ТКАЧЕНКО —
редактор отдела поэзии
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:
Редакция не рецензирует рукописи и не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

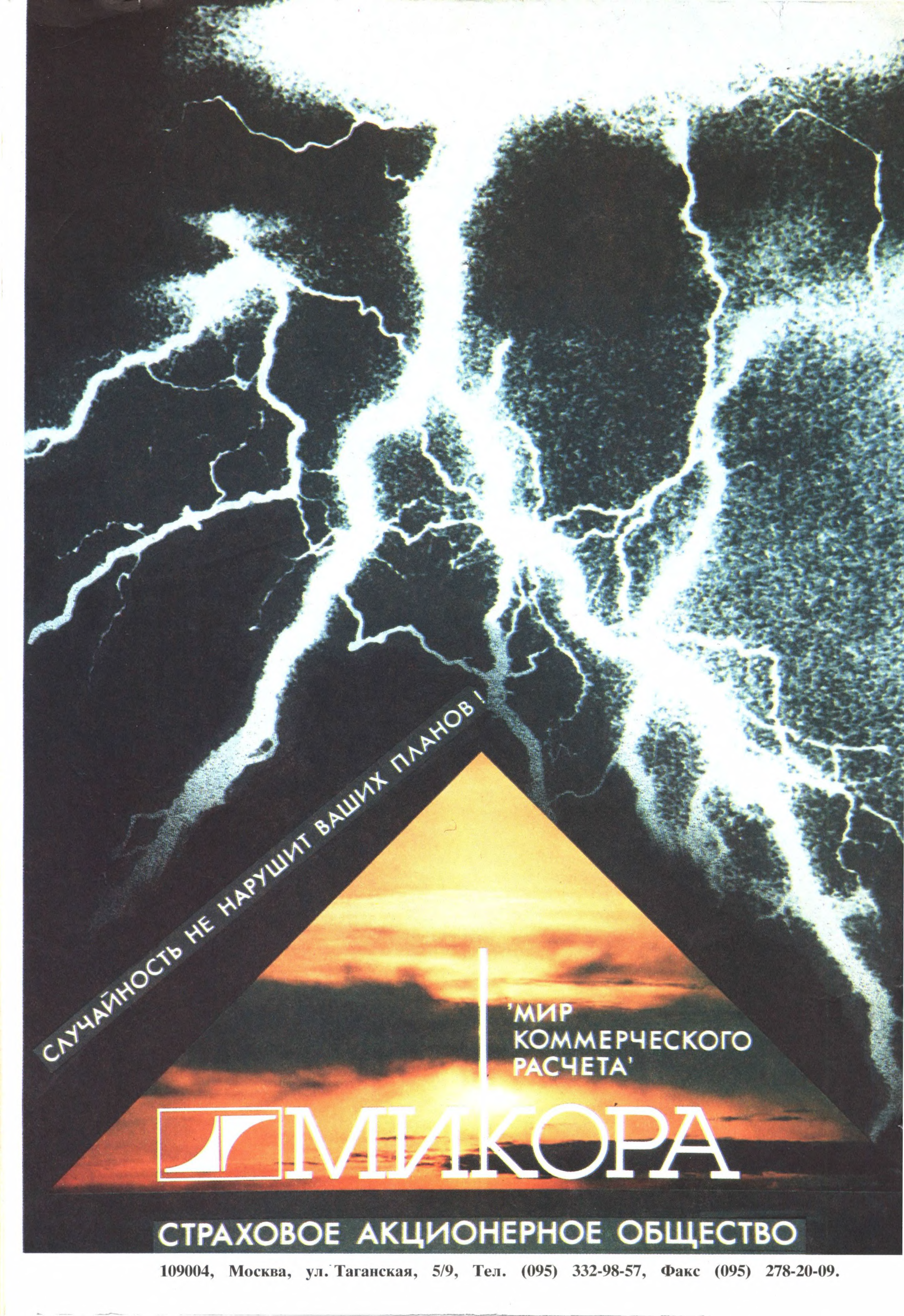
Художественный редактор Юрий Петелин
Технический редактор Ольга Трепенюк
Оформление рекламы Вадима и Владислава Игониных.

Сдано в набор 10.09.91. Подп. к печ. 27.09.91.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,53.
Тираж 999 000 экз. Заказ № 899.
Цена 1р. 75к.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.
Отдел рекламы — 251-14-21.

Типография издательства «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Журнал «Юность», 1991 г.



СЛУЧАЙНОСТЬ НЕ НАРУШИТ ВАШИХ ПЛАНОВ!

'МИР
КОММЕРЧЕСКОГО
РАСЧЕТА'



МИКОРА

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

109004, Москва, ул. Таганская, 5/9, Тел. (095) 332-98-57, Факс (095) 278-20-09.

ФОРМУЛА НАДЕЖНОСТИ

Союзник

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЮЗНИК» гарантирует:

- хранение ваших денежных средств под высокие проценты с одновременным предоставлением страховых услуг
 - неограниченные размеры страхового обеспечения и его немедленную выплату
 - сохранность ваших денежных средств при любых обстоятельствах
- «Союзник» ждет вас в Москве, Ужгороде, Одессе!

129110, Москва, ул. Гиляровского, 40
294000, Ужгород, ул. Горького, 30
270012, Одесса, Мукачевский пер., 4



Тел.: (095) 971-49-18,
Факс (095) 281-30-59 (Москва)
Тел.: (03100) 3-63-01, 3-32-49 (Ужгород)
Тел.: (0482) 63-07-05 (Одесса)